



ВОЗВРАЩЕНИЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

роман

© Yelena Katishonok, 2025

© BAbok, 2025

© Художник Елена Осерсон, 2025

Содержание

1.....	7
2.....	26
3.....	38
4.....	59
5.....	68
6.....	92
7.....	103
8.....	126
9.....	144
10.....	164
11.....	182
12.....	204
13.....	233
14.....	259
15.....	279
16.....	307
17.....	326
18.....	353
19.....	375
20.....	397
21.....	416

22.....	441
23.....	456
24.....	471
25.....	501
26.....	519
27.....	537
28.....	575
29.....	599
30.....	623
31.....	655
32.....	675
33.....	696
34.....	728
35.....	766
36.....	786
37.....	810
38.....	833
39.....	852
40.....	876
41.....	902

Уведомление автора

В романе приведены подлинные письма периода 1941–1942 гг., некоторые в сокращении.

Автор глубоко благодарен М. М. Б. за любезное разрешение использовать семейный архив на условиях анонимности.

*«Воротиться сюда через двадцать лет,
отыскать в песке босиком свой след...»*

И. Бродский

*«...И все-таки ведущая домой
дорога оказалась слишком длинной...»*

И. Бродский

1

...Медленно, с протяжным скрипом, открылась дверь, вторя тихому голосу: «Ни-и-ика-а...» – и братишка вошёл в комнату. Лямки коротких штанишек крест-накрест застёгнуты на груди, рубашка перепачкана черникой. «Ни-и-ик?..» – позвал он, и сон исчез, словно погас экран.

Пять часов утра. Перевернуть бы подушку и снова закрыть глаза, но сосед наверху тупо и тяжело протопал над головой. Сейчас он нажмёт рычаг и соскучившаяся в бачке ниагара низринется в унитаз – утренняя рутина. Иногда удавалось переждать его гиперактивность и доспать, однако вечером предстоял самолёт, а завтра – встреча с братом, которому сейчас шестьдесят два, хотя привиделся четырёхлетним и в коротких штанишках на лямках.

...утренний топот неотвратим.

Веронике Подгурской нравилась не только квартира, но и щедрая зелень пустых улиц. Иногда встретится собачник со скучающей псиной на поводке или пронесётся бегун со стеклянным взглядом, устремлённым в бессмертие. Казалось, на праздные прогулки выходит только она да пожилая китайская пара. Плотные, низенькие, они шли, привычно держась за руки, словно так и родились, рука в руке, и с тех пор не расставались. Оба приветливо улыбались Нике, не тратя время на праздный вопрос, как дела: и чужие дела их не интересовали, и ответ заранее известен.

Она вошла в новую квартиру – и сразу почувствовала взаимно однозначное соответствие, словно стены ждали именно её, поэтому не удивилась, когда мебель легко вписалась в места, будто заранее для неё предназначенные. Во второй половине дня приходил почтальон, раз в неделю вывозили мусор. Этажом ниже жила насупленная толстуха лет шестидесяти, всегда ходившая босиком, а

вместо прогулки сидевшая на крыльце, растёкшись по ступеньке обильным телом. Дом казался необитаемым: толстуха выходила редко, соседа с третьего этажа Ника ни разу не видела, а нарисовать портрет по слуху не хватало воображения. Каждый вечер обитатель верхней квартиры возвращался домой, тяжело топоча по ступенькам, открывал дверь и сбрасывал обувь со стуком падающих кирпичей. Сосед явно подбирал знакомых, столь же малочувствительных к громким звукам, а по выходным у Ники над головой уверенно, как умело вколачиваемые гвозди, тюкали женские каблуки; даму тоже ни разу не встречала.

– Посплю в самолёте, – пообещала Ника чайнику. Тот гневно забулькал в ответ, выплёвывая кипяток из носика: не верил. Она тоже знала, что в самолёте сна не получится, как не получалось и раньше.

– Хорошо, что ты без свистка – свистеть я сама умею.

Чайник – последний из могикан: обыкновенный, не электрический, по никелированному боку вверх и вниз скользит карикатура на Никино лицо – то толстое, как вымя, то вытянутое в длину. Электрические – те отходчивые: забурлит пузырями – и смолкнет обидчиво, сам себя выключит. Сколько раз дети порывались одарить её электрическим: это так удобно, подумай! Она малодушно обещала «подумать» и оставалась со своим, привычным. Любила всё немодное: тикающие часы со стрелками, кофе в зёрнах, рассыпной чай (сама смешивала разные сорта листьев в жестяных баночках). Из немногих уступок прогрессу признавала компьютер, «умный» телефон и электрическую кофемолку – жизнь коротка, замучаешься перетирать зёрна в ручной. И кофе заваривала по старинке, в медной турке. Целый выводок их стоял на плите, как в далёкие годы детства во многих квартирах на полочках

красовались слоники, выстроившиеся в шеренгу по росту.

Раньше можно было поговорить с котом. Он всегда был рядом, на расстоянии вытянутой руки: на кухонном прилавке, рядом с клавиатурой компьютера, по которой иногда лупил хвостом, чтобы напомнить о себе. На диване и в старом кресле кот умащивался рядом с нею и лежал, подтянув передние лапы под грудку с единственным белым пятном на сплошь чёрной шерсти. Появился он в доме трёхмесячным котёнком – крохотный пушистый чёрный мячик. Наташку котёнок отвлёк от подростковых экспериментов: разноцветные носки, старательно разорванная майка, кольца из нержавеющей стали на каждом пальце... Сейчас усмехнёшься, но тогда виделось трагедией. Ника успокоилась, несколько раз побывав в школе: ногти, отливающие всеми существующими или обогащёнными цветами радуги, немыслимые свитера и майки с вычурными дырами, от которых отшатнулась бы

Армия спасения, кроссовки с развязанными шнурками, причём обладатели в них не только ходили, но и носились по коридорам, чудом не падая со сломанной шеей. Котёнка назвали Чаплиным, Чаплин быстро превратился в Чапу, не утратив карикатурности своей чернотой и белым пятнышком «сорочки». Коту можно было рассказать: все они там пёстрые, в дырах, с идиотскими фиолетовыми и зелёными волосами, у всех шнурки болтаются – лень нагнуться и завязать, это чёрт знает что, понимаешь? Чапа понимал. Он любил обоих детей и позволял себя тискать и наряжать, таскать под мышкой или на шее, однако неизменно оказывался – руку протяни – рядом с Вероникой, все шестнадцать им прожитых лет. О котах столько сказано и написано, что ни к чему дополнять это жизнеописанием ещё одного котяры, преданного как пёс и незаменимого слушателя её монологов. Кот-психотерапевт.

– Зато от Чапы нелегко было уезжать.

Это было добавлено вслух для чайника – за него Ника была спокойна, если пересохнет, то не от тоски. А при Чапе собиралась тайком, за закрытой дверью спальни, и наполовину уложенный чемодан воровато прятала в шкаф. Он всё отлично понимал – или знал? – потому что тоскливо мяукал и скрёбся в прихожей, льнул к ней остававшиеся до отъезда дни, смотрел укоризненно. Ника звонила из Европы: как вы там, имея в виду всех. «Он не ест», – отвечала дочка. «Мам, поговори с ним, а?» – Валеркина идея, на первый взгляд бредовая, неожиданно помогла. Потом оба рассказывали захлёб, как Чапа тянулся к её голосу в трубке (какая разница, что она там от беспомощности лепетала), потом пружинно вскакивал и шёл к миске. Звонила каждый день.

Эх, Чапа, Чапка... Как тебе там, в очередной кошачьей жизни?

Многие знакомые сетовали, как однообразна жизнь на пенсии. Ненавистный прежде офис обретал вдруг необъяснимую притягательность, о коей продолжавшие работать коллеги не подозревали. Нике не пришлось томиться в офисной клетке с пористыми, как крекеры, потолками, да и многого другого избежала. До эмиграции преподавала биологию; в Нью-Йорке, после долгой неприкаянности, начала читать лекции по модному предмету – защите окружающей среды. За двадцать пять лет окружающая среда хоть и натерпелась от венца творения, но продолжала бесконечно радовать бездонной синевой неба, запахом хвои, листопадом невероятной красочности... да мало ли чудес? Один лист, пятнистая ладошка клёна на скамейке – само совершенство; природа создала это чудо, благодарный Линней описал.

...За окном хлопнула дверца машины, кашлянул и зафырчал мотор. Судя по наступившей тишине наверху, сосед уехал. В

конце дня тяжело и неумолимо прошествует
Каменным гостем по лестнице, громко хлопнет
его дверь, и потолок содрогнётся от стука. Чем
подбита его обувь, интересно? Сегодня, к
счастью, Ника ничего не услышит; утро
продолжалось, и впереди лежал едва початый
день, который завершится самолётом в Европу.

В Городе она не успеет соскучиться по
вечерним прогулкам и вспомнит о них только в
самолёте по пути домой. Ника давно выучила
окрестные улицы, кружила по ним, не
переставая удивляться, когда из-за знакомого
угла выныривал не замеченный раньше проход,
ведущий к неизвестному зданию из красного
кирпича. Другой проулок останавливался перед
оградой, увешанной куртками и свитерами, за
которой ребятишки играли в футбол, или
капризно утыкался в знак тревожного жёлтого
цвета с надписью **DEAD END**.

Тупик.

Да, появилось время для прогулок, хотя
никто не торопил Веронику Подгурскую на

пенсию. Вот и сейчас она могла бы вести очередной семинар по антропогенным загрязнениям, а потом сидеть над студенческими работами. Каждый биологический цикл имеет начало и конец, а *человеческий век* есть не более чем комплимент, ибо длится вовсе не сто лет. Пора трезво оценить свои возможности и расставить приоритеты, как сейчас говорят, и не случайно вспомнилась шеренга слоников на чьём-то комоде. Нужно было свободное время, чтобы распорядиться отпущенным сроком: оставалось всего ничего – может, лет пять, а то и меньше. Пять лет – условный срок из советского прошлого, когда время на глазок измеряли пятилетками: то пять лет укладывали в четыре, то в три. Ника предпочитала точность: пять означало пять.

То, что сейчас требовало времени, накапливалось годами и лежало в нескольких ёмких пластмассовых контейнерах: письма, фотографии, газетные вырезки. Прежде чем

избавиться от бумажного седиментарного слоя, нужно было рассортировать завалы, выбросить ненужное, чтобы не обрекать детей через условные пять лет на тягостные заботы. Уходя уходи, прибрав за собой ради той же цели – защиты окружающей среды. Когда разъехались с Романом, он сжёг в камине что-то лишнее, превратив в чистый продукт, пепел. Она бы с удовольствием сделала то же самое со своими ненужными бумагами, но камин, увы, остался там, где Ника бывала теперь нечасто.

Она сняла квартиру, перевезя самое необходимое, несколько бесполезных, но радующих сердце пустяков, и собственный архив, терпеливо ждущий своей участи. Работа предстояла кропотливая, жестокая, сродни палаческому ремеслу. Или палач – это призвание?.. Две коробки с фотографиями, с трудом закрывающиеся, Ника перетянула скотчем и надписала: «Америка». Дети разберутся – здесь главным образом их мир: школы, друзья, выпускные торжества,

путешествия. Может, и сберегут как раритет, иначе-то зачем – остальные хранятся в телефонах. Отдельно – коробка поменьше, которая вмещала, согласно надписи, фотоисторию «До Америки». Чёрно-белые карточки, многие с кокетливыми кружевными краями, чёткие или блёклые, выглядели сиротками-падчерицами рядом с красочными американскими, но всё же хватали за душу, долго не отпуская, как детский голос брата во сне: «Ни-и-ик?..» Из стопки в стопку – утиль или архив – кочуют старые твёрдые сепии.

Ника помнит по именам всего нескольких запечатлённых, а кто ещё помнит? И с какой стати втолковывать детям, что тётя Маня – старшая сестра Веры, Никиной бабушки, которой давно нет на свете? Из бабушкиных рассказов узнала немало интересного про тётю Маню. Вот она на групповой фотографии, где обе совсем молоды. Сёстры очень похожи, только Верины брови удивлённо приподняты, а Манины решительно сдвинуты. Было чему удивляться,

было что решать и рассказывать... Эти рассказы для детей – другой мир, чужой и неинтересный. Потому и незачем объяснять, что вон тот, с пышными усами, пел шаляпинским басом, а после Первой мировой только сипел, отравленный газами, однако женился, вот и фотография сына. Взрослые дети, не желая огорчать, вежливо слушают, но воровато косятся в телефон, и хотя верят, что пухлая девочка на руках у коренастого дядьки в немодном костюме не кто иная, как мать Ники, их бабушка, не могут проникнуться твоей тоской и болью по той причине, что бабушку свою не знали. Зачем объяснять, кто кому кем уже не приходится, хотя приходился в начале прошлого века, когда украшением женщины являлись скромное поведение, кружевной воротничок и шляпка?

Никому твои рассказы не нужны. Память об ушедших живёт до тех пор, пока не умрёт последний из живых, кто помнит их лица, причуды и голоса, помнит их родственные

связи. Уйдёт этот последний – умрёт и память о тех, кого он помнил.

Картонку с фотографией, где сидят в два ряда незнакомые, давно ушедшие в землю и вечность, люди, Ника всё же отсканировала и распечатала, как и десяток других, уложив в дорожную сумку. То же самое раньше проделала с фронтовыми письмами деда. Пришлось изрядно помучиться – бумага на сгибах истёрлась, чернила выцвели; какие-то куски размыты не то дождём, не то слезами; а скорее всего, временем.

А сколько терзаний было с поиском подарка! Давно прошло время, когда лучшим непререкаемо считалась книга, но что читают Алик с женой, она представляла плохо. Лучший подарок – деньги, в особенности для незнакомой племянницы, пускай купит себе что душа пожелает.

Брату деньги не подаришь. «Одолжи трюльник, – с напускной грубостью буркал подросток в самострочных джинсах, – я отдам,

ты не думай». Трёшки да пятёрки, только такие купюры водились в её тощем студенческом кошельке. «Потом отдам» никогда не происходило, да Ника и не ждала.

Неужели они скоро встретятся, теперь уже совсем скоро?..

Роман всегда провожал её в поездки и встречал в аэропорту. Так сложилось, и новые обстоятельства не разрушили традицию. Кстати, Роман отнёсся к её встрече с Аликом очень насторожённо.

– Сколько лет, ты говоришь, не виделись?

Узнав, присвистнул.

– Сорок пять? Считаю, полвека.

– Примерно. Возможно, больше.

– Ты не боишься?..

– Кого, брата?

– Шока, – серьёзно сказал он. – Шок неизбежен – и для него и для тебя. Поставь на паузу, передохни и дай передохнуть ему. Ты взяла слишком резкий старт.

– Он ждёт меня, мы говорили по телефону!..

– Ты не можешь по телефону перескочить через пропасть времени, для этого необходимо перевести дыхание. Ты с ним не расставалась, не прощалась – ты просто исчезла из его жизни. Разве не так?

Она не понимала. Раздражал его снисходительный тон. Откуда ему знать, как это – найти брата после стольких попыток, у него самого нет ни брата ни сестры, только мать – вернее, мама, всегда только *мама*.

...Роман помогал с переездом и устройством на новой квартире. Последние неразобранные коробки стояли под окном. Они пили на кухне чай.

– Напрасно ты... – задумчиво произнёс он.
– Что теперь, стареть по отдельности?..

Раньше она бы вскинулась: а ты зачем?.. Однако за пару лет обида выдохлась, усохла, только воспоминание жило и жгло.

Вопрос повис, оба молчали. Ситуация на миг показалась абсурдной – в тот момент, после его вопроса. Мелькнуло на миг: а вдруг и впрямь напрасно?.. Но прогнала крамольную мысль, уговорив себя: что сделано, то сделано. Да ведь они не развелись – остались почти друзьями, а скорее родственниками, долгое время жившими вместе, теперь же просто поблизости.

Что можно подарить Алику с женой, не зная их интересов и вкусов? Хорошо бы что-то памятное и вместе с тем ненавязчивое, необременительное... Маленький, но ценный пустячок, вроде статуэтки; поблагодарят, поставят на видное место, а не понравится – передарят кому-то. Бродила из магазина в магазин, однако ничего не вдохновляло, пока наконец нашла: вот оно!.. Дома нетерпеливо развернула и поставила на стол два высоких фужера для шампанского – чистых, изящных. Края соприкоснулись, и хрусталь тонко пропел.

Изрядно намучилась с упаковкой, но результатом осталась довольна: хрупкие высокие бокалы были туго запелёнуты в пупырчатую плёнку, обёрнуты для защиты картоном и бережно уложены в центре сумки. Пустое пространство Ника заполнила мягкими вещами, накрыв кашемировым джемпером.

Кажется, всё на месте: кошелёк, паспорт, билет и самый хрупкий груз, подарок. В боковых отделениях уложены компьютер и телефон; много ли надо современному человеку в дороге? На случай, если всё синхронно разрядится, сунула невесомый детектив в мягкой обложке.

Возня с укладкой оставила ровно столько времени до самолёта, сколько понадобилось, чтобы полить цветы, сполоснуть кофейную чашку и запереть дверь. Сейчас приедет Роман. Впереди две недели без топанья бегемота-соседа, пустой чайник иссохнет от жажды, а самолёт полетит над океаном, стремительно приближая невероятную встречу. Как она ни

пыталась представить Алика
шестидесятилетним или молодым и в джинсах,
перед глазами стояла картинка из сна:
доверчивый черноглазый малыш в коротких
штанишках, которого Ника ведёт за руку из
детского сада – домой, много домов и лет тому
назад, в дом их детства.

2

Алик ждал сестру так же нетерпеливо, как некогда в детском саду: скорее бы забрала. Помнит ли она, как зимним утром вела его по улице, крепко держа за воротник шубки? «Закрой глаза, – предлагала вдруг, – я тебя держу». Он закрывал. «Иди спокойно, – подбадривала, – не бойся. Только не подсматривай!» А зачем подсматривать? – и так ясно: на улице темно, но горят фонари, а с закрытыми глазами просто темно, как будто спишь. Он топал в своих невесомых маленьких валенках, но шагов слышно не было, только снег скрипел. И вдруг лицо тыкалось во что-то пронзительно холодное, глаза сами раскрывались, а сестра хохотала, выводя его из сугроба. Так случалось почти каждый раз: он послушно шёл – и вдруг сугроб. Оба смеялись, снег таял и стекал по щекам. А весной или осенью после садика можно пойти в парк с вечно сухим фонтаном: в нём никогда не было

воды, хотя по краям сидели два каменных льва с открытыми пастьями, из которых торчали ржавые трубки для воды, похожие на свистки. Львы выглядели измученными, хотелось напоить их. В дождь они с Никой шли прямо домой: номер семьдесят пять, квартира девять.

Девятка держалась ножкой на одном винтике. Когда винтик ослабевал, цифра опрокидывалась и повисала, притворяясь шестёркой, и люди в поисках шестой квартиры звонили к ним. Тогда мама, чертыхаясь, закручивала винт отвёрткой или ножиком.

Алику нравилась легкомысленная девятка, нравилось вежливо отвечать незнакомым людям: «Вы ошиблись, это девятая, а шестая на втором этаже». Дверь их квартиры вообще была не такой, как другие, не только из-за винтика – замки тоже были необычными. Нижним никогда не пользовались, а верхний был особенный, с секретом. Про секрет Алик ещё долго бы не знал, если бы ключ однажды не потерялся. Случилось это в далёком прошлом,

он ещё в среднюю группу ходил. Только что закончился полдник, а сестра уже ждала в гардеробе: «Пошли в скверик?» Они расстегнули пальто, Ника развязала его шарф. По траве скверика бегала собака, на скамейке сидел, расставив ноги, пузатый дядька. Алик увидел на газоне мячик и стал гонять его ногами, как настоящий футболист, а потом оставил и подошёл к сестре. «Мне в уборную надо», – сказал он тихо, чтобы дядька не слышал. Их дом находился совсем близко. «По-маленькому?» – на ходу спросила Ника. Он помотал головой.

У двери сестра сунула руку в карман и нахмурилась. Ключа не было и во втором.

– Атас... в школе посеяла. Или в троллейбусе.

Алик безнадёжно подёргал ручку двери.

– Пошли, – сестра потянула его во двор.

Он ужаснулся. Все увидят, как его высаживают, будто маленького, спрятаться негде: напротив чужой дом, а справа сарай. Ника сосредоточенно смотрела под ноги, ворошила

ногой камешки, щепки; вдруг нагнулась и что-то подняла. «За мной», – и потянула его за руку обратно. У дверей квартиры вставила в скважину гвоздь и начала медленно поворачивать. Наконец замок щёлкнул. Алик прямо в пальтишке бросился в уборную.

– Не вздумай кому-нибудь сказать, слышишь? Это гвоздь не простой, а волшебный, пусть он будет нашим секретом. Разболтаешь – и волшебство пропадёт, и мне влетит.

– А маме можно?

– Ни-ко-му, понял? А то будет, как тогда.

...Не любил он вспоминать про «тогда». На даче играли в пинг-понг, а потом полил дождь, играть стало нельзя. Ника играла в паре с Гришкой-большим, Алик следил, куда полетит шарик, и кидался за ним, один раз прямо в крапиву. В дождь не поиграешь... Они пошли к себе на второй этаж, Алик открыл «Крошечку-Хаврошечку», но сестра читать не стала, зато рассказала, как делают детей. Он не поверил.

– Это же стыдно... Не может быть! И все так делают?

– Угу. Взрослые, когда хотят детей.

– И мама с папой?!

Он надеялся, что сестра скажет: ну что ты, глупый; никогда.

– Конечно. Ты вырастешь и тоже будешь.

– Я... ни за что!

В это время кто-то снизу позвал: «Нии-ка-а! Выходи!» Она предупредила: «Только чур, никому; слышишь?» – и выбежала, оставив Алика наедине с обрушившейся на него гадкой тайной. Дождь кончился. В окно видно было, как на поляне ставят стол для пинг-понга.

В тот вечер он долго не засыпал, хотя Ника прочитала всю его любимую сказку. Родители приехали с работы, пошли купаться и вернулись, а он ещё не спал. Мама заглянула ему в горло, потрогала лоб и встала: «Спи давай!» И тут он разрыдался взахлёб. Сестра лежала на раскладушке с закрытыми глазами. «Что, сынок?» От маминых рук после моря пахло

аптекой. Нельзя было говорить – он обещал Нике, что никому, но мама главней, она подтвердит, что это глупости, что он это делать не будет, даже когда вырастет большой. И глубоко всхлипнув, он прорыдал: «А правда, что это неправда?..»

Потому что не могло *такое* быть правдой.

Мама повторяла: «Ох, умора, не могу...» Смеялась она так неудержимо, что папа выбросил папиросу, подошёл, и мама что-то зашептала ему на ухо. Теперь они хохотали вдвоём. Значит, неправда! Мама подоткнула одеяло и погладила его по голове: «Чушь это. Чтобы пisać, есть уборная. Тебе, кстати, на горшок не надо? Тогда спи! Нахватался во дворе...» А в сторону раскладушки громко сказала: «С тобой будет особый разговор!» Сестра не отозвалась и не пошевелилась, как будто спала по-настоящему.

Может, и правда спала?

– Дурак, – прошептала она, когда шаги на лестнице стихли, – просила же, как человека,

молчать. И с чего ты взял, что при этом писают?
А теперь мне влетит!

Алику стало стыдно: про сестру он ни слова не сказал, а получилось – наябедал. Ему стало легче и совсем не страшно, зато Нику будут ругать.

– Я ничего такого ему не говорила, – твердила она на следующий день, – и ничем вашему ребёнку голову не забивала.

Взбучку получила всё равно. «Чтоб я не видела хвоста, ты не лошадь, хоть и кобыла вымахала!» – кричала мама, дёргая Нику за волосы, – тебе только двенадцать лет!»

Алик младше сестры – страшно сказать – на целых девять лет. Это легко было запомнить – в девять часов он ложился спать, и квартира девятая. «Считать легко, – говорила Ника. – Раз, – и клала ему в чай ложку сахара, – два... Хватит, а то попа слипнется».

– Правда?

– Точно, – серьёзно кивала сестра.

Невозможно было не верить. Когда во дворе Лариска рассказала, что Юрий Гагарин полетел в космос и вернулся на Землю, он пошёл узнавать у Ники, потому что многие ребята не поверили, Лариска известная вруша. «Соврёт – недорого возьмёт», – уверяла Ларискина мама, хотя за Гагарина Лариска деньги не брала. «Про Гагарина – правда», – подтвердила Ника и рассказала, как у них в школе во время урока вдруг заговорило радио – не школьный радиоузел, а настоящее, – и диктор объявил про космический полёт и Гагарина, но училка мешала слушать и повторяла: «Нет, этого не может быть». Она послала дежурного разузнать, кто в радиоузле хулиганит. И как их собрали в актовом зале, где директор всех поздравил, хотя в космос летал один Гагарин. Училка просто дура.

Значит, и Лариска не всегда вруша, понял Алик.

А про волшебный гвоздь он никому не проболтался – правда, ему уже было пять, и

считал он лучше. В семь лет он пойдёт в первый класс, ведь Ника научила его отличать волшебные гвозди от обыкновенных: простой, не волшебный гвоздь был круглый, как вермишелина, а волшебный похож на карандаш. «Он гранёный, видишь? Ищи, чтобы согнутый был у шляпки, тогда легче крутить». Она показала ему тайник в стенке сарая, где два гвоздя вынимались, они-то и были волшебные: надо поддеть шляпку, пошатать, и он вылезал.

– Если потеряешь ключ, приходи сюда. Только чтобы никто не подсматривал.

– А то что случится?

– Волшебство пропадёт, вот что. И твой заяц тоже.

– Почему?!

– Потому что вор подсмострит, и пока ты будешь в школе, откроет дверь и унесёт его.

– Точно?

– Точно.

Мысль остаться без зайца была невыносима. Когда-то у зайца было имя (мама придумала), но маленький Алик не мог его выговорить, и заяц остался Зайцем. Он всегда был рядом, как и сестра, хотя подарила Зайца тётя Поля, мамина сестра, старая и с усами. Когда она целовала Алика, он уворачивался – усы кололись. Его стыдили, он плакал и прятался. Став постарше, как-то спросил: «Зачем у тебя усы, тётя Поля?» Та засмеялась: «И у тебя вырастут, погоди немного!»

Заяц тоже был с усами, только они давно куда-то подевались, и целовать его было не то что тётю Полю. Засыпая, он закрывал Зайцу глаза белыми плоскими ушами; днём уши болтались по сторонам или откидывались назад, как Никины косички. Мама собиралась выкинуть «эту рвань», и Алик не сразу сообразил, что говорит она про Зайца. Когда понял, стал прятать его под подушку перед тем как идти в садик, утром у мамы нет времени.

– Мама не по вредности выбросит твоего Зайца, – предупредила сестра, – а потому что грязный он. Совсем зачуханный.

Он так испугался, что стало трудно дышать. Из носа выглянула и поползла вниз тяжёлая капля.

– Алька, ну чего ты сразу... Хочешь, помоем его? Только скоренько, пока никто с работы не пришёл. Стоп, сначала нос. – И достала платок.

Она тёрла Зайца под краном хозяйственным мылом, а потом хвойным, чтобы хорошо пахнул, и долго полоскала в тазу. Алик топтался рядом и сопел от волнения. Выстиранного Зайца сестра повесила сушиться над плитой. Вода в тазу стала серая, как туча за окном, и вытянувшийся тёмный Заяц капал на плиту такими же серыми слезами. Перекрученными верёвками болтались уши.

Алик зарыдал.

– Не реви. Высохнет – не узнаешь.

Он уже не узнавал Зайца.

– Он умер, умер!..

– Аленький, – сестра присела на корточки,
– ну подожди, я скоро вернусь, – и сдёргнув с
верёвки мокрого Зайца, выскочила за дверь.

Она прошептала ему на ухо дразнилку,
которую сама когда-то придумала:

*Алька, Алька маленький,
Мой цветочек аленький.*

...Могла бы не предупреждать – Алик и
сам никому не рассказал бы о такой ласковой
дразнилке. Ни за что.

3

Ни в тот день, ни позже Ника не рассказывала брату о реанимации Зайца. Пока нетерпеливо топталась на перекрёстке, глядя на красный зрачок светофора, злилась: ох, какой он балда, неужели я в пять лет тоже была такая? Выживет твой драгоценный Заяц; и рванула через дорогу прямо к парикмахерской. Тётя Лена заулыбалась, не переставая разговаривать с тёткой в кресле.

Тётка сидела страшная: туго накрученные бигуди, запрокинутое лицо, а на месте глаз и бровей толстые куски ваты с чем-то чёрным.

– Теперь посушимся, – тётя Лена пересадила безглазую под колпак и пошла в конец помещения, за занавеску, кивнув Нике. Бухнулась на стул и закурила, но время от времени раздвигала занавеску, поглядывая в зал.

– Что на душе, кисонька? – спросила, как обычно. Ника молча протянула серый комок.

– В луже нашла?

– Нет, Алькин.

Парикмахерша погасила сигарету, завернула несчастного Зайца в чистое вафельное полотенце, выкрутила над раковиной и понюхала.

– Хвойное мыло... Порошка нету, что ли?

Тётя Лена метнулась к занавеске, выглянула, потом встряхнула Зайца.

– Мало того что мамка парня балует, так и ты туда же? Скоро своих уже нянчить будешь. Тебе сколько, четырнадцать?

Ага, балует, как же. Вчера снова пообещала выкинуть Зайца. Тёте Лене про такое не скажешь – они подруги «со школьной скамьи», как хвастается мать; оказывается, в их школе были какие-то скамьи, а в Никиной обыкновенные парты.

– Встанешь под крайний фен. И суши равномерно, иначе загниёт внутри. Пошли.

Тётя Лена не выдаст – она никогда не выдаёт; а что называет её кисонькой, пускай – только бы Зайца спасти... Руки под феном горели, Ника попеременно совала в карман то правую, то левую. Заяц становился легче, светлел и распухал, уши болтались веселей. За спиной в зеркале тётя Лена сняла с лица клиентки ватные нашлёпки, та моргала широко раскрытыми глазами.

– Передержали, – нахмурилась тётка.

– Да вы двадцать лет сбросили! – весело упрекнула тётя Лена. – Скажи, киска?

Ника неуверенно кивнула. По такой арифметике тётке сейчас лет пятьдесят. Ужас.

– Моя крестница, – доверительно пояснила тётя Лена. – Круглая отличница.

Как она спокойно врёт. Не была Ника ни крестницей, ни отличницей, но тёте Лене враньё прощала. Не за «крестницу» и не за «отличницу» – было за что. Тётя Лена самый надёжный человек на свете.

Пальцы покраснели, как ошпаренные, зато Заяц хорошел и молодел на глазах.

– Ещё минут десять – и хватит, – бросила парикмахерша проходя. – У меня тут дурдом. Одна, целый день на ногах, и маникюрша в декрете.

Две женщины сидели под фенами, на стульях у двери собралась очередь.

– Я одна работаю, девочки, наберитесь терпения, – кричала тётя Лена, сердито тряся бутылочку с лаком, – а за это я вас всех такими лялечками сделаю – все мужики на улице оборачиваться будут!

Ника пошла к двери с Зайцем под мышкой.

– Спасибо, тётя Лен.

– На здоровье! Скажи мамке, чтобы заходила. Дай бусю, крестница, – и подставила щёку.

Каждый приход и прощание тёти Лены сопровождалось этим идиотским «дай бусю», приходилось хочешь не хочешь целоваться.

«Дай тётё Лене бусю, губошлёп», – и сажала на колени упиравшегося брата, чтобы вклеить ему «бусю». Приходила тётя Лена часто: то приносила матери новый лак («у моряка купила, заграничный. Какие деньги, Лидуся, даже не думай»), то пилку для ногтей с перламутровой ручкой, а то забегала на минутку покурить и посплетничать, и Ника радовалась бесконечно долгой «минутке». Если матери не было дома, тётя Лена сразу садилась на диван: «Я целый день на ногах» и разговаривала с ней, как со взрослой, запоздало проглатывая слова, которые только дурак не знал. Она говорила, что платят с гулькиных х<..>, и если бы не чаевые, то ноги б её в этой ср<....> парикмахерской не было, к тому же попадают такие с<...>, что за рубль удавятся, нет чтобы мастера поблагодарить. «И целый день на ногах», – это был постоянный припев. Как-то раз Алик её сочувственно спросил: «Целый день на ногах, тётя Лена?» Давно не доставалось ему столько «бусь», как в

тот раз. «Ох, и будут же тебя девки любить, губошлёп!»

Она могла появиться с ярко-рыжими, как морковка, кудрями: «Дусенька, я тебя в момент покрашу, спасибо скажешь!» Или входила чужая женщина с прямыми чёрными волосами до плеч и говорила знакомым хрипловатым голосом: «Я целый день на ногах», и Нику бросало в оторопь от неожиданности. Тётя Лена была самой красивой (после мамы, конечно) из всех подруг: округлое нежное лицо, глаза голубые, как у Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия», а брови чёрные.

Три года назад тётя Лена зашла днём: «Есть кто дома?» Дверь была не заперта, Ника лежала на кушетке, подтянув ноги к подбородку – так болело меньше.

– Что с тобой, Кисонька?

На вязаной шапочке и на ресницах тёти Лены таял снег.

– Живот...

...Живот болел с утра, но мама нахмурилась: «Знаю я твой живот, лишь бы в школу не идти. Собери волю в кулак и вставай. Будешь уходить, запри дверь».

Собранной в кулак воли хватило, чтобы дотащиться до уборной, где Нику долго мучительно рвало, но боль оставалась. Тёмное окно прочерчивал летящий снег. В школе выдают табеля, Инка принесёт. А послезавтра Новый год.

От прикосновения холодных губ тёти Лены ко лбу по спине пошёл озноб. Та, поминутно оглядываясь, крутила телефонный диск, ещё раз – и бросила трубку: «"Скорая" называется. Убить мало сволочей. Сейчас, киска». Завернула её, одиннадцатилетнюю дылду, в плед и на руках, как младенца, понесла к двери. «Ты кричи, кисонька, ничего. Х<...> им дозвонишься, больница ближе».

Если мать узнает, что она в больнице, то ругать не будет. От едкого медицинского запаха

её снова вырвало. *Бумажные души*, кричала на кого-то тётя Лена, врач трогал Нике живот, и никакой силы воли не хватало, чтобы не кричать. «Да поймите же, мамаша, нет у нас детского отделения, сейчас транспорт вызовем», и Нике стало смешно, хотя боль не давала смеяться. В больнице перепутали: ведь это тётя Лена притащила её сюда, гладила по руке; тётя Лена, а не мама. Темнотой начался день – и темнотой кончился, хотя вечер ещё не наступил. *Почему вы плачете*, спросила она тётю Лену, но та не слышала – или Ника только хотела спросить, но вместо этого закричала, когда носилки ставили в машину. Над нею качалось лицо тёти Лены, вокруг ярко-голубых глаз размазалась тушь. Везли долго, Ника дрожала, потом над головой загорелась яркая лампа, чей-то голос приказал: «Считай! Считай, ну: один, два, три...» Что я им, маленькая? – удивилась она. «Громче!» Чем дольше Ника считала, тем трудней выговаривались цифры,

потом они все перепутались и криво посыпались куда-то вниз, унося боль.

Три года назад... Всё, больше такое не случится, потому что двух аппендиксов у человека не бывает, и не надо возвращаться в эту больницу всякий раз, когда встречаешься с тётей Леной, собери волю в кулак и захлопни дверь длинного сводчатого коридора, забудь, как ждала, что вот-вот появится мама, принесёт куриный бульон. Откуда взялся куриный бульон, его варила только бабушка, но привиделся и стойко переходил-перетекал из одного больничного сна в другой; остывший куриный бульон в банке, с ряской зеленоватого жира и утопшими на дне крылышками; разогреть – и хлебать, обжигаясь, как та девчонка на соседней кровати. Завтра мама принесёт его и сядет рядом в наброшенном белом халате. Так все мамы делают.

...Уйди наконец из той больницы, забудь про страшные сиреневые трубки, похожие на дождевых червяков – они торчали, словно

живот дал резиновые побеги, забудь слова «обширный перитонит», это к нему тянулись трубки. Забудь своё ожидание, что вот-вот откроется дверь и мама появится; забудь свою обиду, *собери волю в кулак*. Она не приходила, хотя дверь открывалась часто. Забудь обиду, как моментально забыла в тот вечер, когда мама всё же пришла – февраль кончался, – и Ника заплакала от счастья, когда за тёмным – опять тёмным! – окном возникло мамино лицо. Двери не было: теперь она лежала не в палате, а в каком-то тупичке, отходящем от коридора, как аппендикс, который больше не воспалится, пускай валяется где-то в операционной. А мама не могла войти – никого не пускали, потому что в больнице был карантин, *карантин-скарлатин*, и мама стояла за окном, снежинки косо летели ей на берет и на воротник. Она улыбалась из-за стекла, красивая, как Снежная Королева. Форточка была чуть приоткрыта, ветер удачно дунул, и щель стала шире. Внутри стало горячо от затопившей любви к маме. «Мне снилось, что

ты приносила мне куриный бульон», – она поминутно оглядывалась, чтобы медсестра не застукала её у открытой форточки. «Приносила; вкусный?» – и мама рассказала, как ехала на двух трамваях, «он очень полезный... Тебе не передали?.. – И спокойно добавила: – Значит, украли. Какие сволочи». Из форточки несло пронизывающей стужей, и где-то остывал вожделенный бульон. Эти банки множились, и ни одна не досталась Нике, хотя мама варила для неё, своей дочери, но кто-то другой, дуя на ложку, съел его. Мама переминалась с ноги на ногу – мёрзла, и Ника чувствовала, словно это она сама стоит на холоде, под февральским ветром, и стало по-настоящему холодно. «Забери меня, пускай меня выпишут». Они шмыгнули носом одновременно, мама засмеялась. «У меня ноги заоченели, – призналась она. – Мне пора, там Алик один», – и помахала перчатками. Мамина фигура становилась всё меньше, Ника прижалась к стеклу, но снег уже перечеркнул тёмный силуэт.

Она совсем не думала в больнице про тётю Лену, только однажды всплыло стыдноватое воспоминание, как та несла её на руках, завернутую в плед, и мелькало лицо с размазанной тушью в машине «скорой», а потом началась больница – до того самого дня в конце марта, когда мать приехала забрать её домой. Яркое солнце било в глаза, привезённые ботинки жали – за время больницы нога выросла.

...Может, тётя Лена живёт по старому адресу? Если ещё живёт...

Самолёт мелко вибрировал, и по воде в стаканчике проходила мелкая зыбь. Унесли несъедобный самолётный обед, похожий на муляж, и мужчина в соседнем кресле – седоватая шевелюра, красные вмятины от очков на переносице – зевнул. Сейчас раскурочит пластиковый пакет, завернётся в утлое казённое одеяло и захрапит. Мужчина

нажал кнопку и заказал у подошедшей стюардессы виски. Встретившись взглядом с Никой, улыбнулся с неожиданной теплотой и кивнул на планшет:

– Завидую. Мне в самолёте не удаётся читать.

Ника сидела, потягивая кофе, на удивление неплохой. Напрасно мужик завидует, её голова тоже другим занята. Начала читать – и застряла в начале второй главы, когда вспомнила, как мыла Зайца, после чего вдруг оказалась в тёти-Лениной парикмахерской, а потом и в больнице. Думала, стёрлось, а вот поди ж ты. Сама того не желая, репетировала встречу с Аликом, его семьёй, а дверь открывалась опять, и вместо шестидесятидвухлетнего солидного мужчины в неё просовывался мальчик в штанишках на ляпочках: «Ни-ик?..» У мальчика были густые волосы тёмно-шоколадного цвета с криво подстриженной чёлкой. В юности чёлка исчезла, длинные волосы лежали на плечах, а пухлое

личико вытянулось. Они говорили по телефону, Ника включила видеосвязь – узнает? испугается? – да какая разница! Брат камеру не включил.

О чём они будут разговаривать? Сначала, для «разгона», ни о чём: перестрелка вопросами, на которые давно готовы ответы. *Как ты долетела – как ты меня нашла – нет, ты про себя расскажи – тебе чай или кофе?..* Спасительное сотрясение воздуха, small talk – действительно, мелкая болтовня, чтобы не вязнуть в молчании.

...Сосед извинился, встал: «Надо размяться». Прозрачный эвфемизм для похода в туалет, пока нет очереди. В иллюминаторе чернота. Не думать о высоте, не думать об океане внизу. Блаженны спящие, ибо не успеют осознать, как обретут царствие небесное.

Мужчина вернулся, надел наушники и включил телевизор. До Франкфурта оставалось семь часов.

...Алику исполнилось пять, ему подарили самолёт с колёсиками и красными звёздами на

крыльях. Самолётик уехал под кровать и пылился на вечном покое. Брат любил Никин игрушечный сервиз, громоздил тарелочки многоступенчатой пагодой.

Он пожилой, напомнила себе Вероника, вроде этого, в соседнем кресле. Наверное, у брата на лице такие же складки вокруг рта. Возможно, он лысый обрюзглый толстяк. И не забудь, что ты старше на девять лет. Косметика делает чудеса, но что лучше – пугать его постаревшим лицом или тем же лицом, щедро заштукатуренным? Интересно познакомиться с женой... Когда-то собирались увидеться, он обещал прийти в гости. Ничего из этого не получилось. Она (по имени Алик не назвал) будет угощать: берите, попробуйте; не стесняйтесь... Утренний сон перечеркнул взрослого брата – перед глазами стоял мальчуган в коротких штанишках, и ляпочки эти дурацкие... Что – жена; тоже небось пуд косметики. Ты будешь выглядеть скверно: бессонный полёт, отсидка во Франкфурте,

второй самолёт – и третий, последний.
Отоспаться сможешь в Городе –
зарезервировала гостиницу, не ожидая
приглашения от Алика. Которого и не
последовало, что было с его стороны правильно
– после такого перерыва плотное общение
требует пауз и... *privacy*, хотя на русском такого
слова нет. Они говорили по телефону – вернее, в
основном говорил он, у Ники то и дело
перехватывало горло. «Как ты меня нашла,
сестрёнка?»

Рассказать ему, как искала? Нужно же с
чего-то начинать. Вначале – старым дедовским
способом: несколько раз в год посылала
запросы в справочную службу Города (ФИО,
дата и место рождения, имена родителей). Как
только появился Интернет, озадачивала
поисковые системы, вводя те же данные, других
не знала – мог ведь переехать, как она в своё
время, в другую страну. Что бы ни менялось у

брата, ответ на запрос – ноль результатов. Ноль! Zero. Rien. Пустота. Пустота множилась, надежда таяла, но в конце весны неожиданно появился просвет, и брат обрёл если не очертания, то голос. И помог отнюдь не всемогущий интернет, а милая женщина Лиля, дальняя родственница. Жила она, как оказалось, по соседству с Аликом: «Вот от меня дорогу перейдёшь – и его дом». Абсурд многолетнего поиска, чёрттов ларчик из басни.

...С самого начала: в прошлом сентябре, легко одетая, она прилетела в родной город. И – замёрзла. Погода была настолько промозглой, что в квартире, которую она сняла, включили отопление. Всегда путешествовала налегке, без багажа; пришлось купить свитер (купила бы и тулуп) и плотные носки. По пути в магазин эколог Вероника Подгурская бормотала себе под нос: глобальное потепление, как же... В ванной сохли мокрые кроссовки. Лилия сразу

начала сетовать в телефон: «Зачем деньги тратила, остановилась бы у меня», после чего приехала с тёплой шалью и продуктами: «У вас небось такого сыра нет...» И снова чай, уже вдвоём, и разговор о детях и внуках, общих знакомых и родных незаметно повернул в сторону тупикового поиска. «Да жив он! – удивилась Лиля, – ты что? В последнее время, правда, не видела – а может, не узнала при встрече; но какое-то время назад... Я разузнаю и позвоню». Вспыхнувшая надежда погасла. *Какое-то время назад* могло означать год или два, а то и больше – время вместе с нами резво катится с горы.

Ника провела – вернее было бы сказать: промёрзла – в городе десять дней, успев увидеться с друзьями, сходить на кладбище и подвернуть ногу, неудачно выйдя из такси. Хотя боль была сильной, про перелом узнала только по приезду. Прилетела в Нью-Йорк с оглушительным кашлем, подарками для детей и тёплой шалью: Лилия наотрез отказалась взять

её обратно. Сразу вернулась в привычную колею: листала, перечитывала бумаги под пушкинское *«И горько жалуясь, и горько слёзы лью...»*. Случалось и такое, но кто видел её слёзы? – Стены, портреты, книги; чайник, наконец.

А в декабре позвонила Лиля: «Живой!..» Охотно рассказала (приятно сделать человека счастливым). Она не связывалась со справочными бюро, не пялилась в компьютерный экран, как Ника, а подключила *человеческий фактор*, зайдя к дворничихе с простым вопросом: живёт ли здесь такой-то. Просто, как в деревне, где все знают всё про всех, а дворнику сам бог велел, хоть и не деревня. Никогда не знаешь, откуда явится на помощь *deus ex machina*: интернет не справился, а дворничиха – играючи, в два счёта.

Вероника и Лиля, знакомые с детства, встречались нечасто – их родители дружны не были, но время от времени Лилина мама приглашала в гости. Нику томило нарядное

платье – тесноватое, с неудобной застёжкой, – и слишком туго заплетённые косички, но больше всего многократные предупреждения матери: «Смотри, чтобы Алик яйца не ел. И шоколад». У брата была тяжёлая аллергия, в то время говорили «диатез». Всегда тихий, послушный, он издали смотрел, как бойкие румяные дети, счастливые одним только отсутствием диатеза, с громкими криками носились по квартире. Никогда не присоединяясь к ним, он отводил глаза от шоколадных конфет и мандаринов. К счастью, мандарины были редкостью, появлялись только в хрустящих ёлочных слюдяных подарках, и по пути с ёлки домой Ника как-то дала ему съесть запретный плод. Кожуру засунула обратно в пакет; а куда было девать её в трамвае? Матери вдохновенно соврала, что сама съела, «ни кусочка не дала ему, честное пионерское!»

«Только, по-моему, я имя перепутала; хорошо, что дворничиху знаю давно, а то чуть не

детектив получился: спрашиваю про Алика...» –
и Лиля засмеялась.

4

Он всегда был Аликом и только в школе узнал своё полное имя: Олег. Учительница делала переключку по классному журналу:

– Михайлец Олег!

Она произнесла: «Алех», – и ждала, переводя взгляд от одного лица к другому. Повторила: «Михайлец Алех», и тогда, сконфузившись, он на всякий случай встал.

Все звали его Аликом, только старая нянька называла *мáлюх* и *смáркач*, однако старая нянька не считалась, а вторая, Маня, вообще никак его не называла, зато была любимая.

Одного мальчика в их садике звали Олегом, его часто ставили в угол. Олег очень красиво и громко пел, учительница пения ласково называла его Олежкой. Значит, он, Алик, теперь будет «Алех»? Он так самозабвенно горевал, что первый день в школе ничем, кроме нового имени, не запомнился. Когда дома

рассказал Нике, она смешно передразнила учительницу: «А-а-лех!» – будто чихнула. Смех прогнал обиду.

Школа вообще мало чем запомнилась, в садике было веселей. Воспитательницы ставили его в пример другим ребятам, и как-то Нонна Петровна сказала: «Лёгкий ребёнок, не сравнить с сестрой». Говорила она негромко, обращаясь ко второй воспитательнице, как её звали? – забыл. Анна Васильевна? Владимировна?.. Ника должна помнить, она раньше в этот садик ходила. В садике давали книжки-раскраски, но закрашивать картинки, кем-то уже нарисованные, было скучно, поэтому Алик часто дорисовывал то божью коровку, то самолёт в небе, то кошку. Он мечтал о настоящей, живой кошке, но сколько ни просил у мамы котёночка, та не соглашалась: «Только грязи мне в доме не хватало!» Сестра хотела собаку, но мама и слышать об этом не желала: «Собаки линяют, а я вам что, проклятая, за всеми убирать?!» Она сердилась, хотя собака и кошка были ни при

чём, просто папа снова собрался в командировку, в ужасный свой Ужгород, и мама говорила тёте Лене: *на нервах играет*. Ника делала уроки – или притворялась, очень уж внимательно прислушивалась к разговору на кухне, – он сидел на подоконнике, глядя в окно и жутко завидуя Вовке из четвёртой квартиры, который вышел гулять со своей таксой Муськой. Смешная собака: туловище длинное, а ноги кривые и короткие, как ножки у буфета. Вовка часто давал ему подержать поводок, и Муська слушалась Алика.

...Вовка сейчас его бы не узнал. Узнает ли сестра? Хотя, говорят, он мало меняется; самому-то не видно. Когда позвонила Лиля, он не сразу понял, кто она такая. Потом они вдвоём с дворничихой пришли. Пришлось обеих знакомить с Зепом, а дверь на кухню была открыта. Ничего особенного, подумаешь – он у себя дома, а в тот день как раз пенсию принесли (Зеп знает, когда приходить), – однако женщинам не нравятся пустые бутылки на

кухне. Да кому какое дело – сестра нашлась, она в Америке живёт. Алик давно смирился с мыслью, что они никогда не встретятся, а тут вон оно что!..

– У меня есть её телефон. Хочешь, прямо сейчас наберём? – предложила Лиля.

Звонить «прямо сейчас» Алик был не готов – ему хотелось остаться одному, без Зепа, без этих баб. И вообще сейчас он не готов – не вчера расстались, а тридцать... нет, какое: больше, много лет назад. Нужно было время осознать, что сестра – есть, она жива, как было в детстве, в самое светлое время. Потом его жизнь стала менять цвет, утрачивать краски, меркнуть, а тогда – тогда было счастье, хоть и без кошки. Зато сестра была всегда, как мама и папа – до того дня, когда привычный и уютный мир обрушился, как домик из кубиков, и спасло его только неумение понять случившееся.

В садик в тот день за ним пришла тётя Поля. В кондитерской тётя купила шоколадный торт. Чайник на плиту поставила тоже тётя. Мама была дома – лежала на тахте с натянутым на голову пледом и повернувшись к стене. «Мама спит?» – спросил он у Ники. «Угу. – И добавила, обогнав его вопрос: – Папа уехал». Она ставила на стол новые чашки. Мама, вместо того чтобы обрадоваться торту, закричала: «Зачем ты принесла эту гадость, подсластить пилюлю, да?». Тётя Поля заговорила про детей – каких детей, не понимал Алик, – но стало только хуже. Мама с силой швырнула вилку, которая криво воткнулась в пол, и Алик удивлённо смотрел, как вилка долго дрожит, а мама продолжала кричать: «Ты!.. Много ты знаешь о детях? Ты хотя бы знаешь, откуда дети берутся?..» И тёткино тихое: «Представь, знаю». Мальчик изо всех сил старался не слушать: он-то знал, откуда... Сидел на подоконнике, отвернувшись от скандала, и рассматривал свой новенький лакированный пенал, подарок тёти

Поли; осенью он пойдёт в школу. Верхняя часть трубочки снималась, изнутри торчали носики заточенных карандашей. Пенал был упоительно гладкий, раскрашенный красно-золотым по чёрному фону – листьями, красными ягодами, хвостатыми жар-птицами. Чудо-пенал маме не понравился: «У моей сестры папуасский вкус». Она купила Алику другой, кожаный. Новый был коричневый, скучный, и карандаши сразу пропитались острым запахом ботинок. «Не реви, балда, – смеялась Ника. – Сопрут твой кожаный в первый же день, и будешь носить тёти-Полин». Алик и сейчас помнил, как его успокаивало прикосновение к гладкому круглому пеналу. Сестра оказалась права: кожаный исчез вместе с вонючими карандашами, и мама сказала: «Какой же ты растёпа».

Он не сразу понял, что произошло. Папа, конечно же, в командировке, тётя Поля пришла в гости, скоро появится тётя Лена и вlepит ему «бусю»; мир нерушим. Вряд ли он, в свои шесть

лет, думал о прочности мира, но кубики любил и часто строил дома.

«Папа не вернётся», – строго сказала мама. Сестра молчала. Теперь она часто брала его к своей подруге Инке. У той был брат, ровесник Алика, и здоровенная собака Дита. Алик замирал, когда Дита лизала ему лицо, Владик смеялся: «Не бойся, не укусит!», а Инка громко кричала собачье заклинание: «Фу!»

Дома стало теперь иначе. Весёлая тётя Лена почему-то не приходила, зато часто появлялась тётка. На взморье в то лето не ездили, но Алик о даче не грустил – мечтал, как пойдёт в школу. И тогда, он был уверен, первого сентября появится папа; они нарочно говорят, что он не вернётся.

...Захотелось курить. Он медленно двинулся на кухню, сел на табуретку около раковины и, вынув из пачки сигарету, щёлкнул зажигалкой. В оконное стекло долбил дождь.

Август, опять август. Всё самое плохое случилось в августе. В августе отец уехал якобы в командировку, а на самом деле в иную жизнь. В другом августе, спустя семнадцать лет... или девятнадцать? – Алик стоял на ветреном кладбище, где хоронили Жорку; никогда у него не было такого друга. Тётка Поля, которую безжалостно ругала мать – и не могла без неё обойтись, – тётка тоже умерла в августе. Было тепло, на кладбище стояло неподвижное лето. Год он не помнил – собственная жизнь полностью его поглотила, он забыл не только тётку, но чуть себя самого не забыл, – и сестра, каким-то образом отыскав его, заставила пойти на похороны. Проклятый август; хоть ложись в кровать тридцать первого июля и не вставай до сентября.

Он стряхивал пепел в раковину – не промахнёшься. Скоро пальцам стало горячо, сигарета догорела; торопливо бросил окурок и включил на секунду кран.

Тётка Поля... Что он знал о ней? –
Одинокaя старухa с усами, вот кем была для
него тётка. Она была старше матери на год или
на два, но никакого сходства между ними не
было. Алик осознал много позже, что именно
тётка поддержала чуть было не рухнувший дом
– во всяком случае, как-то подперла его, чтобы
тот перестал угрожающе крениться набок, – и
благодаря ей семья, шаткая и кривоватая, кое-
как обрела устойчивость. Август кончился,
первого сентября он пошёл в школу, и хоть папа
не появился, он всё равно ждал его каждый
день.

Август подходит к концу, скоро прилетит
сестра. Ника, сестрёнка... «Я привезу старые
фотографии», – радостно сказала она.

Зачем? Что с ними делать?..

5

Осторожно, чтобы не задеть соседа, Вероника вынула папку. Ни одного снимка, где взрослые сёстры были бы вместе, не нашлось, поэтому она отсканировала фотографии матери и тёти Поли на одном листе. Лица смотрят в разные стороны. Мать улыбается белозубо, непринуждённо, словно не в фотоателье сидит, а в гостях у хорошего знакомого, который и навёл объектив. Тёмные волосы – ни седины – волнятся с той естественностью, которая достигается старательной укладкой. На вид ей никак не дашь больше тридцати, но размашистая надпись её почерком на обороте оригинала сообщает: «Осень, 1969». Сорок два. Тётя Поля глядит в другую сторону, отстраняясь от сестры, чего никогда не делала в жизни. Густые, как у матери, волосы, но седые, взгляд усталый, спокойный. Вот-вот улыбнутся красивые полные губы, но фотограф нажал кнопку раньше чем улыбка состоялась; никаких

усов не видно, да и были ли они вообще? Маленький Алик уворачивался от поцелуев – дети не склонны к такому проявлению любви, вот и придумал: усы. В Полине нет ни кокетливого прищуря матери, ни молодой её бодрости. А ведь она красивая... Ни двадцать, ни сорок лет назад эта мысль не пришла бы Нике в голову – красавицей считалась мать. Она ревниво и старательно оформляла себя сшитыми по фигуре платьями, неизменно высокими каблуками; к её тёмным волосам очень шла помада густо-винного цвета – цвет называется «merlot», Ника видела недавно точно такую же. Она пудрилась извечной «рашелью» – интересно, существует ли такая сейчас? – однако ресницы и брови не красила никогда – природа великодушно одарила обеих сестёр.

Тётка, с её похожими один на другой невзрачными нарядами – тёмная юбка, светлая блузка, сверху шерстяная кофта, шедевр местного трикотажного комбината, и робкая розовая помада – тётка выглядела до стыдного

заурядной рядом с сестрой. Причёску не меняла никогда: густые седые волосы, с обеих сторон укрощённые приколками, уложены в шестимесячной завивке («вечномесячная», шутила мать). Пудрой не пользовалась («от пудры морщины»), и Ника с испугом всматривалась в мамино лицо, которому коварная «рашель» угрожала морщинами.

Морщины достались тёте Поле и старательно прочертили на лице возраст. Впрочем, кого удивляли морщины на лицах школьных учителей? Тётка преподавала русский язык и литературу, чему нисколько не мешали «вечномесячная» завивка, однообразная одежда и розоватая, словно губы обветрены, помада. Полина жестоко мучилась от больных косточек на ногах, а потому была обречена круглый год носить уродливые ортопедические ботинки вроде лыжных, с высокой шнуровкой, всегда почему-то чёрные. Ботинки ли тому виной или воспалённые косточки, но тётка ходила, ставя ноги носками вразлёт, как

балерина, и спину держала всегда прямо. Менять одежду, причёску, не имея возможности надеть обыкновенные лодочки или босоножки?.. «У неё нет своей жизни», – повторяла мать. Под «своей жизнью» подразумевалось отсутствие мужа.

Был ли он когда-нибудь, муж или любовник, или тётка всю жизнь прожила с матерью – сначала от отсутствия вариантов, а затем от невозможности уйти, оставив её больную в одиночестве? Нике трудно было представить послевоенную молодость обеих сестёр, а кто сумел бы? Разве родители существовали, пока не было нас? Да, жили, росли, менялись и выросли, но это были просто дети из фотоальбома, чертами похожие на нас, хотя нас и в помине не было. На снимке, где Лидии двадцать шесть лет, она выглядит намного взрослее двадцатилетней Ники как раз потому, что в этом возрасте она уже была матерью.

Если у Полины была «своя жизнь», то спрятала она её далеко и надёжно. Нике с Аликом она досталась готовой тётёй Полей, маминой сестрой, которая работала в школе, выразительно читала вслух и заботилась о больной бабушке.

Любила детей – как племянников, так и учеников. Любила и знала литературу; умела заразить этой любовью. Бóльшую часть урока она проводила на своих больных ногах: «Не могу же я сидя рассказывать о Гоголе». Позднее Ника поняла тётку, когда сама стояла перед классом, объясняя новый материал, будь то круговорот воды в природе или строение клетки.

...Дома тётя Поля меняла безобразные тупорылые колодки на тапки, а неприметную каждодневную одежду на мягкий фланелевый халат. Мать – по контрасту – халаты никогда не носила, как и тапочки: ненавидя то и другое («что я, баба?»), носила дома платье и лодочки

на танкетке вместо каблучков, оставаясь почти такой же элегантной, как у себя на работе.

...До Франкфурта больше пяти часов. Самолёт застыл неподвижно в ночном небе, и люди в креслах тоже застыли неподвижно: кто спал, укутавшись в одеяло, кто оцепенело пялился в телевизор, и на крохотном экранчике бесшумно и неистово металась фигурки, лица, что-то летело, вспыхивало беззвучными взрывами, словно компенсируя статичность окружающего. Время замерло.

...На следующей фотографии мать одна, в полный рост, с той же задорной улыбкой. Руки сложены впереди, как на ренуаровском портрете Жанны Самари, словно она вот-вот протянет их навстречу желанному гостю. Дата не обозначена, только написано: «Сергею». Ника

взяла её из письменного стола после ухода отца.

Изменилась вся квартира. Раньше одна комната называлась «папиным кабинетом». Кроме письменного стола, там стояла тахта с поэтическим названием «Лира» и книжная полка. Книжки стояли скучные: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт» и другие, столь же увлекательные, с разлохмаченными корешками. Когда братишка заходил, папа вставал из-за стола, хватал его на руки и подбрасывал вверх. Алик визжал – от восторга, страха, счастья; папа смеялся. «Нику покидай!» – задыхаясь, просил Алик. Отец хмурился: «Ника большая». Она давила в себе обиду: когда я была маленькая, он меня тоже подбрасывал к потолку, я просто забыла.

Как-то папа задумал научить её шахматам и позвал в кабинет. Он быстро расставил фигуры и начал показывать ходы: брал сильными пальцами то одну, то другую, передвигал, поминутно спрашивая: «Поняла?»

Ника послушно кивала, но повторить почти ничего не смогла. «Тура, понимаешь? А это ферзь». Он сдерживал раздражение. «Нет! – Так нельзя ходить, это король. Я тебе объяснял; повторим. Это что за фигура?»

– Пешка.

– Ну, слава богу. Следующая, вот я держу? Дураку ясно; Ника радостно выкрикнула:

– Лошадка!

– Что?!

– Ну, лошадь.

– Лошадь?! Скажи ещё – кобыла!.. В шахматах нет лошадей! – и гневно сгрёб фигуры в ящик.

Она возненавидела шахматы, но нарочно заходила в кабинет, когда папа уезжал в командировку. Тогда можно было попрыгать на упругой тахте. Пускай он Алика кидает, я сама до потолка взлетаю. Главное – тщательно расправить накидку после прыжков.

Отца часто не было дома по несколько дней, иногда неделю. Как-то, лёжа на тахте, Ника заметила несколько книжек, задвинутых в дальний ряд нижней полки. Книжки были загадочные: «Пособие для следователей» в серой затёртой обложке, «Нервные расстройства» и тёмно-зелёные тома Диккенса, не уместившиеся в книжном шкафу. На нижней полке лежал деревянный гробик с ненавистными шахматами, запертый на крохотный крючок. Другой крючок, нормального размера, почему-то был на двери, как в уборной.

Во второй комнате, кроме круглого стола, стоял книжный шкаф, так плотно забитый книгами, что время от времени дверцы сами по себе, жалобно скрипя, медленно отворялись. Книжки были понятные и любимые, часто перечитываемые. За шкафом уместились кровать Алика и кушетка, на которой спала Ника. Свет из окна освещал трюмо и второй шкаф, одёжный. Здесь ели, разговаривали,

слушали радио, принимали гостей – одним словом, жили.

В больнице Ника часто думала, как ей пригодился бы любой том Диккенса из папиного кабинета – читать было нечего, и это мучило сильнее боли. Спросила как-то, набравшись храбрости, у медсестры, нет ли какой-нибудь книжки; та громко рассердилась: это тебе не читальня. Гнев заразителен: другие ребята – Ника тогда ещё лежала в большой палате – смотрели осуждающе, хотя к ним приходили мамы, иногда с папами, садились на кровати, кормили чем-то вкусным, домашним. Она притворялась, что спит, и часто действительно засыпала. Чужие мамы предлагали: «Девочка, хочешь печенья? Бери-бери, не стесняйся!» Ника мотала головой: спасибо, ко мне сегодня мама придёт. Однажды проснувшись, увидела на своей тумбочке большой апельсин, яркая рыжая кожа была вся в крупных порах, как нос у завуча. Апельсин манил, его очень хотелось

съесть, но стыд удержал: подумают, что я сирота.

...Мать с фотографии улыбалась своему «Сергею». Похоже, это начало шестидесятых, у неё не такая короткая стрижка, как позднее. То платье Ника отлично помнила: нежно-серого цвета, реглан делает плечи хрупкими, на шее чёрные бусы. Алик совсем маленький был, ещё не ходил в садик. Утром отец отводил его к нянькам.

«Он у вас слабенький, лучше бы в домашних условиях», – покачала головой врач, когда мать пришла за справкой для яслей. Алик в детстве часто простуживался и долго кашлял. И мать, спешившая вернуться на работу, кинулась искать няньку. Нашла не она, а тётя Лена, причём сразу двух. «Не было ни гроша, да вдруг алтын, – озадачилась мать. – Мы не можем платить обеим. И зачем ему две?»

Других, однако, не нашлось, а плата была весьма скромной. Няньками стали две седые старухи, по виду сёстры.

Старухи жили на соседней улице в одном из домов, стоявших параллельно друг другу. Чтобы попасть к ним, нужно было пройти анфиладой дворов и подняться на четвёртый этаж. Алик уже ходил, и Ника приводила его домой. Главной была Марта: лет семидесяти, тощая и прямая как карандаш, со строгим безгубым лицом и белыми волосами, стянутыми в мелкий клубочек на затылке; поверх платья всегда носила серый фартук. Вторая старуха, на вид немногим младше, оказалась дочерью Марты. В её лице не было строгости, только испуг и насторожённость; она не сводила боязливого взгляда с матери, которая называла её Манькой. «Сердится», – подумала Ника. «Манька!» – скомандовала старшая, и та поспешно двинулась в другую комнату, откуда вынесла узелок с Аликовой одеждой. Она ходила, сильно припадая на ногу в безобразном

высоком башмаке. Братишка держал «Маньку» за руку – крупную, со страшными выпирающими суставами. Марта за что-то ругала её на незнакомом шершавом языке. Та смотрела виновато, крепко сжимая ручку малыша. Серое мешковатое платье, тусклая алюминиевая седина; густые волосы ровно подстрижены и держались круглой гребёнкой. Нике было так её жаль, что защемило в груди. «Вот уйдём, и Манька выскажет ей всё что думает». Она взяла за руку братишку и попрощалась.

Маня никогда не возражала матери, да и вообще никому – она была немой от рождения. Что не помешало ей привязаться к чужому малышу, самозабвенно нянчить его, таскать на руках и тайком от Марты стирать его мокрые штанишки. Заговорщицки приложив ко рту кривой палец, она совала Нике влажный свёрток и тыча себя в грудь, кивала: чистое, мол. Когда постирать не удавалось, она виновато мычала и мотала головой.

Лидия пришла в ужас: «Немая?! Чему ребёнок у неё научится, мычать?» – «Ой, да ладно тебе, – успокаивала тётя Лена, – вторая-то говорящая».

Алик отлично понимал все оттенки нянькиного мычания. Вторая старуха, хоть и «говорящая», никакого участия в Алике не принимала. Мать иногда передавала деньги с Никой; старуха заботливо разглаживала купюры и бросив острый взгляд на «Маньку», прятала в глубокий карман вечного фартука.

Крепко сбитая, широкоплечая Маня совсем не походила на мать – и слушалась каждого её слова, боясь рассердить. Она была для Марты дочерью, прислугой за всё, козлом отпущения – и надёжным источником скромного дохода. Нянчила чужих детей, ходила за продуктами, ковыляя на жутком своём башмаке вверх-вниз по лестнице, варила, стирала... Как она относилась к другим ребятишкам, до или после брата, Ника не знала; Алика же полюбила без памяти. Малыш легко

заболевал, и вначале Лидия брала больничный. Алик плакал, звал Маню. Мать сдалась: его стали отправлять к старухам, объяснив, когда давать лекарства, что Маня благоговейно и выполняла.

...Много позднее Вероника пробовала осмыслить жизнь этих двух женщин. Искажённый смысл библейских имён осознала не сразу. Мария, которая должна была бы избрать «благую» часть, заботилась о земном, насущном, ибо мать взвалила на неё все заботы, Марте же досталось – или осталось? – самое что ни на есть тленное: деньги, прах.

Обе по воскресеньям ходили в костёл. Маня не могла молиться, как остальные прихожане, но вытянув голову, внимала словам ксендза, как и святая тёзка её не могла не

слышать Манину бессловесную и потому особенно страстную молитву.

Почему Марта не научила дочь, обладающую нормальным слухом, говорить, а вместо этого навсегда сделала своей рабой? Или немота явилась результатом болезни, травмы? Чем была вызвана Манина хромота и почему, несмотря на муку каждого шага, мать заставляла её стоять в очередях и таскать тяжёлые сетки? Сама Марта прекрасно слышала – и вместе с тем была беспросветно, необратимо глуха той особой душевной глухотой, которая растёт из недоброты и чёрствости. Дочь она явно не любила, часто шпыняла, а то стучала по лбу твёрдыми костяшками пальцев, не стесняясь Никиного присутствия. Была ли Маня нежеланным ребёнком или Марта тяготилась её уродством, стыдилась её? – Бог весть.

Алика нянька обожала и два лета провела с ними на даче. Для неё раздобыли старый бугристый топчан, задвинули в угол комнаты со

скошенным потолком, и поначалу старуха, вставая, стучалась головой. Она возилась с Аликом, играла, укладывала спать, протяжно мыча подобие колыбельной. Лидия впадала от этого в оторопь и громко кричала: «Не надо, не надо, отдыхайте; я сама!» Обращаясь к Мане все, кроме Ники с Аликом, говорили очень громко. Отец, по обыкновению, пропадал в командировке – уж этот Ужгород! – иногда приезжал, искоса посматривал на няньку, стараясь не встречаться глазами. Братишка жался к старухе, мгновенно затихал у неё на руках. Лидия ворчала: «Вконец избаловала ребёнка, скорее бы в садик», но обойтись без Мани не могла. Старуха варила простую овсянку как никто, приучила Алика съедать всю кашу, и сама, кажется, только ею и питалась. Каша и впрямь получалась изумительно вкусной. Марта потребовала было, чтобы дочь приезжала по воскресеньям домой: костёл – это святое. Лидия объяснила, что провожать Маню на электричку, как и встречать потом на станции,

некому. Старуха, прикинув что-то в уме, твёрдо потребовала прибавки. «Милое дело: живёт на всём готовом, и мы же ещё плати́!» – возмущалась Лидия, легко забыв, что нянька работала без выходных. «Сверхурочные», – хмыкнул отец.

Утром, возвращаясь из магазина, Ника часто встречала няньку с Аликом. Он что-то говорил, а та мычала в ответ – то удивлённо, то радостно, то недоверчиво. Дачные соседи считали Маню «слегка того», тронутой, и недоумевали, как Лидия могла доверить ей малыша; ребята кривлялись и передразнивали ныряющую Манину походку. Однажды какой-то бес, иначе не объяснить, подтолкнул Нику присоединиться к ним – ей ли не знать это ковыляние? Всё проделывалось за старухиной спиной, и надо же было такому случиться, что в этот момент она обернулась! Их было человек пять, однако Маня взглянула только на неё – секунду-две, не больше – после чего, подхватив Алика на руки, тяжело захромала в дом.

...И сейчас, спустя шестьдесят лет, этот стыд никуда не делся.

Тогда же, взлетев по лестнице наверх, она застыла в дверях. Маня бережно переодела малыша, застегнула ляпочки на штанишках (не тех ли, из сегодняшнего сна?) и села.

Равнодушно скользнула взглядом по столу, дивану, Никиной раскладушке и наконец по ней самой; глаза не поменяли выражения. Алик топтался нетерпеливо, тащил сестру за платье: «Почитай!» Он обожал сказки – жалостливые, тревожные, страшные. Жизнерадостный «Храбрый портняжка» оставлял его равнодушным; он плакал над однообразными тяжкими судьбами падчериц, не спрашивая о смысле корявого, скребущего ногтем по черепице, слова; тем летом полюбил

мрачноватого Гауфа и просил её снова и снова читать про Карлика Носа.

Долго тянулся тот злосчастный день. Из окна видны были согнутые над грядками спины двух тёток. Обе повернули головы на громкий крик: «Квас привезли!» – и снова нагнулись. Ребята побежали с бренчащими бидонами, кто-то позвал: «Ника-а-а!..». Хлопнула калитка. Догнать бы, но даже квасу не хотелось.

У стола, с трудом примостившись на табуретке, Маня скребла ножиком молодую картошку. «Давайте, я помогу?» – жалобно попросила Ника. Нянька не глядя развела руками: нечем, дескать; потом кивнула на ведро с грязной водой. Радостно подхватив ведро, Ника помчалась вниз, ловко выплеснула воду под жасминовые кусты. Старая Илзе, родственница хозяев, круглый год живущая на даче, сидела на крыльце веранды. Смотрела она не на Нику, а на ведро, и вдруг заговорила на ломаном русском языке:

– Как тебе нету стыдно, девочка? Или тебе никогда старость не будет, что?..

Провалиться бы сквозь землю прямо там, у жасминового куста. Не знала старуха, что ей *есть стыдно*, ещё как стыдно. Медленно-медленно шла наверх – восемь ступенек, а потом ещё девять, но лестница кончилась, и только собственному стыду не было конца.

В комнате аппетитно пахло растопленным маслом и укропом. Алик старательно дул на картофелину и запивал простоквашей. Снизу неслось лязганье металла, хлюпанье и плеск – кто-то качал воду.

– Почита-а-ай...

Алик совал ей потрёпанную книжку. И снова старуха на рынке выбирала зелень, и снова красавчик Якоб тащил тяжёлую корзину под её зловещее бормотанье: «Человеческие головы нелёгкая ноша», только старуха была без всякой палки и говорила другое: *как-тебе-нету-стыдно*, слова повторялись в ушах бесконечным эхом. Алик сидел в обнимку с Зайцем, а второй

рукой крепко держался за няньку, словно боялся, что она уйдёт, оставив его с Якобом есть заколдованный суп. И напрасно боялся: никуда Маня не собиралась уходить – она сосредоточенно, как Алик, слушала сказку, и непонятно было, как блёклые старухины глаза могут вмещать столько боли.

Когда Алик уснул, нянька взяла книгу, но не закрыла – и так, с книгой в руках, опустилась на свой топчан. Она ткнула пальцем в страницу, наморщив лоб, и несколько раз недоумённо взглянула на Нику. Колдунья на картинке вовсе не выглядела немощной – обыкновенная сухощава старуха не то в платке, не то в капюшоне... Заглубевший кривой Манин палец остановился, тревожным мычанием она пыталась что-то втолковать и тыкала в картинку. Нику вдруг осенило. Сходство с Мартой было разительным: тонкая скобка рта, костлявое лицо, глаза глубоко утоплены. Чуть не спросила: «Ваша мама?», но просто кивнула. Нянька сидела, не сводя глаз с картинки. Вина,

жалость и горький стыд пронзили насквозь:
Маня не сердилась, и от этого было ещё хуже.

Только боль, которую ты причинил
другому, может чему-то научить; собственная
рано или поздно забывается.

...Когда Вероника вышла замуж и
переехала, в старом районе бывала редко.
Встретив Марту, несказанно удивилась, словно
прошло не -надцать с лишним лет, а недели две
– так мало старуха изменилась, разве что шла,
слегка опираясь на толстую палку; волосы были
скрыты под платком. Она коротко, без всякого
выражения, ответила на Никино «здравствуйте»,
чуть разомкнув тонкогубый рот. Узкий тротуар
вынудил её остановиться.

– Как вы поживаете? – спросила Ника, про
себя удивившись, что Марта ещё жива. – И как
Маня?

Старуха равнодушно обронила:

– *Nie żyje.*

Смерть не изменила отношения Марты к дочери. Старуха властно отодвинула Нику невесомой рукой и двинулась дальше, не оглянувшись.

Откуда взялась Аликова нянька с её жёсткой, недоброй матерью? Память живёт по своим законам, ей достаточно маленькой детали, случайной ассоциации, чтобы отправить тебя незнамо куда заброшенными дорожками, поросшими бурьяном беспамятства.

6

К первому сентября папа не приехал. Значит, он обязательно появится ко дню рождения, в этом Алик был уверен и ждал десятого марта с особым нетерпением. Ждал он этого дня каждый год, и даже не из-за подарков, а в надежде разгадать удивительную тайну: как одно движение секундной стрелки вдруг делает его на год старше? Крохотный скачок – и шестилетний Алик превращается в Алика семилетнего, семилетний – в восьмилетнего. Мама сказала, что он родился в одиннадцать вечера. Тараща сонные глаза, он пялился на циферблат, ожидая момента, когда секундная стрелка сольётся с минутной – и обгонит её, скакнув в новый год его жизни. Все поздравляли его, вручали подарки, но сам он знал, что это не по-настоящему, не считается, а вроде киножурнала, который надо перетерпеть перед началом фильма, что он и делал, ёрзая на жёстком сиденье в ожидании «Неуловимых

мстителей», а по экрану медленно полз комбайн и сыпались колосья, колосья, как волосы под машинкой парикмахера, или показывали переполненный стадион, похожий на гигантскую корзинку с ягодами, где на самом дне бегали мелкие футболисты. Настоящий день рождения начинался за час до того, как кончалось десятое марта. Ещё стояли в вазе тюльпаны, подаренные маме к Восьмому марта, а он не сводил глаз с будильника. Бывало, в детстве засыпал, не дождавшись прыжка тонкой серебристой стрелочки.

В тот год, когда он пошёл в школу, всё шло иначе. Приближался день рождения, но папа не приехал. Маме не дарили на Восьмое марта тюльпанов, только Ника принесла какие-то метёлки с жёлтыми прыщиками с капризным названием *мимоза*. С мимозы густо сыпалась на стол жёлтая пудра. Но самое ужасное случилось через два дня: секундная стрелка неподвижно замерла, не дойдя до десяти. Ни завод до упора,

ни встряхивание не помогли – стрелка не двигалась.

«Ну ты балда, – повторяла Ника, – какая разница? Тебе восемь, а через год исполнится девять, и стрелка тут ни при чём». Мама не удивилась: «Сломалась, пора уж. Главное, что ходят. И нечего зря крутить, оставь часы в покое!».

Не то чтобы секундная стрелочка была для него важнее папы, нет: он знал, что папа придет – ну хотя бы на Новый год; однако без стрелки день рождения был испорчен. Они с мамой ходили в часовую мастерскую, но дядька за прилавком покачал головой: «Импорт не чиним». Дядька был старый и наверняка не следил, в какой момент наступал его очередной день рождения. Или, наоборот, мог наблюдать его на любых часах, которые толпились на полке.

Волшебство наступающего праздника пропало. Вместо него появился страх остаться навсегда там, где замерла секундная стрелка.

– Дурак, – усмехнулся он себе
восьмилетнему, – напрасно боялся. Как видишь,
и без стрелочки дотянул до шестидесяти двух.

«Ты меня не узнаёшь», – говорила по
телефону сестра. Чушь; он всегда узнаёт
человека. Правда, Лилин голос в нём не
откликнулся, ведь её не помнил. Объясняла про
какого-то дядю Митю, но никакого дяди Мити,
хоть убей, Алик не знал тоже. Память никуда, но
вдруг услышал «твоя сестра», и сердце вдруг
стало лупить в горле. Ника! Ника приезжала из
Америки, встречалась с этой непонятной Лилей,
а он ничего не знал! И приезжала не раз, а
сейчас она приедет увидеться с ним. Алику
хотелось остаться одному, пусть все уйдут,
оставят его думать о сестре, вспоминать её; хотя
– почему «вспоминать», ведь вспоминают о
забытых, а он всегда помнил о ней.

Снова и снова перебирал он интонации,
фразы, голоса того дня, хотя дворничиха с

Лилей пробыли минут пятнадцать от силы. Вспоминал, воссоздавая короткий разговор – вдруг он что-то пропустил? Зеп примолк, откупорил пиво, протянул ему банку. В детстве они с сестрой любили сгущённый кофе, он продавался в жестяных банках. Ника заливала тягучую бежевую массу кипятком, и они пировали, макая сухарики в кружку. Главное – не пропустить момент, когда сухарь набухал и, не выдержав собственной тяжести, падал на дно. «Самое вкусное, балда», – Ника ложкой вылавливала вялый растолстевший сухарь и засовывала в рот.

– Так у тебя сестра?.. – Зеп громко рыгнул. Хоть бы он ушёл. Если бы дворничиха поменьше тархтела, он бы расспросил Лилю. Наконец он остался один, и теперь никто не мешал прокрутить весь разговор с самого начала.

«Как вы меня нашли?»

«Да просто помню, что вы с мамой тут жили в этом доме».

«Дом-то большой...»

«Я прогулялась вокруг и вижу – книжки на подоконнике. Тётя Лида много читала».

Повторила, как зашла к дворничихе, но тут встряла эта баба: «Мать, говорю, давно умерши, но сын живой, уж несколько лет как умерши, да вы подымитесь к ему, какой же год это был, дай бог памяти... Только, говорю, Олег он, а не Алик; ну да, мать его лет пять как умерши».

Дура!.. Семь, а не пять лет. Семь лет прошло. Тогда-то он и понял: сестры нет в живых, иначе бы приехала – хоть из Америки, хоть из Мадагаскара.

Даже пива не хотелось. Электрический чайник стоял рядом с плитой, которой Алик не пользовался. Нажал кнопку, и чайник завёл негромкий гул, нагреваясь. Привычную цепочку простых движений: выдернуть из коробки пакетик, опустить в кружку, залить кипятком – проделал машинально, привычно. Лучше бы кофе, дочка недавно принесла банку растворимого, но в буфете не нашёл. Мать сказала бы: растёпа. Сама растворимый не

признавала, как не признавала молока или сливок, заваривая чёрный, густой и крепкий. Отмахивалась от предупреждений, что вредно для сердца, пределом безопасности считая фильтр на сигарете. Она с юности курила папиросы, когда сигарет с фильтром в помине не было, в детстве он копил папиросные коробочки – из них хорошо было строить. Он составлял дом из кубиков, дом должен быть прочный, зато развёрнутые лёгкие коробочки выглядели замечательной крышей, на каждой вверх ногами было красиво написало: «Любительские». Папа насмешливо спрашивал: «И кто в твоём *любительском* доме живёт?» В домике жили Мальвина и пупсик, а Заяц не помещался. «Пупсики, зайцы... – папа махнул рукой, – слабак. Я в твоём возрасте по заборах лазил, из рогатки стрелял, а ты с куклами возишься».

Мальвину сестре подарила тётя Лена: «Немецкая!». Кукла была ростом с Никину ладонь, в пышном платье и крохотных

туфельках. Она чуть улыбалась, а волосы были светлые, блестящие. Ника разрешила построить для куклы дом, а волосы сама выкрасила чернилами; получилось лучше, чем в книжке. За неимением собаки в Артемоны определили Зайца, а что не влезал в домик, так это даже хорошо – пусть охраняет снаружи. Чтобы Мальвине не было скучно в домике одной, сестра отдала своего старого голенького пупсика с прижатыми к груди кулачками. Пупсик мёрзнул, а потому лежал в спичечном коробке на комке ваты.

Вряд ли Ника после стольких лет помнит Мальвину. Как-то – ему было лет пятнадцать – они встретились, и Ника неожиданно спросила:

– Зайца помнишь?

– Какого зайца? – насторожился он. – А, твою старую игрушку?

...Помнил, отлично помнил, но не хотел показаться слабаком. Отец был бы доволен, если б узнал. А получилось, что сестре соврал и

Зайца предал. Слабак и есть. Она больше не спрашивала.

Домик с картонной крышей укромно стоял под кроватью, но Зайца Алик укладывал к себе под одеяло: ночью никакой Карабас-Барабас не придёт, а Зайцу на полу холодно.

...Стояла зима, но мама взяла отпуск. Алик и Ника учились в разных школах, утром уходили. Вернувшись, он удивлялся: мама по-прежнему на диване под пледом. Она перестала жарить картошку, которую Алик так любил. Вместо этого делала ему бутерброд и снова ложилась. Лениво тянулась зима. Приходила тётя Поля, готовила; вкусно пахло супом. Она заставила маму пойти к врачу, который не только прописал таблетки, но даже пришёл её проводить. А потом ещё раз. Его таблетки помогли: мама днём больше не ложилась и даже сделала новую причёску. Отпуск у неё кончился, а третья четверть в школе и не думала

кончатся. Доктор теперь часто проводывал маму и разрешил Алику называть его дядей Витей. Он не был похож ни на одного знакомого доктора. Большие очки чудом не сползали на маленький, как фи́га, нос, – наверное, толстые щёки поддерживали; когда дядя Витя говорил, во рту с одной стороны посверкивал золотой зуб. Алику разрешили по вечерам уходить с Вовкой кататься с горки, «только сначала сделай уроки». Как-то, вернувшись, он столкнулся с дядей Витей – тот выходил из ванной, вытирая толстое лицо папиным полотенцем. Алика пронзило: противный. Мама ничего не заметила.

Противный, противный.

Он рассказал Нике про полотенце. «Алька, Алька маленький, – ответила сестра, – подумаешь, полотенце. Спи, не думай об этом. Он уже ушёл».

Дядя Витя уходил каждый вечер.

Алик всё рассказал Зайцу. Вот папа вернётся и прогонит его, вместе с очками и

золотым зубом. И вообще при дяде Вите не хотелось играть с домиком, и тот оставался под кроватью. Потом и домик как-то забылся, потому что Ника ушла жить к тётке.

...Чай давно перестоялся, остыл, и пить его расхотелось. Он сидел, обхватив пальцами чуть тёплую кружку, и старался понять, почему игрушечные домики прочнее настоящих. Он решал эту задачу не первый десяток лет.

Ровный гул самолёта убаюкивал. Кое-где в полумраке салона светились маленькие лампочки. Стюардессы бесшумно проходили, гасили их над спящими. Люди спали по-разному: одни свернулись криветками в тесном кресле, другие безвольно раскинули вялые, как у марионеток, конечности. Сосед спал, как спят дети: самозабвенно, тихо; в кармане рубашки – сложенные очки, рука свесилась с подлокотника.

«Мы с тобой наговоримся, ты ведь никуда не спешишь? – его голос в трубке захлёбывался от возбуждения. – Нам есть что вспомнить». Она кивала, словно брат мог её видеть. И только потом, перебирая фотографии, поняла: воспоминания-то разные. Девять лет отделяют их друг от друга, не говоря о последних десятках лет; общее детство не означает общей памяти о нём. Есть совпадения, конечно, но в то время как Алик пошёл в первый класс, она оканчивала

школу. Университет и аспирантура пришлись на время его подросткового возраста. Что она могла знать о том Алике, поглощённая собой, своей любовью, диссертацией?

...удачно не доведённой до защиты, иначе так и осели бы все четыре экземпляра в университетском архиве, ни на йоту не обогатив науку.

Задолго до появления брата у Ники было своё, отдельное детство. Они жили вдвоём с мамой в небольшой комнате общей квартиры. У высокого окна в комната поворачивала в закуток, где помещались Никина кровать и маленький белый стульчик. Уходя на работу, мама отводила её к бабушке, где они вместе ждали, когда придёт с работы тётя Поля. Бабушка часто болела, мама собиралась отдать Нику в детский сад, но там была очередь. Ника представляла стоящих в очереди мам у закрытой калитки весёлого зелёного садика.

Когда бабушка лежала в больнице, тётя Поля заходила к ним, приносила Нике новые книжки, и пока та рассматривала картинки, они с мамой разговаривали. Ключки непонятных взрослых фраз остались заусенцами в детской памяти.

«Я умываю руки».

«...ложное положение...»

«...у тебя своей жизни нет».

«Жди, когда рак на горе свистнет».

Ника на подоконнике вглядывалась в горку во дворе, с которой скатывались дети на санках, однако в зимних сумерках трудно было рассмотреть свистящего рака. Мама так и не вышла из комнаты, чтобы «умыть руки».

Дети запоминают непонятное.

В квартире жила соседка-пенсионерка, которая согласилась приглядывать за ней, пока мама на работе. Пригляд оказался необременительным для обеих – ускользнув от небдительной старушки, Ника возвращалась и, сидя на стульчике, возилась с игрушками или перекладывала книжки из одной стопки в

другую. Мать уверяла, что читать она начала в три с половиной года. Старушка разогревала для неё суп или варила яйцо, по вечерам же начинался настоящий пир – мама жарила картошку. После невнятного самолётного обеда в прозрачном гробике можно только сглотнуть слюну – жареную картошку Ника любила до сих пор, и до чего же приятно дать пинка гастриту! Картошку ели прямо со сковородки, поддевая нежные поджаристые жёлтые ломтики.

Другая соседка была тощая визгливая тётка в пёстром платье, которую за глаза называли Машкой. У Машки был толстый тихий муж и дочка лет пяти. Мама как-то предложила: «Наши девочки могли бы играть вместе», на что Машка с негодованием швырнула спички и хлопнула дверью кухни. Соседка рано приходила с работы, громко стучала посудой, но сквозь шум пробивались её взвизги и застревали в Никиной голове – слова нелепые, непонятные, злые. «Ишь, задрыга культурная... – кастрюльная крышка с дребезгом

прихлопывала кусок фразы, – без прописки шьётся...». Машкин муж приводил из садика дочку. Толстая девочка с плотно сжатыми губами молча и пристально смотрела на Нику. Машка называла её Людкой и «а ну, марш!» Когда Ника шла по коридору, Машкина дверь приоткрывалась, и Людка выглядывала в щель. «А у тебя папы нет», – однажды с торжеством сказала она и скрылась.

«Глупая девочка, – нахмурилась мама, – видимо, её в капусте нашли. Так не бывает, чтобы папы не было. У нас с Полей тоже был папа, он на войне погиб. А твой папа скоро приедет, и мы будем жить вместе».

Портрет убитого на войне дедушки висел в квартире у бабушки. На фотографии дедушка был живой, не убитый. Иногда бабушка доставала старую картонную коробку и читала дедушкины письма – негромко, вполголоса; Ника слушала.

Письма сохранились, и позднее Полина отдала их почему-то не сестре, а Веронике:

«Береги». Перед поездкой Ника тщательно отсканировала ветхие желтоватые листки для Алика: пусть у него тоже хранятся, дочке передаст.

...Мамины слова успокоили: Людка наврала. Папа жил в другом месте, но мама носила в сумке его фотографию, говорила с ним по телефону, а через какое-то время – какое? – возник и он сам, очень похожий на свою фотокарточку. Первое впечатление – мокрый плащ и шляпа, папа снял их и стряхнул капли дождя на пол. Из-под снятой шляпы показались крупные уши. Лицо в тот вечер не запомнилось, а потом внешность стала привычной: высокий, с усами, волосы коричневые. Папа получше, чем у Людки. Потому что Людкин обычно сразу шёл на кухню и начинал молча хлебать суп, а папа наклонился и поцеловал маму. Ника думала, что он и её поцелует, и на всякий случай вытерла рот, однако целоваться не пришлось. Он не стал

удивляться, как другие: «Какая ты большая выросла!», а просто сел к столу. «Жареная картошка... Колбаски там или чего-то ещё нет? А впрочем, это ерунда по сравнению с мировой революцией».

Папа стал появляться часто. Звали его Михайлец. Потом обнаружилось, что Михайлец – это фамилия, а звали папу Сергеем. Он иногда приносил Нике шоколадку или пачку печенья; как-то раз вытащил из кармана блестящую машинку, которой в парикмахерской стригут волосы. На подоконнике поселились одеколон, толстая короткая кисточка со смешным названием *помазок* и бритва («не вздумай трогать, она острая!»). Бритва складывалась, и пока блестящее лезвие сидело внутри, выглядела безобидно. Перед бритьём папа свистел и «правил бритву» – водил ею взад-вперёд по особому ремню, чтобы сделать острее. Мой меч – твою голову с плеч, говорилось в сказке про богатыря; Ника опасно отодвигалась. Папа вёл бритвой по

мыльному сугробу на щеке, расчищая ровную дорогу. Ника ждала, когда бритва доберётся до усов, не дождалась и решила гордиться папиными усами – у Людкиного никаких усов не было.

В их комнате появились тяжёлая чёрная гиря и две гантелины, которыми он махал по утрам; получалось очень ловко. Папа проводил с ними несколько дней, потом куда-то пропал вместе с помазком и бритвой – тусклая гиря сидела в углу. Мама повторяла: «Ничего, скоро переедем из этой дыры». Тётя Поля взволнованно спрашивала: «Ну почему наездами, Лидусь, почему сразу не взять и?..», мама кивала на Нику и снова твердила про «дыру», которая ей «обрыдла до чёртиков». Между тем подошла очередь в садик, и теперь они с мамой утром уходили вместе, поэтому Ника не запомнила, когда же именно папа прочно внедрился в их жизнь.

Может быть, это точка отсчёта для неё с Аликом, они ведь ходили в один детский сад, с одними и теми же воспитательницами? Разве что точка – линии-то не совпадают. Алик очень тосковал по своей няньке, но довольно быстро привык и к новой рутине; для Ники садик обернулся нескончаемой тоской по привычной жизни в одиночестве, по маме, книжкам и по всему тому, что сама мама называла «дырой». Каждое утро теперь начиналось обволакивающим душным запахом каши, от которого она пряталась в мамино пальто; её стыдили, оттаскивали, дети дразнили. То, что началось на пороге, продолжалось в столовой: каша лежала на тарелке тусклым остывающим блином, и сколько Ника ни размазывала сероватую массу, её не становилось меньше. «Будешь сидеть, пока не съешь всю порцию!» Столовая пуста, в тарелке громоздились холмы и канавы. Спасала Нику нянечка в халате с пятнами на переднике: она с досадой хватала

её тарелку и вываливала содержимое в ведро. «С осени закормлена», – сердилась она.

Вечерами Ника плакала, чтобы мама забрала её из садика. Как-то мама сказала:

– Забрать исключается, но я поговорю с заведующей, чтобы работать в садике воспитательницей.

– Когда? – просияла Ника.

– Да прямо сегодня. Ты пойдёшь в раздевалку, а я к заведующей.

Дыша сквозь варежку – до чего же противно пахло! – Ника помчалась в гардероб и торопливо разделась. И завтрак пересидела как на иголках – вертела головой, когда же появится мама в белом халате воспитательницы. Только бы заведующая не сказала папино слово: «исключается», только бы маму взяли...

Маму в белом халате Ника не дождалась – она пришла вечером, как обычно.

– Мам, – Ника нетерпеливо дёргала её руку, – что она сказала?

- Кто?
- Ирина Матвеевна.
- Какая Ирина Матвеевна?..

Заведующая Ирина Матвеевна, толстая и приземистая, была похожа на жабу: обвисший подбородок, очки с толстыми стёклами, тяжёлая походка вперевалку. Почему-то было принято её бояться, хотя Жаба всем улыбалась. Ника стала улыбаться в ответ – ведь мама будет здесь работать! И каждое утро мама уходила в коридорчик, ведущий к Жабиному кабинету, договариваться.

Каждое утро.

В конце дня она объясняла: ходила, но не застала Ирину Матвеевну. В другой раз застала, но та спешила на совещание. Приходил новый день, дверь заведующей оказывалась заперта, мама попробует завтра... Перед завтраком Ника вышагивала взад и вперёд по коротенькому коридорчику под Жабиной дверью. Внутри горел свет – значит, они с мамой разговаривают!..

Каждое утро Ника провожала маму к коридорчику, та решительно направлялась к кабинету. Ника ждала, а потом, не выдержав, тоже шла на привычное место. Свет внутри горел – верхняя часть двери была сделана из толстого стекла с прыщиками; Ника садилась на корточки и ждала.

Однажды за дверью послышались шаги, дверь открылась, и вышла Жаба.

– Здравствуй, – удивилась заведующая. – Ты что здесь сидишь?

Разглядеть маму за толстой Жабиной фигурой не удалось. Ирина Матвеевна не удивилась Никиному рассказу, спросила: «Ты завтракала?» Взяла её за руку и отвела в столовую. Рука была тёплая, уютная.

...Сколько было таких утр в её детсадовской жизни? Сколько раз она убегала к Жабиному кабинету, сколько времени торчала там? И когда пришло понимание, что мать

обманывает её? Не в детстве – в детстве верила ей без колебаний, ни разу не заподозрив, что та выскальзывает чёрным ходом и бежит на троллейбус. Верила каждой новой версии: то заведующая обещала ближе к лету, то не было мест, то «мы начали говорить, и зазвонил телефон». Она принимала каждый мамин ответ – и продолжала ходить в знакомый коридорчик. Её уводили, стыдили, усаживали за тарелку. «Я что, буду тебя с ложечки кормить?!» – сердилась Нонна Петровна. Вторая делала вид, что никакой каши не существует, и не ругала Нику. Пускай злится; вот устроится мама сюда работать, она скажет им, что такую кашу Ника не может – не м-о-ж-е-т – есть ни за что. Когда дают творог, омлет или бутерброд, она же не капризничает, а от каши её тошнит. И никому нельзя было ничего объяснить.

Однажды она попыталась. Отодвинула тарелку и просто смотрела в окно.

– Ника Подгурская, почему ты не ешь?

Ника подошла к столу воспитательницы и прошептала: «Я могу вам сказать по секрету». Наклонилась к висящей серёжке и прошептала: «От этой каши у меня сердце разрывается».

Воспитательница, схватив её за руку, потащила в проход между столиками.

– Посмотрите на эту девочку! Ей, видите ли, каша не по вкусу, у неё сердце разрывается! Как вам это нравится?

Несмотря на её сердитый голос, дети начали смеяться. Как они могут, ужасалась Ника. Как они могут смеяться, ведь это очень страшно?

– Расскажи всем, как ты до этого додумалась! – приказала воспитательница. – Пусть тебе будет стыдно!

Ника молчала. Стыдно не было, и рассказывать она ничего не будет.

...Она никогда бы не додумалась до такого. Но незадолго до того злосчастного утра к маме заглянула подруга тётя Муза; тогда-то и

прозвучали таинственные слова «разрыв сердца».

– Вот просто хлопнулся на ковёр и умер, – несколько раз повторила гостья. – Что он, интересно, чувствовал?

Обе курили папиросы.

– С ума сойти, – качала головой мама. – Просто ужас и кошмар.

Разрыв сердца, ужас и кошмар случились с главным инженером. Лёжа в кровати, Ника пыталась представить, как это было. Бабушка рассказывала ей про сердце и велела сжать кулачок: «Вот такое у тебя сердце, золотко. А моё – такое», – и тоже сжала пальцы в кулак. У главного инженера кулак точно больше – значит, и сердце больше; теперь оно разорвалось на кусочки и разлетелось у него в груди. Кровь, наверное, брызгает во все стороны... он лежит на ковре совсем мёртвый. Хлопнулся. Воздушный шарик очень громко лопаётся. Сердце, наверно, ещё громче.

Перед тарелкой с ненавистой кашей Ника поняла, что чувствовал неизвестный главный инженер: непроходящую тоску. Слов таких не знала, но была уверена, что от её запаха и вида сердце может разорваться.

...пшённую кашу Ника никогда не готовила.

Её поставили в угол – так выглядело наказание: «Стой и думай!» Дома её в угол не ставили, новый опыт удивил. А на взморье, куда детский сад летом выезжал, она узнала, что бывают и другие наказания.

Не узнала – и не узнает уже, что заставляло мать каждое утро придумывать новую ложь или повторять старую. Зачем было манить ребёнка ложной надеждой?

Много о чём хотелось спросить – и не спросила. А теперь и спрашивать некого.

...Несколько раз во время завтрака Жаба заходила в столовую. После «разрыва сердца» обе воспитательницы посматривали на Нику насторожённо. Кашу есть не заставляли – делали вид, что ничего особенного не происходит, однако Нике было немножко стыдно перед нянечкой. Та смотрела мимо, больше её не стыдила, сгребала холодные комья в ведро и везла дребезжащую тележку дальше.

...Самолёт не торопился. Фотография в прозрачном пластике соскользнула на пол и приземлилась на пустые туфли соседа – он спал, вытянув под переднее кресло освобождённые ноги в носках.

Только что маленькая девочка стояла перед закрытой дверью заведующей детсада, в то время как пожилая женщина рассматривала чёрно-белую фотографию пляжа, где одна воспитательница в старомодных трусах и

бюстгальтере вела купаться вереницу голых девочек с полотенцами в руках, а вторая – мальчиков. Отсканировала специально для брата – узнаёт воспитательниц или нет? У ребятишек светлые животы: загорали в трусах, купались нагишом. В начале пятидесятых о купальниках были наслышаны мало, и люди в нижнем белье никого на пляже не шокировали.

Детский сад проводил на взморье целое лето. По воскресеньям приезжали родители, можно было поведать все печали и горести. Кроме одной.

...Прилетев несколько лет назад в Город, она отправилась на взморье. Легко нашла бывшую дачу детского сада. Дом выглядел необитаемым, как и большинство дач в апреле. Постояв у калитки, вошла. Лужайка перед верандой (в детстве она казалась огромной), дорожка влево, за кусты, где некогда висели цинковые умывальники с носиками; вот и

боковой вход. Вероника хорошо помнила расположение: в центре столовая, несколько дверей ведут в спальни. Самая маленькая и уютная предназначалась для девочек, которые хорошо себя вели (Ника попала в их число), большая веранда – для мальчиков, вторая, боковая, – для девочек менее достойного поведения. Обитателям маленькой спальни разрешали тихо разговаривать, и девочки по очереди рассказывали леденящие кровь истории про чёрную простыню, красные пальцы, привидения. Ника пересказывала прочитанное, беспардонно смешивая сказки грузинские и китайские, братьев Гримм и Андерсена. Самой ей вовсе не было жаль безответственную молодую королеву, но очень нравилось имя гнома: Румпельштильцхен – эту сказку рассказывала несколько раз. «И всё ты врёшь, Подгурская, – пугливо прошептал голос в темноте, – не бывает, чтобы так звали». Про разноцветные руки-ноги Ника не знала, но рассказ о главном инженере с разорвавшимся

сердцем пользовался большим успехом – про кашу давно забыли.

Перед ночным сном обязательно мыли ноги – стандартный гигиенический ритуал. Когда все уже лежали в кроватях, по спальням водили провинившихся детей – голых, и воспитательницы повторяли: «Пусть тебе будет стыдно!» Одни из наказанных плакали навзрыд; другие делали независимый вид – кривлялись, натужно хохотали. Должно быть, это было задумано как наказание стыдом, и дети прятались за спины воспитательниц, зажимались и прикрывали ладошками низ живота. Ника зажмуривалась от страха и стыда, хотя её так никогда не наказывали. Днём, когда все вместе голышом плескались в море, нагота никого не смущала; теперь голые ребятишки извивались от стыда.

В чьей нездоровой голове родилось это извращение? Почему-то автором представлялась Нонна Петровна, воспитательница со строгим скрипучим голосом

и серёжками в ушах. Вторая, Анна Васильевна, была молода и смешлива, с тёмными блестящими глазами. Счастливый человек – а её тёмные лукавые глаза блестели радостью жизни, – счастливый человек на такое не способен. А ведь она тоже держала чью-то дрожащую руку... Заподозрить Жабу не получалось – вот она, на другой фотографии, сидит на ступеньке маленькой веранды, что-то говоря пятерым детишкам, угрюмым и насупленным, потому что в воскресенье к ним никто не приехал. В центре Ника Подгурская, в светлом платице с воланчиками, в волосах пышный бант. На обороте материнским почерком написано: «Лето, 1954». Брата ещё нет на свете.

Тем утром произошло необычное событие. Жаба сказала: «Всех приглашаю в гости!» Ошеломлённые ребятишки поднялись на второй этаж, где никогда не бывали, в Жабину комнату. На столе стояло большое блюдо с клубникой и вазочка с пышно взбитыми сливками, в

плетёной корзинке лежали булочки с маком и баранки, а рядом – самовар, как в книжке про Мойдодыра. Кружки были самые обыкновенные, нянечка из кухни принесла. Как-то незаметно начали жевать, и грусть отпустила. Стали болтать, и хихикать и удивлённо переглядываться, потому что в углу стояла самая обыкновенная кровать, как у них в спальнях, только взрослая; значит, Ирина Матвеевна тоже спит, хоть и заведующая? «А вы всегда так вкусно кушаете?» – спросил Валерка и покраснел от собственной смелости, но Жаба засмеялась: «Нет, только по воскресеньям». Валерка, осмелев, рассказал про больного дедушку, которому ничего сладкого нельзя, и когда никто не смотрит, он потихоньку ест из банки варенье. Валерку не раз наказывали по вечерам. Не верилось, что Жаба придумала унижительную пытку. И вспомнилось более позднее: мать привела брата из садика и сообщила отцу: «Старая дева опять хвалила нашего...» Алик повис у папы на шее, а Нику

вдруг осенило: старая дева – Нонна Петровна,
кто ж ещё.

Жаба умерла от разрыва сердца, как тогда
называли инфаркт.

8

Дочка спросила: волнуешься?.. Вот ещё; и не думал волноваться, а что сигареты быстро кончались, так и раньше бывало. Даже если немного волновался, понятно: чёрт знает сколько лет не виделись. И в недобрую минуту брала досада – сама говорит: «общее детство», «мы с тобой», а сколько раз он оказывался один в самые страшные дни, дни смертей!.. Он усиленно стирал эти дни из памяти, как в тетради твёрдой чернильной резинкой стираешь позорную двойку. Вот она бледнеет, почти исчезла – и впрямь исчезает, а сквозь рваное окошко видна следующая страница, и ты сидишь дурак дураком, уставившись на грязные катышки.

Забывается только ерунда; самое жуткое никуда не девается, можно только на время отвлечься.

Его не ругали за двойки – двойки бывали редко, больше тройки да неожиданная четвёрка

за рассказанное стихотворение. Вовку же не только ругали – папаша лупил его ремнём по субботам, если находил в дневнике двойку; за неделю без двоек тоже бил, приговаривая: «Двойки не двойки, а своё получай!» Вовка батю уважал и смирно принимал субботнюю порцию ремня. Сила битья в папашиной голове чётко соотносилась с количеством двоек: если оно зашкаливало, Вовка двойки стирал, иногда удачно. Если нет, то «терял» тетрадку.

Учительница не жаловалась на Алика, он считался «пассивным», а с такого что возьмёшь? Спасибо, что не дерётся и карбид в унитаза не бросает.

...Поздно: даже верхние соседи давно угомонились и вырубили свой что-у-них-там. Обычно по вечерам они крутили записи старых советских песен. Алик зверел от бодрого «...сердцем не стареть», а кокетливый женский голос дразнил: «Ничего не вижу, ничего не

слышу». Зато я слышу, чёрт возьми! Не выдержав, стучал шваброй в потолок.

Сестра, конечно, живёт иначе, московских окон негасимый свет ей спать не мешает.

Удивительно: вот он, родной брат, ничего не знает об её жизни, другая страна – как другая галактика. Но много ли Ника знает о нём? «Общее детство», куцый островок, а дальше – вплавь, по отдельности, каждый в свою жизнь.

Когда сестра ушла жить к тётке, они виделись нечасто. В восьмом классе время тащилось ленивой клячей, а сестра рассказывала о студенческом научном обществе, что возвращало его к учёбе. Вдруг обронила, что собирается замуж: «Он тебе понравится, вот увидишь», и прибавила: «Рвётся во что бы то ни стало познакомиться с *ней*; пытаюсь отговорить». Оба говорили о матери только так: *она*.

– Так она же всё равно придёт на свадьбу.

– Не придёт. И Мишке незачем с ней знакомиться.

Они гуляли вдоль озера, из воды высоко торчала острая трава, похожая на сабли. Ника рассказывала, как они с Мишкой ищут квартиру, чтобы не жить с родителями. Алик пытался представить сестру невестой. Вот его пригласят – что сказать матери? Ника переключилась на его школу, как будто это самое главное. «Чтоб учиться, надо знать, чего хочешь, а я только ищу». Ссориться с нею не хотел, а всё ж огрызнулся. Как она не понимает, что школа у него в печёнках сидит: аттестат, аттестат... Получалось одно и то же: он радовался встрече, потом злился, а дома жалел – не то сказал. Иногда оба не сговариваясь сворачивали на безопасную тропинку, ведущую назад, в детство:

- А помнишь, как ты с Вовкой в ножички играл?
- Ещё бы! До сих пор остался шрам.
- А как Нинкина мамаша застукала вас у сараев?
- Она думала, что... Как будто я стал бы с этой душой целоваться!

- Погоди, а что ты делал? А, гвоздь искал!
- Ну да, а Нинка прилезла...
- Знаешь, Ирина Матвеевна умерла, оказывается. Ну, Жаба; забыл?
- В садике?
- Заведующая, да; в больнице умерла, не в садике. Инфаркт.

И наступал момент, когда сестра равнодушным голосом спрашивала: «Как у тебя с ней?», словно подразумевалась таинственная незнакомка, а не мать.

С матерью было по-всякому, в зависимости от её настроения: хорошо, безобразно, никак. Ещё первоклассником Алик неистово ждал, что вернётся папа – и всё пойдёт иначе, замечательно всё пойдёт. Первым делом он возьмёт отвёртку и накрепко закрутит винтик на девятке, чтоб она не кувыркалась и не притворялась шестёркой. Девятка послушно распрямится, а там, глядишь, и вся жизнь их выровняется. Он ждал отца каждый день, бросался к двери первым, однако тот звонил

редко, и не в дверь, а по телефону. Схватив трубку, Алик не мог даже поздороваться – голос куда-то пропал, а папа кричал весёлым голосом: «Ну ты же большой парень, чувак, не реви!» Зачем папа называл его «чувак», и как он догадался, что Алик плачет и потому не может ничего сказать? Крупные слёзы падали на тусклую чёрную трубку. Алик хотел спросить, почему папа уехал, и не спросил – ревел не как чувак, а как мальчик, которого наказали, не сказав за что.

Всё равно ждал. И никто так и не сказал, почему папа уехал.

Они с Вовкой стали говорить друг другу: «слышь, чувак». Перед этим мама с тётей Полей рассорились, как решил Алик, насовсем, а всё потому, кричала тётя Поля, что нельзя на двух стульях сидеть. Про стулья Алик не понял, а с дядей Витей тётка не любила встречаться, иногда забирала с собой Алика на целый вечер. Алик приходил с портфелем и делал уроки за обеденным столом, а тётя Поля рядом

проверяла тетрадки. Здесь было хорошо, только скучно без Ники. Широкое окно выходило на старый парк. Он подолгу сидел на подоконнике, решая одну и ту же задачу: как бы сделать, чтобы все они жили вместе, чтобы вернулся папа, а дядя Витя пропал, как стёртая двойка.

Нет, не собрать ему детство из нелепых этих клочков. Алик протянул руку за диван, где стояла начатая бутылка виски. Что-то больно лёгкая? Поболтал – плещется так, словно внутри полстакана, не больше. Мистика какая-то – то сигареты на исходе, то виски. После первого глотка помедлил; глотнул ещё раз: хорошо. Надо прикупить, иначе он обречён ждать сестру под звуки советских шлягеров и тихо злиться.

Детство целиком не вспомнить, а если удавалось выстроить цепочку событий, то первыми вылезали самые неприятные. «Будь

взрослее!» – повторяла мать. Ему казалось, что став на год старше, он и повзрослеет на год, однако бесхитростная пропорция подводила. Взрослеешь не в день рождения и не в момент узнавания чего-то нового о взрослой жизни (как правило, оно оказывается противным или страшным), а – позже, когда убеждаешься, что это противное и страшное – правда. Как в тот дождливый день на даче, когда Ника поделилась с ним тайной зачатия – больше поделиться было не с кем, нянька не в счёт, и не потому что немая, просто нянька была взрослая, а он – ребёнок, как и сестра была ребёнком, хоть и старшим, но тоже напуганным новым знанием едва ли меньше его.

...Когда жили все вместе, вчетвером, то праздновали дни рождения, новый год. Ёлка была дома, в садике и в доме культуры, куда они с сестрой ехали на трамвае. Дома стояла маленькая ёлочка, Дед Мороз со Снегурочкой не приходили, зато подарки мама заворачивала в бумагу и перевязывала ленточками.

Развязывать ленточки было трудно, а резать жалко, такие красивые! Ника долго распутывала хитрые узелки.

В день рождения он думал о серебряной стрелочке с утра и до того момента, когда она перепрыгивала в его новый год. Ибо что такое день рождения, как не свой отдельный новый год?

Ему было пять лет, отмечали мамин день рождения. Мужчины, папа и муж маминой подруги, потянули стол в разные стороны, и он стал длинным. Алику поручили принимать подарки. Мама смеялась и повторяла: «Ну зачем это, не надо, не надо, что вы!» Алик боялся, что гости пожмут плечами и заберут подарки обратно, поэтому он складывал их в папин кабинет, на письменный стол. Оставалось приглядеть, чтобы гости не унесли. Цветы не уместались в вазах, и Ника ставила букеты в пузатые банки. Про цветы мама говорила странно: «не надо, не надо» и «ах, какая прелесть», её не поймёшь. И пришла новая

тётенка с маминой работы, кудрявая и ярко-рыжая, как Жар-птица в книжке, он показал ей картинку. Жар-птицу звали тётя Люба. Не только волосы были рыжими, но лицо и даже руки выглядели так, будто кто-то набрызгал оранжевой краски. Тётя Люба глянула на картинку, засмеялась: «А правда, что-то есть!».

Сначала он сидел на коленях у папы, но когда начали курить, ему сказали «пойди поиграй». А как играть, если в комнате почти не оставалось места? На всякий случай Зайца сунул под подушку.

На кухне мама с тётей Леной раскладывали еду по красивым мискам.

– Лидусь, приходи, я тебя за полчаса такой же лялечкой сделаю!

– Главное, клянётся, что свои. Врёт и не краснеет.

– Я верю. Посмотри на кожу, только у рыжих такая розовая кожа. Свои, конечно.

– Ленка, я от тебя не ожидала. Хна, помани моё слово!

– Сомневаюсь... Ну, может, хной слегка поддерживает, но волосы свои. Губошлёп мой явился! Кушать хочешь?

Взрослых не поймёшь. Как это – «не свои» волосы, чьи же они тогда? Ника говорила, что тётя Лена про волосы знает всё, но разве мама может ошибаться? Если б можно было подойти к тёте Любе и потихоньку дёрнуть за кудряшку – вдруг оторвётся? Так было с Люсей, нелюбимой Никиной куклой: сестра усаживала Люсю перед игрушечным сервизом, и Люся сидела, вытянув негнущиеся ноги. Как-то они взялись причёсывать её бесцветные тусклые косы. Это не настоящие волосы, объяснила Ника, а пакля. Слово «пакля» было в книжке про Незнайку. Расчёска спотыкалась и застревала. Они поделили усилия: половина Люсиной головы досталась Алику, вторая Нике. Теперь вязли две расчёски. Ника дёрнула тугую косу, и случилось страшное: пакля отвалилась вместе с половиной головы. Внутри головы виднелись закатившиеся Люсины стеклянные глаза. *Пакля*

– *рвакля*, спокойно произнесла сестра. *Никому не говори, всё равно не заметят.* Она приложила отвалившуюся половину к остальной голове, плотно обвязала лентой и засунула Люсю под шкаф. Никто не хватился раненой Люси.

...Тётя Люба смеялась, её рыжие кудряшки тряслись. Открыли окно. Пахло папиросным дымом и цветами. Тётка Полина говорила: вы кушайте, кушайте. Мамина подруга Лиза громко запела:

*Миленький ты мой,
Возьми меня с собо-ой!
Там, в краю далёком,
Я буду тебе женой.*

Мужской голос ответил очень красиво и уверенно:

*Милая моя,
я не возьму тебя-а –
там, в краю далёком,
есть у меня жена.*

Пятилетний Алик слушал песню и не мог оторваться. Женщины пели то хором, то по очереди – петь хотелось всем, – но получалось, словно одна и та же просит «миленького» не уезжать без неё, но у «миленького» есть в краю далёком и жена и сестра, а женский голос умоляет:

Возьми меня с собо-ой!

Мужчина ещё не вступил, как Алик понял: опять не возьмёт... Песня напоминала качели, простая мелодия: взлёт – спуск. Он притулился на кухне за буфетом и смотрел, как мама доставала тарелки с особенным названием «десертные» и передавала рыжей Любе. Обе весело болтали, смеялись.

– У неё такой муж интересный. И поёт хорошо.

– У кого? – Тарелки перестали звякать.

- У Лизы твоей. Ну, блузка в горошек.
 - У Лизы?.. А, ты про того. Какой муж – хахаль! Они знакомы без году неделя.
 - Надо же... Такой солидный; я думала, что муж.
 - Я не исключаю. Может, и муж, только чужой.
 - Она хорошенькая. Жалко, что не сложилось.
- Обе заговорили о каком-то плановике, которому должны накрутить хвост, а кто такой хахаль, Алик не узнал.

Песня пришла в голову вовремя – теперь у него самого сестра *в краю далёком*. Это она, уезжая, никого с собой не взяла. Помнит ли она тот многолюдный день рождения, скальпированную Люсю, цветы в трёхлитровой банке? В голове завертелось: *Миленький ты мой...* Вверх – вниз, надежда – разочарование.

Мир взрослых и позднее держал для Алика в запасе немало сюрпризов и постыдных тайн. Он приходил из школы в пустую квартиру, мама была на работе. Делал уроки, читал, скучал и ждал, когда в замке повернётся гвоздь – это Ника. Зная, что ему не разрешали зажигать газ, она быстро нашаривала под буфетом спички, ставила чайник и размешивала в kloкочущем кипятке сгущённый кофе – первая разновидность растворимого, который он полюбил впоследствии и любит до сих пор. Самое вкусное было облизать ложку, ловя языком сладкие тягучие нити. Мама оставляла для него кипяток в термосе, но кофе получался совсем не таким. Перед уходом Ника выливала горячую воду из чайника, споласкивала и вытирала свою чашку, спичечный коробок засовывала под буфет. Алик восхищённо наблюдал. «Это же элементарно, Ватсон!» Она нашла в шкафу и сунула его Конан-Дойля.

«Читай, а то совсем одичаешь!» – и смешно сморщивала нос, так она прощалась; никаких «дай бусю». Перед уходом она рылась в книжном шкафу – искала забытую тетрадку.

Догадался бы Шерлок Холмс так тщательно прятать следы своего пребывания, как сестра? Конечно, на то он и великий сыщик. Оставаясь простофилей Ватсоном, Алик, однако, ни разу не проговорился матери, что сестра приходила, и не из-за страха, что больше не придёт, а просто понял: у взрослых свои секреты, которые лучше не знать. А ещё понял, что Ника перешла в чужой и малопонятный клан взрослых, где не задают вопросов и не отвечают на заданные – ты для них малыш, «смáркач», как его называла вечно сердитая Марта. Если же в их взрослых разговорах что-то прорывается, то намёками, недоговорками, расшифровать которые может один Шерлок Холмс. В свои семь или восемь лет он догадался: Ника рассказывает ему не всё. Взрослые (а теперь ещё и сестра) что-то знают –

и молчат. Ему не хотелось взрослеть. Он чувствовал себя уютней в понятном и мирном детстве, со свежим запахом папиного одеколона, с ним самим и нарядной мамой, пускай они уходят на целый вечер, но утром будут торопиться на работу, а Ника в школу; в том времени хотелось оставаться как можно дольше. Не зная, кто такой Питер Пен и тем более Фрейд, он согласился бы ходить в детский сад сколько нужно, чтобы только ничего, ничего не менялось – изменения, как показал его недлинный жизненный опыт, приносят только плохое. Зачем нужна точка опоры, если цель – перевернуть землю? Пусть она спокойно вертится, лишь бы дом уцелел.

К ним часто приходили гости. Алик радовался: значит, мама не будет ссориться с папой. Но гости уходили, и родители ссорились и выкрикивали обидные слова, и всегда это было связано с папиными командировками. Совсем маленьким он думал, что папа едет командовать; оказалось, это просто работа,

только в другом городе. Когда он возвращался, то начинали ругаться – кричали, перебивали друг друга, *ты хоть детей постыдись...* Уходили доругиваться в папин кабинет и кричали там: *а мне нечего стыдиться, ты сам...* Они с Никой мечтали, чтобы гости приходили чаще.

...глоток, последний.

Сколько раз и сын и дочка просили после очередного рассказа: запиши, интересно же! Ника отмахивалась: что я, Плутарх? Кому нужно моё жизнеописание? Нам, уверяла Наташка: другой опыт, другие реалии. Например, история про «разрыв сердца» сначала вызвал гомерический хохот, а потом недоумение: заставляли есть кашу? Какое они имели право заставлять ребёнка?! Почему твоя мама не подала на них в суд?.. Обоим повезло: хороший попался садик, а потом американское восприятие наложилось. И как после этого рассказать про дикое наказание в спальнях? *Abuse, harassment...*

Они не ждут стилевых красот, и записать не хитрость: писала же она школьные сочинения, научные статьи. Прибавится ещё одна молекула, куцая человеческая история, уложенная строчками не на бумаге даже, а в терпеливом компьютере. Здесь нужна простая

схема, хроника по древней модели: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Некоторые детали оживят повествование, чтобы не получилась голая статистика. Вполне решаемо: вместо чечевичной похлёбки – детсадовская каша или слипшиеся макароны по-флотски в школьной столовой.

Разбирая семейный архив, она так и этак примеряла идею записать что помнила. Помнила не много, но какие-то подробности высвечивались, и всегда неожиданно: например, табличка на углу дома с названием улицы, где жили они с мамой: «2-я Вагонная» – при том, что ни «первой» ни «третьей» Вагонной не встречала, но маленькая Ника верила: где-то они есть. И на «первой» Вагонной никакая Машка не живёт и Людка не дразнится, зато на «третьей» есть другая Машка с другой Людкой, ещё хуже, чем у них на Второй. А старушка, разогревавшая для неё суп, осталась безымянной и лишённой внешности, если не

считать рукава вязаной кофты с бугрящимся комком носового платка.

Такой же безликостью и безымянностью отличалась и популярная в то время игра – вырезывание ножницами бумажных трафаретных кукол с единственной целью нарядить их в бумажные же туалеты, которые тоже следовало вырезать. Мама часто приносила листы с топорно выполненными рисунками, и Ника добросовестно щёлкала ножницами, в чём и состояла цель унылого занятия.

Сюжетов хватает, однако бдительно включалась внутренняя цензура. Всё ли нужно рассказывать? Как воспримут они постоянную ложь матери «я-поговорю-с-заведующей»? Рассказывая, говори о себе, не о ней – нельзя злословить о покойных, они не могут защититься. Получается, один пишем, два в уме. Мифические переговоры матери с Жабой остались не упомянутыми.

...Мама так и не устроилась работать в садик. Одинаковые дни проходили скучно. Неожиданный праздник наступил в виде пятнистой зелёночной ветрянки. Зелёнка не мешала ничему – ни рисовать, ни читать, а скучных бумажных кукол Ника тоже щедро раскрасила зелёнкой. Блаженное безделье дало толчок творческой мысли, и когда ветрянка сдалась и струпья болячек отпадали один за другим, Нику осенило.

Собираясь утром в садик, она озабоченно топала по комнате в одном чулке.

– Ну что ты возишься? – Мама раскручивала перед зеркалом бигуди.

– Резинку не могу найти...

– Ищи!

Про сложную интригу с резинками давно рассказала. Пришлось долго объяснять и даже

рисовать детское бельё (тут игодились бы бумажные куклы). На майку надевался лифчик – короткая полотняная жилеточка на пуговицах, по бокам которой тоже были пришиты пуговицы. К этим боковым пуговицам крепились петельки резинок, другим своим концом они пристёгивались специальным зажимом к краю чулка. «Почему не колготки?» – удивилась Наташка.

Попробуй объясни, что колготок не существовало – если не в природе, то в одной стране. Детский лифчик выполнял функцию мужских подтяжек, только держал не брюки, а чулки. Процесс одевания затягивался: резинка могла непредсказуемо отстегнуться и улететь на люстру, или отрывалась крепящая её пуговица и катилась под шкаф, или... Затеяливая упряжь зависела от капризов дефицита: сегодня в изобилии продавались резинки, зато не было чулок; завтра могло случиться наоборот. Дефицит не знал возрастных барьеров: женская сбруя для крепления чулок отличалась от

детской только географией расположения на теле: четыре резинки вместо двух были прикреплены к поясу, плотно обхватывающему бёдра, в то время как детский лифчик, не знавший разницу между полами (ликуйте, феминистки!), возродил её, повзрослев и превратившись в бюстгальтер и подтяжки.

Тёмное зимнее утро, запах сбежавшего молока, поиски физкультурной формы. Под бодрые звуки радио мать одевает Алика, натягивая лифчик с резинками, когда-то принадлежавший Нике.

...тёмное зимнее утро на Второй Вагонной, мама пудрится у зеркала. Что тогда навело на крамольную мысль – резво катящаяся по кривой пуговица, ветчинно-розовый цвет резинок или пятна зелёнки, бледнеющие, как и надежда никогда не возвращаться в садик? Как бы то ни было, время прошло в поисках злосчастной резинки – не вести же ребёнка по морозу без чулок, в одних рейтузах, которые в садике нужно снимать. «Да что за наказание! –

мама сердито ворошила бельё. – Сегодня куплю новые. Не скучай!»

Целый день свободы, не отягощённый кашей «разрыв сердца», нескладным пением под рояль или тягостной прогулкой во дворе: «Снег не трогать, кому сказано?», когда рука за спиной воспитательницы сама тянется к сугробу. Свобода! – Какая уж тут скука. Ника легла на пол и долго всматривалась в черноту под диваном, не видна ли закинутая вчера резинка.

На смену пропавшей появились новые. Пришлось вернуться к ежедневной вахте. Помогла случайность – в один поистине прекрасный день она подцепила в садике глисты и была немедленно отправлена к бабушке для истребления непрошенных гостей. Бабушка, лечившаяся и лечившая, когда требовалось, травами, приготовила в стеклянной банке густое сусло, смешав мёд и сероватый порошок, и несколько раз в день скармливала Нике месиво по ложке. Лекарство

называлось загадочно и непонятно: цитварное семя. Мёд не мог забить его послевкусие; впоследствии выражение «заморить червячка» неизменно возрождало во рту неистребимую горечь полыни. Ника послушно глотала горький мёд. Известие о червяках в животе не удивило: что, в самом деле, особенного? Попался же ей как-то червяк в яблоке, так ведь он первый начал есть это яблоко, поэтому откусить кусок вместе с червяком и выплюнуть – пусть доедает – было по-честному. Цитварное семя вместо детского сада цена пустяковая.

Здесь, у бабушки, можно было сколько угодно копаться в тёти-Полиных книжках, взять любую, забраться в глубокое кресло с продранной обивкой и читать. Или слушать, как бабушка читает письма, которые дед присылал с войны. Она называла дату письма, но какие-то листки пропускала, а то вдруг останавливалась и замолкала. Позднее, когда Ника стала читать письма сама, ей вдруг открылось, что бабушка делала паузы там, где рукописные строки были

безжалостно вычеркнуты и проштемпелёваны военной цензурой.

«23/IV...

Здравствуй, Вера.

Вчера закончили большой переход в (густая штриховка и кривой чёрный штамп «ПРОВЕРЕНО») и благополучно прибыли в штаб. На нашем пути были всякие препятствия, но это война. Досадно и до слёз обидно, что в этом переходе я потерял лучшего товарища – младшего лейтенанта Чебаненко, погиб при бомбёжке. Мой долг – написать его семье...»

На стене над бабушкиной головой висел портрет деда. Красивое продолговатое лицо, зачёсанные назад волосы, по обеим сторонам галстука – углы воротника, прибитые к дедушкиной шее гвоздями. Конечно, потому он и не улыбается; догадкой Ника поделилась с

бабушкой. Та взглянула на портрет и засмеялась:

– Это не гвозди, золотко – тогда на воротнике запонки носили.

– И не больно было?

– Нет, что ты! Бывало, воротничок туговат; а так ничего.

Рядом с портретом висел другой, тётки-Полин, со спускающимися на большой кружевной воротник локонами. Здесь Ника тоже всё перепутала – на портрете была молодая бабушка («я тут почти невеста»), а не тётка Поля.

«5/V 42 г.

Вера, вчера я отослал тебе письмо, потому что не хочу, чтобы ты беспокоилась обо мне. Война есть война, и каждый день я являюсь живым свидетелем, как наша героическая Красная Армия громит и уничтожает вшивых немецких бандитов. Недалёк тот благословенный день и

час, когда наша земля будет полностью очищена от кровавых фашистских извергов...»

Легко было представить, как дедушка бьёт фашистских бандитов и, оторвавшись ненадолго, бежит опустить письмо в почтовый ящик. Не обыкновенный, как у них на углу, а в чистом поле: ведь обратный адрес – «полевая почта». На поле, наверное, стояла табличка с номером, а посередине – почтовый ящик. Листочки писем лежали в обыкновенной папке с верёвочками. Фашистские бандиты вшивые, как новенький мальчик Виталик; он чесал кубиком голову, и медсестра проверяла потом головы у всех, а Виталиковой маме позвонили на работу. Через неделю он вернулся в группу, наголо стриженный. Может, у фашистов и глисты были?..

«...а если плитка не работает, то в моём письменном столе в среднем ящике есть две спиральки, я их привёз из Москвы, одну из них попроси Володю, пусть переставит вместо сгоревшей».

У них в комнате тоже стояла плитка – мама часто ставила на неё чайник, чтобы реже бывать на кухне, где Машка. Когда плитка выключена, спиральки чёрные, скучные, но если включить, они становятся ярко-оранжевыми, от плитки сразу растекается тепло. «Не стой близко!» – тревожно кричала мама. Но разве издали увидишь, как кудрявые проволоочки наливаются красным жаром?

Бабушка никогда не говорила: «Вот, послушай...», а читала вполголоса, шепча или проборматывая слова, потом вынимала носовой платок. Они сидела неподвижно, вздыхая

долгими прерывистыми вздохами; седые пышные волосы перевязаны на затылке капроновым шарфиком, уголки глаз опущены, губы тихонько шевелятся.

«При приезде на место я получил твоё письмо от 1/4, где ты пишешь, что была больна, делали операцию, и что весь процесс проходит нормально. Крепко тебе сочувствую и безгранично огорчён тем, что ты так сильно страдала этой болезнью, почти стоившей тебе рук. Несомненно, твоя болезнь крепко отразилась на детях, особенно на Лидочке. Ну, ничего, поправляйся и крепко помни, что сейчас как никогда ты особенно нужна детям. А поэтому береги себя, своё здоровье хотя бы ради детей. А вот кончим войну, вернусь жив и невредим домой, и тогда будет жизнь снова весёлой, радостной, приятной детям и нам».

Вздох, платок и долгое молчание. Ника погрузилась в книжку. Голос бабушки донёсся не сразу.

«...пока что ты должна быть более благоразумной и логичной, нужно пригласить домой жену Володи, поговорить с ней как следует, помирить детей и, разумеется, забыть всё старое. К этому же необходимо подготовить детей, особенно Лидочку. Ты же знаешь, какая она впечатлительная».

До Ники доносились отдельные слова, куски предложений, вздохи. Если раскрытая книга оказывалась скучной, она прислушивалась к бормочущему голосу, поэтому кто такой Володя, зачем было приглашать его жену и чьих детей мирить, осталось неясным.

«17/III – 42 г.

...сейчас, в эти тяжёлые дни испытаний. Подумай хорошенько и сделай всё возможное, это будет очень хорошо и для детей и для тебя самой. Ты не должна забывать, что я на войне в действующей армии, и поэтому следует понимать,

что здесь не курорт, а бывает ежедневно масса военных эпизодов. Я мог бы тебе их коротенько описать, но специально не пишу, потому что знаю – будешь закатывать истерики. Вот почему я и не пишу. И думаю, что не следует».

И бабушка, и тётя Поля относились к письмам с благоговением, и много позже Ника поняла: бабушка плакала не от обиды на строгие слова, а оттого, что дед не вернулся с войны. Вернулся бы – может, она высказала бы накопившиеся обиды; или, напротив, разлука смягчила бы дедову суровость. Однако судьба распорядилась иначе.

Портрет висел теперь на стенке Никиной нью-йоркской квартиры, в другом полушарии, но детское впечатление о вбитых в шею гвоздях осталось живучим. Отсканированный портрет и

письма лежали в сумке, хотя давно и прочно помнила написанное. Пусть у брата будут копии.

От бессонной ночи резало глаза, но стоило их прикрыть, как сразуплыли строчки чёткого, строгого дедова почерка:

«Вера, береги детей, смотри за ними, приложи все усилия и старания к тому, чтобы они ни в чём не нуждались. Береги их жизнь. Помни, что на свете жизнь неизмеримо ценна. Мне это стало понятно больше, чем кому-либо за последние пять месяцев».

Жена сберегла детям жизнь ценой подорванного непосильной работой здоровья. Никто никогда не прочитает её ответных писем – они сгнули вместе с дедом.

Дети, родившиеся после войны, получали о ней представление по фильмам и книгам, и когда Ника училась в школе, тему не заостряли:

слишком много потерь и боли. Самой грозной личностью в школе считался директор. Высокий, жилистый, смуглый, лицо изрыто вмятинами, словно побито градом, с дёргающейся щекой – она придавала лицу брезгливое выражение, – он шёл по коридору, прихрамывая, однако никто бы не отважился передразнить его походку. Дмитрия Ильича за глаза называли «Корявый». Он принадлежал к тем немногим, кто прошёл всю войну, уцелел и по возвращении выбрал одну из самых мирных профессий – учить детей географии. Как-то перед октябрьскими праздниками завуч объявила, что на торжественной линейке директор расскажет о «своём боевом прошлом». И торжественная линейка состоялась – с плюшевым знаменем, алыми галстуками, стеклянным графином на столе президиума, за которым сидели, как на групповой фотографии, учителя, но Корявый выступать не спешил. Он дослушал завуча, дёрнул щекой и вышел, глянув на часы. В первом ряду беспокойно ёрзали

первоклашки, которых сегодня принимали в октябрюта; на постаменте, задрапированном красным, стоял гипсовый бюст Ленина.

Усечённый вождь сутулился. Директор в зал не вернулся. Никакого рассказа о «боевом прошлом» не последовало – ни в тот раз, ни впоследствии; вне уроков Корявый был неразговорчив.

«...а то, что ты плачешь и нервничаешь, Вера, это крайне отрицательно может отразиться на детях, особенно на Лидусе – ты же знаешь, она очень чувствительна. 10-го и 11-го получил от тебя два письма. Если я останусь после этой гигантской войны жив и невредим, разумеется, счастье и моё, и всех вас. Дивизия наша всё время движется вперёд, и мы почти ежедневно освобождаем от фашистских захватчиков по 30-40 населённых пунктов. Но не со всякого пункта можно дать телеграмму, это не так уж просто. Немцы уходя всё уничтожают после себя. “Высшая раса” – варвары в буквальном смысле

этого слова, каких только родил свет. Не удивляйся, что я не пишу о подробностях боёв – ни тебе, ни особенно детям не нужно об этом знать. Я пока что жив и здоров, а что дальше будет, не знаю».

В памяти сталкиваются, пересекаются и расходятся, кивнув с вежливым недоумением, очень разные люди. Маловероятно, чтобы Никин дед и директор школы воевали рядом и вообще знали о существовании друг друга; встретились же они в чисто мировоззренческой точке – оба не хотели, чтобы дети знали страшные подробности войны.

Слух это был или правда, что своей «корявостью» директор обязан войне? Говорили о взрывной волне и везучести Корявого: дескать, остался цел, когда снаряд разорвался, разве что мелкие осколки изрыли лицо. Пластическая хирургия не была приоритетом полевого госпиталя: спасибо, если

развороченную челюсть починят; а ни тик, ни хромота мужчине в жизни не мешают.

Удивительно, как одним скачком удалось перепрыгнуть из детского сада в актовый зал школы, где бьющий в окна свет лился на серый бюст вождя, разоблачал пурпур трибуны в выгоревший ситец и делал глиняным неподвижное, если не считать прыгающей щеки, лицо Корявого, похожее на поверхность Луны. Рука директора протянулась из президиума через весь зал к выключателю у самой двери – надо же, как он умеет! – и солнечный свет погас, а вместо него включились неяркие лампы салона, отчего лица мгновенно обесцветились и стали похожи на фотографии. В конце длинного прохода стюардесса двинула высокую тележку.

– Вы обронили, – сосед протянул снимок в пластиковой плёнке.

10

Разбудил Алика залиvistый звонок. Выпростав руку из-под одеяла, потянулся к журнальному столику, на котором когда-то мать и впрямь держала журналы. Телефон соскользнул на пол, откуда продолжал звонить. Не вставая, пошарил по полу, и под руку попалась зажигалка. Наконец поймал ладонью телефон в тот момент, когда звонок смолк на середине. Кто звонил, Лера? А вдруг сестра? Какое число-то?..

Голова была чугушной после вчерашнего пива, бесcчётных сигарет и ночного виски. Спать, спать. О Нике можно думать с закрытыми глазами так же, как и с открытыми, не сегодня же она приедет. Хотя... Какое число? Лера обещала навести порядок «в этом свинарнике». Про тётку не знала, но слова «приедет из Нью-Йорка» вызвали необходимость загрузить холодильник, помыть окна, а то «света белого не видно», словно для него это имеет значение.

«Гони в шею своего Зепа, чтоб он тут не маячил!» – угрожающе добавила. Забыла, наверное: ты в ответе за тех, кого приручил. Дети не читают – ни свои, ни чужие.

Включив чайник, Алик шарил по шкафчикам – была же банка растворимого, только начатая. Банка нашлась, но древняя – то, что было порошком, слежалось на дне монолитом, ложка тыкалась и беспомощно скользила. Значит, он с утра обречён на чай. Можно выйти в кафе, но как только представил, какими подробностями обрастает этот поход – скинуть домашнюю рвань, одеться «на люди», а перед этим елозить по лицу электробритвой, – увольте; бросил в кружку два чайных мешочка. Доливал осторожно кипяток и медленно пил, мало-помалу просыпаясь по-настоящему. На столе всегда стояла тяжёлая глиняная миска с печеньем, вафлями, пряниками – любил сладкое.

В магазин всё равно надо: купить виски (вчерашнюю бутылку спрятать от Леры), сигареты... что ещё? А! Кофе; чуть не забыл.

Алик выходил из дому только в самых крайних случаях. Улица оглушала звуками – чужими голосами, громкой музыкой из проезжающих машин, визжащей, стремительно нарастающей и столь же стремительно удаляющейся сиреной. Полиция? «Скорая»? Вокруг толпа, прохожие бесцеремонно толкаются, рассматривают друг друга, как он сам любил рассматривать лица встречных, слоняясь по городу. Возможно, тем прохожим не нравилось его разглядывание, но кто тогда думал об этом? Теперь чужие глаза с холодным любопытством останавливаются на нём, он ощущает их, как ползущую по коже гусеницу. В парадном натягивал капюшон до бровей. Из-за того что редко выходил, бесхитростная цепочка действий – взять ключи, телефон и кошелёк – запутывалась, рвалась, и несколько раз уже, захлопнув дверь, он с опозданием осознавал,

что ключи остались внутри. Звонил дочке, неумелыми тычками в крохотные кнопки вызывая чужие голоса, долго ждал – вот очередная машина подъехала... Лера? Визжали тормоза, хлопала дверца, но по асфальту стучали чужие каблуки, даже если в его сторону. Приезжала наконец, но это если телефон был с собой. Если забывал и телефон и ключи, шёл к дворничихе – та сразу звонила Лере и разрешала пересидеть у неё, «только не кури».

Всего-то пройти полквартала – и вот он, магазин. Здесь он и познакомился в прошлом году с Зепом. Очередь в тот день двигалась обычным темпом: одни брали пиво, другие что покрепче, третьи норовили «мне только сигареты». Кошелёк лежал в нагрудном кармане. Алик потянулся к застёжке, шагнул к прилавку, но неожиданно споткнулся и упал.

– Ты что, слепой? – раздражённо отозвалась очередь. Зычный голос продавщицы – Галя давно знала его – перекрыл остальные:

– Вы что, не видите – слепой он, слепой!

Алику помогли подняться. Лежавший встал и взял его под локоть: «Пойдём». Из очереди буркнули недовольно: «Взяли моду по полу ползать. Что один, что другой».

Осели на скамейке в парке. Провожатый успел взять пиво. Представился: «Зеп», словно парикмахер щёлкнул ножницами. Не то имя, не то кличка, в подробности новый знакомец не вдавался.

– С бодуна самое то, – растроганно поведал очевидное. Пил он не спеша, долгими, гулкими глотками. Алик на ощупь открыл скользкую от холода банку, глотнул горьковатую пену и закурил, подставив солнцу лицо.

– Ты не боишься без палки ходить?

Палку, тоненький штырёк вроде удочки, ему выдали вместе с удостоверением об инвалидности. Вышел и двинулся медленно, но вдруг кто-то резко дёрнул её и потянул в сторону. Зашлась истерическим лаем невидимая собачонка. Алик невольно отпрянул,

однако дёргало сильнее, зацепившийся поводок тащил, и он упал бы, не поддержи его чья-то рука. «Оборзел? Не видишь, куда прёшь?!» – визгливо орал женский голос. Рассказать об этом дочке не хватило духу, просто забросил чёртову тросточку за ванну.

– Да не то чтобы... – не закончил фразу. Боялся, ещё как боялся. Слабак и есть. Отпил сразу половину банки, чтобы не надо было говорить, и хмель нахлынул тёплой блаженной волной. Он жадно допил остаток и тут только понял, что новый знакомец сбивчиво и пылко повествует о некоей «курве, понимаешь, и мамаша у ней такая». Старая песня: жена достала. Алик вспомнил, как ярилась тихая, кроткая Марина, когда он приходил пьяный. Будь она сейчас с ним, не сидел бы он на скамейке с нелепым человеком, у которого нелепое имя, да и в магазин бы не пошёл. Марина, простишь ли ты меня когда-нибудь...

– ...сколько раз прощала, говорит, хватит. А мне, спрашиваю, куда? Я тут прописан, говорю, или как?

Эффектная пауза, лёгкий хлопок открываемой банки. Прокуренный голос, хриплое откашливание, выстрел плевка; шуршание подошвы по гравию – раздавил окурок. У него, наверное, пивное брюхо, на котором не сходится молния куртки, лысина («ну и печёт сегодня», подтвердил тот тяжёлым пыхтением), и фигура кургузая, под стать имени.

– Зачем ты на полу в магазине лежал? – запоздало спросил Алик. Он представил беспомощное барахтанье толстяка под ногами, косые взгляды в очереди.

– Да монету обронил, два евро! Главное, видел, куда покатилась, и нагнулся, а ты сверху навалился. Денег и так ни хрена, понимаешь.

Алик всегда любил тепло и сейчас наслаждался солнцем, невидимым и потому виновато ласковым. Опустевшие банки полетели в урну. Зеп осторожно придерживал

его за талию и не обращал ни малейшего внимания на неодобрительные взгляды, провожавшие странную пару: дюжего лохматого верзилу в мятом пиджаке, который вёл спотыкающегося долговязого приятеля с надвинутым на лицо капюшоном.

Новый знакомый записал свой номер телефона, прищёпнул бумажку пятернёй и удалился, начисто забыв, что номер Алику без надобности. То ли вспомнил это обстоятельство, то ли быстро соскучился, но через несколько дней позвонил в дверь.

– Я не пустой пришёл, ты не думай.

Бутылка тупо стукнула по столу приятной слуху тяжестью. Гость уже распахивал кухонные шкафчики в поисках рюмок, его шаги звучали то громче, то тише. От него шла тяжкая волна пота, одеколона и перегара. Что-то упало на пол и покатилося. Зеп чертыхнулся. Звякнула тарелка; в нос шибануло затхлостью.

– Как чувствовал, что ты квашеную капусту любишь; дай, думаю, возьму, – суетился гость.

Уютно забулькала водка. Зеп сел рядом с Аликом на скрипнувший диван, выпил, выдержал требуемую паузу и жадно захрустел капустой, помыкивая от наслаждения. Осторожно, чтобы не обидеть гостя, Алик отодвинулся на край дивана.

Бутылка скоро загремела в помойное ведро. Зеп, однако, не спешил уходить и словоохотливо рассказывал о себе: работа на БМРТ, загранки по три месяца.

– БМРТ – это что? – не выдержал Алик.

– Траулер, – оживился Зеп, – такой здоровый рыбный холодильник. Огромное судно. Мы и в Канаду ходили.

– В смысле, плавали?

Мать всегда требовала точной формулировки, вот и спросил.

Зеп обиделся:

– Плавает г...о в проруби. Судно ходит.

И на судно ходят, едва не вставил Алик, но передумал. Мать оценила бы, хохотнула, а этот обидится.

– И сейчас... на БМРТ?

– Сейчас БМРТ не у дел, – вздохнул Зеп. – И сменил тему: – Я весь Афган оттрубил.

«Афган» прозвучало хрипло и отрывисто, как лай.

– Я тоже.

Слова соскользнули с языка с пьяной лёгкостью. Алик увлечённо продолжал, и до чего же приятно выговаривалось плавное название «Джелалабад», он повторил его несколько раз, а «Джелалабад» оброс другими словами, оживающими на глазах: «наши ребята», «дúхи», «бэтээры» (вот тебе за БМРТ, усмехнулся мстительно). Собеседник охотно вставлял реплики, поддакивал, а потом уважительно замолчал; Алик продолжал азартно пересказывать некогда читанное, пока с

конца дивана не донеслось ровное похрапывание.

Наутро Зеп не прервал затянувшееся гостевание, да и куда бы он пошёл? Жена выполнила свою угрозу – выгнала его, и прописка не помогла. Спал он в крохотном закутке, где до сих пор стоял диван матери, по утрам шлёпал босиком в ванную. Дверь почему-то не закрывал, и натянутое на голову одеяло не спасало от какофонии чужого метаболизма.

Ни о чём не договаривались, однако само собой стало привычным, что новый приятель ходил за продуктами, что-то нехитрое готовил, иногда мыл посуду. Опять же было с кем перекурить и выпить. О последнем обстоятельстве в разговоре с Лерой Алик умолчал.

– Ничего себе! Ты пустил в квартиру постороннего мужика и с ним пьёшь? Откуда он свалился на твою голову?

Голос её звучал устало.

Зачем объяснять, кто на кого свалился. Не поймёт и обидится: я тебе всё привожу, зачем ты ходил один, где твоя палка...

– Да он, если хочешь знать, в Афгане был!.. Он такое прошёл, что тебе в страшном сне... Почему сразу «пьяница, бомж»? У Зепа жена есть, семья!..

Что жена выгнала, говорить ни к чему.

– Вот пусть и катится к жене. Ничего не хочу знать про твоих дружков. А сейчас ты пьяный, я же слышу. Проспись!

Обиделась и бросила трубку. Она была вспыльчива, но потом звонила первая. Зеп у неё не вызывал ни симпатии, ни доверия, но постепенно она смирилась с его мельтешением – ехать сюда долго, мало ли что случится... Всё же живой человек рядом.

Алик привык к появлениям Зепа. Труднее было привыкнуть к его беспардонным и непредсказуемо долгим ночёвкам, а проторчать он мог несколько дней сряду. Раздражал его резкий одеколон, Алик ощущал запахи очень

остро. Сказать или намекнуть не хватало духу. К тому же альтернатива была сомнительная: если слабел одеколонный дух, от приятеля несло по́том. Предложить помыться нельзя – вдруг обидится.

Каждый раз после его ухода возникало счастливое чувство свободы, будто школу прогулял; Алик ликовал в одиночестве. В отсутствие Зепа никогда по нему не скучал – наоборот, малодушно надеялся, что тот не появится. Проходили дни, не нарушаемые чужим хриплым голосом, отхаркиванием, громкой вознёй на кухне. Вроде соседа в коммунальной квартире, думал Алик, хотя никогда в коммуналке не жил. А «сосед» уже входил, уверенно шёл к дивану, разливал водку. Говорить с ним было не о чем, и пить тоже не интересно. Не нужно пить с человеком, если он тебя раздражает, не нужно.

Леру Зеп тоже раздражал, только не так, как Алика, но она и видела его реже.

– Почему ты не можешь его прогнать, почему? Ну что за бесхарактерность, в самом деле! Посадил себе на шею... Хочешь, я сама скажу?

– Нет-нет, не вздумай... Не надо. Ну, приходит, иногда ночует. Он Афган прошёл!

И сказать больше было нечего. Вот уж почти год, как прижился Зеп, а всё же передышки были.

Несколько дней назад Лера позвонила:

– Не вздумай этому типу рассказывать про сестру!

Девчонка, бормотал он, закуривая над раковиной, берётся меня учить. Утренняя – лёгкая, вдохновенная – волна хмеля прошла, голова была тяжёлой, и брюзжал он без энтузиазма. Пытался завести себя, рассердиться, но не получалось. Афган тут ни при чём, а вот о Нике не надо было говорить. Он и не сказал бы, просто Зеп здесь торчал, когда дворничиха с Лилей появились. И Лиля сразу: вас искала сестра. Когда они ушли, приятели

закурили. Алик узнал по щелчку крышечки и короткому гудению пламени мамин «ронсон», его не спутаешь с пластмассовой дешёвкой. Мать его очень дорожила, не расставалась. Зять ухитряется где-то зажигалку заправлять, это сейчас нелегко – все перешли на одноразовые. Приятно было держать «ронсон» в ладони, гладкая прохладная округлость успокаивала.

– Это твои родители? – Зеп откашлялся.

– Да.

Спрашивал уже, всего-то два портрета. При матери был один, а после её смерти Алик отыскал отцовский, засунутый за секцию, и повесил.

– Сестра, я так понял, тоже есть?

Если понял, зачем спрашивать. Отвечать ещё глупее, но промолчать невежливо.

– Сестра... далеко.

– Понял.

В голосе звучала уязвлённость. Алик почувствовал себя виноватым за односложные,

вынужденные ответы, и от этого заговорил бурно, многословно, сам себя перебивая, как он ждал её, когда мать попала в больницу, но Ника не приехала и даже не позвонила, будто не родная мать, а...

Руки дрожали; сам он не смог закурить, и Зеп поднёс ему сигарету к губам, щёлкнул зажигалкой. Алик подавился дымом, как было с первой в жизни сигаретой, слёзы навернулись на глаза. Несколько глубоких затяжек – и поток упрёков иссяк, оставив стыд и недоумение: на чёрта завёлся, кто тянул за язык?

– На плите макароны, – донеслось из прихожей. Прошелестела ветровка, дважды хрюкнула запнувшаяся молния: зеп-зеп; приятель ругнулся. – Чао.

Можно было включить радио, приёмник в изголовье, но не хватало сил на простое движение. Думать о еде не хотелось, и слежавшаяся лепёшка остывших макарон останется в кастрюле. Протянул руку за зажигалкой, но не нашёл. Очень хотелось взять

её в ладонь. Он ощупал стол. Пальцы наткнулись на шершавую мятую газету, задели карандаш: он ожил и споро покатился, стукнулся об пол и затих, исчерпав энергию. Легко уколола вилка, лежавшая зубцами вверх. Под руку попалась пластиковая зажигалка – невесомая, игрушечная; дальше – пепельница с пыльно-шершавыми краями, батарейка. «Ронсона» не было. Под столом?.. За окном прогрохотала электричка – звук, оставшийся в памяти с детства, с дачных времён. Тогда же, в детстве, у него был игрушечный поезд с разноцветными вагончиками, и он ждал знакомого звука *рйкити-рэк, рйкити-рэк* там, где рельсы стыкуются – они составлялись из маленьких смешных лесенок, – однако поезд ехал медленно и почти бесшумно, то и дело спотыкаясь, когда рельсы-лесенки расползались. Он ложился на пол – если сощурить глаза, кажется, что поезд несётся так же быстро, как настоящая электричка, и в каждом вагончике сидят, едут куда-то крохотные человечки; сквозь полузакрытые

ресницы можно было даже рассмотреть их. «Не порти глаза, – сердилась мама, – это вредно!»

Вагончики – вся его пролетевшая, запинаяшаяся на стыке рельс, жизнь. Его глаза не видят того что вокруг, но закрытые или открытые, отчётливо помнят лица, краски и очертания. Главное – рассказать Нике про «вагончики», чтобы поняла и не осудила.

11

В пять утра франкфуртский аэропорт был тих и почти необитаем. Вероника проделала весь ритуал транзитного пассажира: нашла на электронном табло рейс на Хельсинки, почистила зубы и отправилась на поиски островка, где можно с комфортом пересидеть до девяти.

Она шла сквозь царство спящей красавицы: магазины Duty Free ещё закрыты, витрины светятся вполсилы; загончики для пассажиров с рядами стульев почти пусты; кое-где люди спят или скучают в ожидании. Молодая толстуха, клюя носом, кормила грудью младенца, сбоку привалился отец семейства. Вытянувшись на нескольких сиденьях, самозабвенно спал парень с прижатым к груди телефоном, у ног лежала толстая сарделька спортивной сумки: казалось, внутри тоже кто-то свернулся и спит. Ещё дальше неподвижно лежали, голова к голове, мусульманки, два

чёрных кокона с торчащими белыми кроссовками. Быстро и уверенно прошла группа в лётной форме, трое мужчин и две девушки. Когда поровнялись, стало видно, что одной из них, сухопарой и мускулистой, не меньше пятидесяти: искусственный свет беспощаден.

Вожделенный островок оказался баром. Чёрная стойка возвышалась напротив зеркальной стены, вдоль которой выстроились два ряда бутылок разных цветов и форм – настоящий и зеркальный двойник. Сверкал никелем кофейный автомат, а вокруг островка веером расположились столики. За одним застыла молчаливая пара: молодая женщина с опущенными глазами и мужчина, державший её за руку. Поодаль от них атлетического сложения парень неистово долбил клавиатуру компьютера, не глядя протягивая руку, чтобы глотнуть кофе. Бармен – обритая до блеска голова с яркими бликами ламп, чёрный костюм, в ухе серьга. С чашкой кофе (живая вода) и круассаном (наш насущный) Ника села за

столик и воткнула в розетку изголодавшийся телефон. Обоим необходимо было заправиться: в следующем самолёте предстоит замёрзшая булочка, каменный зелёный банан и снова кофе – невкусный, но крепкий.

Итак, впереди четыре часа до рейса, почти три – полёт, а потом полтора часа в ожидании последней пересадки на маленький самолёт. Возвращение. Возвращение домой, как она по привычке думала о Городе.

...который давно перестал быть домом. С каждым приездом Ника замечала, как он раз от разу меняется, отстраняясь от не нужной ему встречи. Так бывает, когда замечаешь в толпе знакомого и улыбаешься, ускоряя шаги, в то время как он отводит глаза и, поднеся к уху телефон, говорит что-то громко, деловито, напрягаясь лицом, чтобы не встретиться с твоим ищущим взглядом. Город отчуждался всё больше с каждым разом. Ника для него не более чем обыкновенный турист- муравей – вон их сколько, медленнодвигающихся по старой

брусчатке. Не помню, равнодушно отвечает Город на безмолвный вопрос, где мне вас всех узнать; а главное, зачем? Это же *ты* уехала, *ты* сделала свой выбор; как постелешь, так и поспишь, а на твоём нынешнем языке: *you made your bed, now lie in it*. Город отвечал ей шелестом листьев, которые ветер нёс вдоль тротуара, пеньем проводов над головой, капающей с крыш водой; он говорил негромко на своём языке, не проявляя ни малейшего интереса к ней.

Телефон ожил, вспух жирным шрифтом новых сообщений. Жалко, что брат не пользуется электронной почтой – по телефону оба то неловко замолкали, то начинали говорить одновременно. Голос Алика не изменился. Вероника пролистала в телефоне звонки: вот этот, две недели назад, был особенно непонятным. Он был взвинчен, орал: «Сестрёнка, как я рад!» – и говорил непрерывно, будто не слыша её.

«Я даже не проводил тебя, сестрёнка! Не знал, что вы уезжаете, но даже если б знал... Я в это время очутился в плохом месте, в неправильном месте. Не подумай, что в тюрьме, нет...»

Именно это Ника со страхом успела представить. И перед отъездом не смогла ему позвонить – обещал оставить телефон, но не оставил.

«Да где, господи?»

«В Афгане, сестрёнка! В самой гуще, в десантных войсках, прикинь? Вокруг пустыня, горячий песок и камни...»

«Но ты же...»

«...камни, раскалённый песок и камни, говорю. Самое страшное – камни: за любым они могли залечь, и страшно высунуть голову. Мой друг потерял каску. В смысле, шлем, и пришлось обвязать голову тряпьем...»

«Алька, я ничего не понимаю; давай при встрече, ладно?»

«При встрече само собой, со всеми подробностями, хоть они не для дамских ушей, честно говоря. Не могу дождаться. Ты с мужем прилетаешь?»

«Нет, одна».

«Когда высадились, нас было восемнадцать человек. Осталось двое. Главное – темно...»

«Ты о чём?»

«О том же, сестрёнка. Об Афгане. Как мы шли с полной выкладкой в темноте, не видно куда ставишь ногу. Темень – это самое страшное: можешь дотронуться до руки, до лица, а увидеть не можешь. Почти спишь на ходу, потом откроешь глаза – и вдруг ты дома, у себя в комнате, протягиваешь руку, включаешь лампу, но свет не зажигается, сплошная темнота, потому что спишь».

«Алик, Алинька... Мы наговоримся, ты всё расскажешь, а сейчас у вас ночь, постарайся заснуть».

«Я плохо сплю, Ника. Там, в Афгане, анаша помогала: затянешься пару раз – и летишь в сон, только рукой автомат держишь, иначе никак. И темнота совсем особенная, не как дома».

«Спи, у вас уже совсем поздно. Давай прощаться».

«Ты обиделась, что я не проводил, да? Мне Поля сказала. Но я не мог, я присягу давал – неразглашение, то-сё. Никто не должен был знать, куда нас отправляют».

Сказанное так озадачило, что Ника наставила на странице еженедельника кучу сокращений и вопросительных знаков. В тот четверг, восьмого августа, она заказала билет, и после непонятного разговора толкнулась мысль: не вылететь ли раньше? Включился рассудок: ну, матушка, столько лет не виделись – ещё две недели погоды не делают, нечего пороть горячку.

Аэропорт оживал. Из окна в отдалении был виден длинный застеклённый переход, похожий на аквариум – люди двигались в одном

направлении, как рыбы на нерест. Внизу ходили техники, заправлявшие огромный самолёт, и заряжающийся на столике телефон словно передразнивал процесс за окном.

Ника подошла к стойке, и бармен, понятливо кивнув, поставил новую чашку с радужной пенкой. Прихлёбывая бодрящую горечь, она вернулась к разговору с братом. «Андроны едут», сказала бы тётя Поля. Гармонию поверяют алгеброй; хватило калькулятора.

...Брата должны были призвать в армию в тысяча девятьсот семьдесят пятом, однако пронесло: сам же хвастался – мол, если бы не мать... Они тогда схлестнулись, мать и Полина, и тётка рассказывала, поминутно сморкаясь: «Наш отец на войне... неужели Лида забыла, как мы ждали писем от него? Разве он зря погиб?..» – остальное доплакивала в платок. Ссора вышла скверная; подробности тётка скрыла, но именно в тот день отдала Нике старые письма: «Сохрани».

Калькулятор подтвердил то, что Ника и без него знала. Брат уверяет, что был десантником в войне, которая в год его призыва ещё не началась – до неё оставалось четыре года. Мало того, он зачем-то потревожил вечный покой тётки – мол, она передала, как огорчилась Ника, – при том что отъезд состоялся спустя восемь лет после смерти Полины, «ограниченный контингент» из Афганистана был выведен два года назад. Значит, его пылкий монолог об Афгане – легенда с кощунственным привкусом, учитывая личную непричастность.

«Я понимаю Лиду, – у тётки покраснели и вспухли веки, – трудно представить, что сделают в армии с мальчиком, он болезненный. Если бы в ремонтники направили...». Мать явно понимала, чего опасаться, потому и приняла меры, задействовав непростую цепочку из мужа подруги, начальника паспортного стола, чей двоюродный брат якобы знал прецедент... Уже не помнился прецедент, и все звенья цепочки, соединив необходимые компоненты,

рассыпались за ненадобностью, уцелело только полезное знакомство с полковником, врачом военного госпиталя. «Такой обаятельный человек», – уверяла Полина; конфликт отступил на второй план. Пригодился подзабытый, давно отставленный дядя Витя – мать ненадолго открепила его от семейной упряжки, намекнув на старую дружбу (никогда в действительности не существовавшую), поскольку дядя Витя был однокашником обаятельного медицинского полковника. В результате кипучей деятельности у брата обнаружили какое-то редкое заболевание глаз, надёжно исключавшее службу в Советской Армии.

От бессонной ночи голова была тяжёлой. Поглощённый кофеин оказал удивительное воздействие: Вероника словно обрела невесомость, не шла – плыла. Табло сообщило: вылет по расписанию, что давало два с половиной часа на небольшую разминку. Манили яркие витрины; можно купить что-то из косметики. Племянница – ровесница Наташки,

промахнуться трудно. Подарков из Нью-Йорка (кроме фужеров Алику) Ника не везла – во-первых, не хотелось тащить багаж, а во-вторых, теперь всё можно купить в Городе – ещё одна причина не связываться с багажом.

Однако ложь «афганского монолога» не давала покоя. Ника часто наблюдала, как люди наивно привирают в надежде произвести впечатление, показаться значительней. В эмигрантской среде встречались доктора наук, которые неуверенно называли темы своих диссертаций («это, знаете, очень узкая область»), диссиденты, бряцавшие именами настоящих диссидентов, как скопившейся в карманах мелочью («мы, разумеется, были на ты» – здесь называлось имя), литераторы – авторы «нетленок», все как один писавшие в стол – и рукописи никогда тот стол не покидали, вращаясь в него... Язык не поворачивался задавать вопросы, чтобы не конфузить гения. Поначалу такое воспринималось всерьёз, но с годами выработалось более снисходительное

отношение: разве человек не имеет право на облагороженную версию собственной биографии, незатейливую легенду вроде косметики – приукрашиваем же мы себя, чтобы более гармонично вписаться в окружающую среду? Лёгкое передёргивание фактов, редактирование прошлого ради того, чтобы самоутвердиться в настоящем, вполне извинительно.

В таком случае ложь Алика простительна для посторонних, но с нею-то зачем? Чтобы казаться не тем, кто он есть, а кем-то другим, героем? Что-то здесь мешало; должна была быть настоящая причина, более простая. В Афгане, например, мог очутиться его друг. Алик упоминал о каком-то Жорке – не том ли, который живёт у них? В подробности брат не вдавался, а спрашивать она не решилась. Очевидно одно: вечный фантазёр, Алик примерил на себя чужой опыт – десант, пустыню, полную выкладку... Может, он пишет и пытается войти в образ, когда ставишь себя на

место героя; тогда и поселившийся приятель-«афганец» объясним. Простофиля Ватсон (именно Ватсоном она себя почувствовала) мог бы догадаться без калькулятора.

Брату всегда легко давались школьные сочинения – одно из них, написанное ко Дню Победы, чуть ли не полностью состояло из отрывков военных писем деда. Писал так же легко, как говорил – хорошо подвешенный язык идеально воплощался на письме. Подводили ошибки – «писал корова через ять», по выражению Полины. Ника, несмотря на безупречную грамотность, с трудом выдавливала из себя каждое предложение.

Никогда не знаешь, где тебя застанет откровение или утешительная гипотеза. В данном случае это оказался магазин “Christian Dior” – она стояла, бездумно уставившись в одинаковые цилиндрические флакончики. Армия готовых к бою пешек, идея для

шахматного дизайнера... Приветливая блондинка спросила: “May I help you?”

...Алик, худой и счастливый, светящийся радостью, стоял с цветами у собора. Кресты с купола были спилены, собор превратили в планетарий, чтобы в конце века снова сделать его собором. Он переминался с ноги на ногу, смотрел на часы. Гвоздики держал торчком. Обнялись и одновременно сделали шаг назад, чтобы лучше рассмотреть друг друга. Какой худой! Лицо изнурённое, но счастливое.

– Кто же так цветы держит, балда! Поломаешь. Опустит головками вниз.

Он ждал невесту.

– Знаешь, она удивительная! Никогда таких не видел. Послушай: Ма-ри-на... Правда, красиво?

Светящиеся глаза сказали всё.

Ника пригласила его с Мариной в гости: хочешь, прямо сейчас?..

Он опять посмотрел на часы.

– Мне нравится, что она опаздывает.

Улыбка до ушей. Легко принял приглашение: «Это идея, мы обязательно придём! Я ведь твоего Мишку – его ведь Мишей зовут? – так и не видел. Он ещё приходил с мамой знакомиться».

Так и сказал: «с мамой». Он не знал, что Мишка принадлежал к давно прошедшей эпохе. Ну и память у тебя, брат. Запомнил, оказывается.

Мишка Бортник и Вероника Подгурская подали заявление в загс в июне. Свадьбу наметили на декабрь. Одержимый любовью и своими певчими цикадами, Мишка писал диссертацию. Вдруг у него появилась идея: познакомиться с «твоей мамой».

– Зачем?

– А как иначе, ты ведь с моими родителями...

– Не надо. Я с нею не виделась с тех пор, как ушла жить к тётке.

– Я хочу понять...

– Я тебе всё расскажу. Не надо самодеятельности, пожалуйста.

Ника рассказала – он имел право знать, и знать от неё.

Был август. Они снимали комнату на взморье, договорились сесть на одну электричку. На электричку он опоздал – видимо, застрял в лаборатории. Появился почти в полночь, на лице чужая улыбка – растерянная, неподвижная.

– Вот... я познакомился с Лидией Донатовной.

– Зачем?..

Могла не спрашивать. Сколько лишних слов мы произносим, не подозревая, что они лишь стрекотание певчих цикад?

Мишка продолжал уже другим, окрепшим голосом. Да, решил и познакомился. Правильно

сделал, что сходил. Потому что на свадьбе мои родители будут, а твоя мама...

– На свадьбе её не будет. Или не будет меня.

– Ника, милая, что ты такое говоришь? Она страшно скучает по тебе. Женщина редкого обаяния!

Простодушный Мишка подробно описал встречу.

Женщина редкого обаяния встретила его гостеприимной улыбкой. «Вы прямо с работы, я вас покормлю». Кормиться он отказался, но будущая тёща так беспомощно развела красивыми руками, что уйти, не выпив кофе, было бы невежливо. Пожурила за дешёвые болгарские сигареты, протянула пачку “Kent” и терпеливо ждала, пока он хлопал себя по всем карманам в тщетном поиске спичек. Щёлкнула крохотной чёрной зажигалкой, пламя пыхнуло неожиданно мощной струйкой; закурила сама и протянула огнедышащего дракончика Мишке.

– Мы так непринуждённо разговаривали, будто тыщу лет знакомы. Она мечтает с тобой помириться. Что было, говорит, то прошло; мы взрослые люди...

Ника перебила:

– Она не уточнила, что именно было и прошло?

Мишка ответил уклончиво: «Это между вами. Я встречать не хочу».

Любовь слепа – или щедра, потому что прощаешь человеку любую глупость, и только потом, высвободившись из её уз, прозреваешь. «Я хотел как лучше», – повторял Мишка. Таким обычно достаётся больше всего. Познакомился – поговорил – утолил вполне понятное любопытство. Ничего не поменялось, если не считать растерянного выражения, которое застыло у него на лице.

Через несколько дней Мишкины родители отмечали серьёзную годовщину своей свадьбы, но за столом больше говорили о предстоящем декабре, перечисляли гостей и

немалочисленных родственников. Мишка, погружённый в своих цикад, возвращался поздно. Любовь, остановившееся мгновение – о таком может мечтать любая, а тут ещё довесок к этому счастью: белые туфли, купленные вечером в почти пустом магазине, без очереди и переплаты, с надписью “Made in Great Britain” на гладкой коробке – автограф английской феи.

Дачи опустели. Одно окно горело: Мишка дома.

Кивнул без улыбки, равнодушно мазнул взглядом по коробке: «Мы должны поговорить».

Оказалось, Мишка выложил на стол не все карты после встречи с *женщиной редкого обаяния*: несколько штук, в том числе козырную, утаил, *притырил* в рукаве и маялся, как неопытный шулер. И теперь, пока говорил, его лицо разглаживалось, недоумённость последних дней и растерянная улыбка таяли, будто недосказанные слова сковывали мышцы.

В окончательной редакции визит выглядел иначе. Так купюры при цитировании

меняют смысл высказывания, так полуправда становится ложью. Да, была радушная встреча, приглашение поужинать, заграничные сигареты и портативный дракончик в красивой руке; Лидия высказала заветное желание помириться с дочерью. Но последовало и продолжение: почти-тёща показала гостю квартиру – новой, «улучшенной планировки». Мишка завис у книжных полок: «Интересная библиотека...», – но хозяйка неожиданно спросила: «Вы всё-таки решили пожениться?». Мишка споткнулся о «всё-таки»; время замерло. Тихий ангел пролетел, и после отмеренной паузы Лидия протянула руку к портрету на стене: «Мой муж тоже был евреем». Мишка посмотрел на «тоже еврея»: маленькие глаза теснились к переносице, крупные уши оттопырены, словно портрет прислушивался к беседе, часть подбородка скрыта шарфом. Особых эмоций портрет не вызвал, однако прошедшее время вымогало сочувствие. Спросил, давно ли?.. Вопрос она не услышала. «Моя дочь –

антисемитка, – она горько покачала головой. –
Всю жизнь она ненавидела моего мужа. А ведь
он её воспитал...».

Надо было немедленно уйти. Или громко
возмутиться – и уйти, хлопнув дверью для
убедительности. Иначе получалось, что он
схавал её слова, принял за чистую монету.

Выбирая, как уйти поэффектнее, Мишка
снова оказался на кухне и курил чужие дорогие
сигареты, уставившись в керамическую
пепельницу, чтобы не смотреть в глаза будущей
тёще. В прихожей кротким, смиренным голосом
она пригласила «заходить ещё».

Рассказывая, он словно выздоравливал
от тяжёлой болезни. Сидел и привычно вертел в
руках авторучку – совсем прежний Мишка:
блестящие тёмно-кофейные глаза, почти
сросшиеся брови, нежный, но чётко очерченный
рот и мягкая каракулевая борода.

Возмущаться? Доказывать, отрицать?

Запальчиво брошенные слова «на свадьбе
её не будет – или не будет меня» сбылись: всё,

решительно всё сломалось, полетело в
тартарары, кроме английских туфель,
неведомым заморским ветром занесённых в
магазин.

И то правда: зачем в декабре белые
туфли?..

12

Сестра несколько раз его расспрашивала о семье. Алик отшучивался или коротко отвечал. Внуки? – конечно; святое дело. Вопросы не кончались. Кто кем работает, далеко ли живут... Она со своими видится часто: «Нью-Йорк – город для молодых».

Ты, наверное, часто видишь своих? Он отодвинул от уха телефон, ответить было нечего. Сказать, что давно никого и ничего *не видит*? Опять посыплются вопросы. Нужно было срочно переводить стрелки – этот поезд идёт не туда, дальше тупик, а ржавые разобранные рельсы поросли травой. «Жалко, что мы с тобой так много времени упустили – через что только пришлось пройти, сестрёнка! Кто вернулся, тот уже другой, и прежним не будет никогда». Дальше стало легче: всё свёл на Афган, тема безотказная. Теперь говорил он, а сестра потрясённо слушала. Алик охотно «вспоминал», увлекаясь собственным рассказом, и легко

вошёл в роль, неоднократно отрепетированную в беседах с новым приятелем – впрочем, уже не новым. Иногда становилось интересно, не подыгрывает ли ему Зеп? И воевал ли он? Любопытство вспыхивало и быстро гасло; главное, что Зеп его слушал.

Наутро после звонка Алик не сразу вспомнил, что наговорил. В холодильнике нашлось пиво, после второй банки голова начала проясняться. Правильно: вовремя сменил тему. Сестра свяжет одно с другим, его – с армией, ужаснётся и снова примется расспрашивать: что случилось, как?

...если свяжет, если вспомнит. И тут он спокойно ответит – хоть по телефону, хоть прямо здесь: Афган случился, сестрёнка, разве я тебе не говорил?.. Они помолчат вместе, как бывает в кино.

Забыл, когда в последний раз ходил в кино. Да, ложь; и что? Враньё, наглое враньё; но слово *ложь* звучит интеллигентней, не как вульгарное *враньё*. «В конце концов, –

рассуждала мать, – что такое искусство, если не ложь? Если искусство правдиво, оно перестаёт быть искусством. Людям нужна не правда, а правдоподобие, чтобы жизнь на сцене была похожа на их собственную, но выглядела бы лучше, чище, благороднее; тогда поверят. Театр – ладно, – она делала жест, словно смахивала что-то ненужное со стола. – Помнишь, мы на выставку ходили? Ты ещё удивлялся, почему “ребёночки такие разные”, а дурища экскурсовод объяснила: художники, мол, по-разному видят...»

Он был тогда первоклашкой и тот поход запомнил. Ника не пошла – наверное, пропадала до вечера у Инки. Алик мечтал скорее вырасти, стать таким же деловым и независимым, чтобы не обращать внимания на дядю Витю, из-за которого он поссорился с Вовкой.

Тот первый начал:

– У тебя новый батя? Ну, очкастый этот.

И никакой не батя, возмутился Алик, а мамин доктор. Папа уехал в командировку. Они

съезжали с маленькой горки, чёрная широкая ледяная дорожка была классно раскатана. Вовка катил впереди, расставив руки, и Алик ткнулся прямо ему в спину. Вовка поднялся и начал отряхивать снег.

– Ага, рассказывай; в командировку...
Бросил он вас, так и скажи.

Голос у него был очень довольный.

– Он приедет!

Губы замёрзли, слова вытолкнулись с трудом.

– Эх ты, кулёма! Сопли распустил...

Его называли губошлёпом, неумёхой, мешком. Он обиделся за *кулёму* – непонятное слово задело; обиделся, но не плакал, просто нос его всегда подводил, особенно на холоде.

Через две недели Алик поднялся на чердак (больше идти было некуда), где нашёл Вовку – тот ревел, сидя, как за занавесом, за чьим-то развешенным пододеяльником и вытирал им заплаканное лицо.

– Вали отсюда, – зло пробурчал Вовка.

Никуда он не «свалил», а потоптался и пристроился на корточках по другую сторону пододеяльника. Скоро хлюпали оба – нос опять подвёл Алика. Они помирились без слов, как настоящие чуваки.

Когда Алик перешёл в третий класс, тяжело заболела бабушка. Теперь тётя Поля не забирала его к себе. Ника то готовилась к контрольной, то к олимпиаде; после школы дома было скучно. Вечером, едва мама приходила с работы и жарила блинчики или картошку, появлялся дядя Витя. Торопливо дожевав, Алик уходил. Они с Вовкой и его верной Муськой слонялись по ближайшим улицам, а если шёл дождь или просто надоедало, забирались на чердак. Здесь стоял такой же холод, только без ветра, и можно было курить. Это Алику не нравилось, но все чуваки курят, и он мало-помалу привык. Каждый выкладывал свою добычу: Вовка *тырил* «батины» сигареты – скрюченные, плоские, с

высыпавшимся табаком; Алик приносил мамини – ровные, плотные, с оранжевым фильтром на конце. Каждая кража мучила паническим стыдом, обморочным ужасом, когда дрожащая рука нащупывала плотную пачку в кармане маминого пальто. Будь это дяди-Витин карман... Однако Противный не курил. Слабак.

– Я его ненавижу. – Вовка плюнул на окурочок и не попал. – Ненавижу, – повторил, сузив глаза.

В чердачных сумерках его веснушки стали тёмно-коричневыми. За вторую четверть он не получил ни одной двойки, на родительском собрании учительница похвалила его. В субботу, однако, папаша привычно расстегнул ремень; то же самое проделал и через неделю. На возмущённое «за что?!» коротко бросил: «Впрок». Не помогло заступничество матери – досталось обоим. И послушный Вовка впервые взбунтовался: лягнув отца, вырвался и метнулся к двери, на ходу подтягивая штаны. Крепкая рука перехватила его, вернула и снова сдёрнула

штаны. «Ты мне ещё спасибо скажешь», – пообещал батя, застёгивая ремень.

Если друг не показывался во дворе, Алик робко нажимал звонок их квартиры. Открывала Вовкина мама.

– Здравствуйте-Вова-выйдет? – выпаливал он, старательно выговаривая первое слово («чтоб я не слышала никаких “драссть”!» – учила мама). Стоял, опустив глаза на подол фланелевого халата или свои пыльные ботинки, только бы не встретиться с глазами женщины, которую бьют. И не понимал, почему она не даст ему сдачи, не такой уж великан Вовкин отец.

Она действительно была крупной, по лестнице поднималась тяжёлыми шагами. Перед тем как развесить выстиранное бельё, вынимала из сарая длинный серый кол и с силой втыкала его в землю, после чего натягивала верёвку. Крепкими руками встряхивала тяжёлые простыни и ловко, не давая коснуться земли, прищипливали их к

верёвке, после чего переставляла кол, и бельё с верёвкой вздёргивалось выше.

Да она ж его одним пальчиком поборет, одной левой, как хвастались мальчишки в классе, думал Алик, а сердцем ощущал: не поборет. Не потому что слабее мужа, а от страха. Боль от битья сильнее, чем от ушиба или падения, потому что вместе с синяками оставляет страх новых побоев, и страх поселяется надолго.

...солнечный свет заливал двор, а в небе летали белые паруса выстиранного белья. Когда слабел ветер, они опадали, разделяя две женские фигуры, каждая с тазом под мышкой. Долетали клочья скучного разговора:

- ...потушу с луком, чтобы мягонький был...
- ...у меня *под грудям* потеет...
- ...а мои не едят, если без мяса...
- ...дрожжи надо всё равно...
- ...меленько режешь укроп – и туда...

Мальчик за сараем не прячется, не подслушивает – он ищет гвоздь, гранёный, волшебный, потому что ключ опять куда-то задевался.

Алик тайком разглядывал Вовкиного мучителя, когда тот шёл по коридору: кепка, усики, пиджак и выцветшие галифе, но сапоги начищены. Обыкновенное, незапоминающееся лицо, ничего палаческого, ремень под пиджаком не виден. Он привозил на грузовике тощие занозистые дрова и распиливал их, усеивая снег жёлтыми пахучими опилками. Присаживался на перекур, пуская в небо скупой дымок, а потом сплёвывал мощным твёрдым плевком. Если не знать про Вовку и субботний ремень, то дядька как дядька: ходит на работу, возвращается домой к телевизору, деловито бросает «здорово» при встрече с соседями. Раз в неделю, с веником под мышкой и маленьким чемоданчиком в руке, «батя» ходил в баню –

ванну не признавал; Вовка топал рядом. Алику приходилось побывать с мамой в бане, когда чинили трубы. Там было скользко, душно и стыдно, голые тётки ругали маму, зачем она такого большого привела, хотя были и другие мальчики. Мамы тёрли их мочалками, поливали водой из тазов, снова намыливали, зажав для надёжности между коленками. Наверное, Вовкин отец тоже зажимал его в тиски волосатых ляжек, намыливал и тёр мочалкой, а потом они медленно шли домой, как самые обыкновенные папа с сыном, и веснушки на Вовкином лице выглядели бледными, полусмытыми. Через день-другой наступала суббота, «батя» задавал ему совсем другую баню, ловко и привычно зажав между одетыми в галифе ногами.

– Я его убью, – повторял Вовка, – гад он. Убежать бы, но как я Муську брошу?

...Давно позади, но не забыто, чердачно-дворовое детство с тайным курением. Алик с матерью жили на новой квартире. Друзья столкнулись на троллейбусной остановке; пожали руки, перекурили, зашли в рюмочную – эта новинка только-только появилась в городе. Вовка говорил окрепшим баском, охотно рассказывал о себе: семь классов окончил, в восьмой не пошёл: «Чего я там забыл?» Отслужил в армии, потом устроился на шофёрские курсы («батя помог») и теперь успешно крутил баранку в том же стройуправлении, что отец. Алик ощутил разочарование от неожиданного поворота сценария: режиссёром оказался человек в галифе, безжалостно поровший сына каждую неделю. Вовка же, мечтавший «убить гада», не только не взбунтовался, но похоже, действительно был благодарен «бате» за суровую науку, как и было сказано в сценарной заявке. На том чердаке, где веснушчатый мальчишка курил украденные сигареты, его

безысходная ненависть перелилась в Алика и застыла, как слёзы на лице товарища. Завидев приближающегося соседа, он сворачивал и прятался, чтобы не встречаться с ним взглядом, ибо всё, что он чувствовал, прожгло бы того насквозь.

– А помнишь, как мы на чердаке курили?

– Баловные были, – снисходительно пробасил Вовка.

Детский страх и ненависть к «бате» остались на старом чердаке. Нынешний Вовка жил с отцом в полном согласии.

Необъяснимо, но с закрытыми глазами всё виделось удивительно подробно и ярко. Коричневые веснушки на лице маленького Вовки, трикотажный джемпер, обтягивающий убедительные бицепсы Вовки взрослого, крохотная рюмка в его крупной руке. Стандартная детская чёлка сменилась аккуратным русым ёжиком.

– Ты сам-то как, женился после армии? –
Вовка щедро намазал сосиску горчицей. –
Живёшь там же?

Второй вопрос помог не отвечать на первый. Вовка заинтересованно слушал рассказы про новую квартиру; армия с женитьбой как-то забылись. Он же первым взглянул на часы – тяжёлый металлический браслет, циферблат повёрнут внутрь – и бросил озабоченно: «Мне пора». Дал номер телефона – записать было нечем, Алик обещал запомнить, – зачем-то похлопали друг друга по спинам прощаясь – они же настоящие чуваки – и с облегчением разошлись, чтобы не встречаться больше. Наверное, «батя» постарел, усы поседели. На улице он не узнал бы этого человека. Тогда, в детстве, как-то вечером Алик выбежал с мусорным ведром и обмер от ужаса: на него в темноте двигался Вовкин отец. Не на него, конечно, а к двери чёрного хода, чтобы войти в дом; когда мальчик уступил дорогу, тот сделал то же самое, и минуту-другую оба делали

одни и те же движения, всякий раз оказываясь друг против друга.

– Прочь с дороги, кому сказано! – раздражённо бросил «батя», но в дом не вошёл, а наблюдал, как Алик вываливал мусор в ящик. Мальчик не торопился, чтобы снова не столкнуться с этим человеком. Наконец спина скрылась, он облегчённо вздохнул и открыл дверь. Вовкин отец обернулся с лестничной площадки:

– Я тебе за такие штуки уши оборву, понял? Отвечай!

Сглотнув слюну, мальчик кивнул.

– То-то. Я не посмотрю, что культурные. Уши оборву, понял, и буду плитку вытирать.

...Алик долго не мог уснуть – ужасная картина не давала закрыть глаза. Крепко прижимая к себе Зайца, он видел крупную руку, занесённую над газовой плитой, с зажатым в ней окровавленным ухом. Обида – я же ничего ему не сделал! – выкипала долгими слезами, и не было больше страха перед Вовкиными

словами «я его убью». В ушах звучало презрительное: «Я не посмотрю, что культурные» и то, как дядька презрительно выплюнул это слово: культурные. Вовка на чердаке однажды тоже сказал про кого-то свысока: культурные.

...Сейчас не говорят *чувак*, говорят *чел* или *крутой пацан*, хотя *пацану* за пятьдесят. Его зять сказал про кого-то: «реальный перец». Они с Вовкой остались чуваками. Войти бы в старый дом и взбежать по лестнице на чердак – вдруг там ещё висит забытый пододеяльник, а за ним скорчился плачущий веснушчатый мальчик? И пройти мимо квартиры с болтающейся девяткой (когда хлопали дверью, она глухо звякала) – мимо, мимо – там уныло жилось и стало слишком много места, когда Ника перешла к тётке. «Не насовсем, Алька, ты не думай, – уверяла она, – вот сдам экзамены... Не куксись». Она как будто подлизывалась. Алик и не куксился, просто отворачивался, чтобы сестра не унюхала сигареты. Паста «Буратино»

помогала слабо, он с отвращением ополоснул рот едким зубным эликсиром и ссору застал уже на излёте.

– Почему я должна выслушивать его кретинские поучения? – Ника собирала большой рюкзак и не смотрела на маму.

– Дядя Витя желает тебе добра. – Мама закурила.

Теперь не почувствует, обрадовался Алик. Ну и гадость этот зубной эликсир.

– Он мне никакой не «дядя»!

– С тётушкиного голоса поёшь. Ну и семейка мне досталась! Что сестра, что дочь. Как неродные. Спасибо, сын со мной.

– Ему тоже будешь врать, как мне?.. Когда у меня будет своя жизнь, я Альку заберу!

– Никогда. Никогда – слышишь? – у тебя не будет своей жизни. Потому что тебя ни один мужчина не полюбит. *Ни-ко-гда.*

Бросившись в уборную, Алик заперся и заткнул уши пальцами. Как она страшно

растягивала и без того страшное слово «никогда», оно страшнее, чем «Ужгород». Хлопнула дверь – когда-нибудь девятка упадёт, – он два раза спустил воду и вышел.

Никина кровать была ровно застелена. На книжной полке, где раньше стояли её учебники, темнел пустой провал, и мама клала туда прочитанные газеты. Но сестра сдержала обещание: ушла не насовсем. Она забегала после школы, приносила его любимые «коровки» или «батончики», устраивала кофейные пиры, называла Алика Ватсоном, а слово «чувак» не любила.

Однажды вечером позвонила в дверь тётя Поля. Мама разговаривала с ней на кухне «толстым» голосом, Алик очень боялся, что они поссорятся насовсем. Она часто говорила, что «у Полины нет своей жизни», а теперь обещала Нике то же самое, со страшным словом «никогда». Когда он был ещё не чуваком, а маленьким мальчиком, то думал, будто тётя притворяется и живёт чужой жизнью, как

ведьма, погубившая Алёнушку, и недоумевал: ведьма была злая, а тётя Поля добрая. Потом догадался, что взрослые специально говорят непонятными словами, а на самом деле тётя всю жизнь посвятила бабушке Вере, так что на себя времени не осталось. А сейчас она уже старая.

Он заранее волновался – ведь если Ника заберёт его к себе, когда станет взрослая, то как же мама? Раньше Полина приводила его к бабушке, помогала с уроками. Теперь бабушка умерла, Ника живёт с тётей, обе поругались с мамой, а он даже Вовке не может об этом сказать. И не только из-за слова «культурные», а просто... в общем, не надо, и всё. Спрашивать у мамы не хотелось. Может быть, культурные – это кто не бьёт сына ремнём? *Уши оборву и буду плитку вытирать, понял.* Он вздрогнул.

И хоть бы противный дядя Витя больше не приходил.

Из кухни невнятно доносились отдельные слова – теперь обе говорили толстыми голосами, тётя Поля часто сморкалась.

...Откроешь глаза – тьма, словно сидишь в коробке. В прежние – «зрячие» – времена так случалось, когда вечером пропадало электричество. Мать чиркала спичкой и зажигала плиту. При голубом свете газа находили фонарик или свечки, оставшиеся после ёлки. Ненавидя запасы, Лидия всё покупала в единичном количестве: мыло, лампочки, носки, творог; исключения делала для дефицита вроде сигарет и кофе.

Он снова закрыл глаза. Во тьме возникали и пропадали знакомые лица, предметы. Всё когда-то виденное хранится глубоко внутри – хранится, но не похоронено: достаточно сосредоточиться, чтобы картинка выплыла из тьмы. Наверное, так и во сне, ведь глаза закрыты, мозг отключён, однако ухитряется

посылать тебе давно забытое – например, синие ботинки, которые он только что снял и ставит в шкафчик. Его картинка в садике – грибок, она нарисована на шкафчике. Мама вышивала грибочки на майках, трусах и лифчиках. В другой раз из темноты вставала Марина – невероятно красивая, в свадебном платье, лицо полускрыто фатой, а рядом какой-то длинноволосый пижон, исподлобья глядящий на себя сегодняшнего. Темнота раздвигалась ярким солнцем, однако оно не слепило глаза, как наяву, в «зрячей» жизни, зато высвечивало сверкающие струйки морской воды на крепких загорелых руках – это папа учит Алика плавать. «Тут неглубоко! – кричит он, – я держу тебя, работай ногами!» Папины ноги под водой выглядят изломанными, как макароны в кастрюле, вот-вот подогнутся, хотя сам он стоит ровно. Волна толкает Алика в спину, папа отпускает руки. Следующая волна только этого и ждала: накрывает его с головой, а потом с силой тащит за собой. Вода уже не только сверху, но и внутри – тяжёлая, солёная,

огромная. На твёрдом мокром песке мальчик кашляет и давится, в глотке пронзительный солёный вкус, он икает. «Эх ты, слабак», – укоризненно говорит папа.

Звучал его весёлый голос в редких телефонных разговорах, и Алик не мог побороть скованности, не умел отвечать на вопросы, которые считал дурацкими, когда слышал от других: «Ну, как ты живёшь?» – и долго стоял у телефона, сжимая потной рукой нетерпеливо плакающую трубку. Он учился во втором классе, когда папа неожиданно

предложил: «Я тебя в поход возьму, в горы. Готовься!» За этим его и застала мама, придя с работы. У раскрытого чемодана стоял Алик, решая непростую задачу: брать Зайца или оставить дома.

– Какой поход, какие горы? Он что, чокнулся?..

Сейчас она сказала бы: «шизанулся» или «крыша поехала» – мать любила щегольнуть модными словечками. Пятьдесят с лишним лет

назад она решила, что бывший муж «чокнулся». *Как бы то ни было* (один из её любимых оборотов), Алику сказала, что собираться раньше чем к лету *не имеет смысла* (тоже её выражение), но готовиться надо серьёзно – с тройкой по физкультуре ни о каком походе *не может быть и речи* (ещё одна козырная карта).

Хорошо, что папа оставил гирю и гантели. Гантели, правда, мама затолкала под шкаф, а гиря, похожая на чёрную куклу-неваляшку с толстой петлей вместо головы, должна помочь. Он с трудом обхватил толстую рукоятку, но чугунная громадина даже не сдвинулась с места. Папа легко поднимал её в воздух и почти бесшумно ставил на пол, только дышал громко и майка становилась мокрой. На тусклом, как нечищенный ботинок, боку гири стояла цифра 16 – может, это как в кино, «детям до шестнадцати» поднимать нельзя? После невероятных усилий ему удалось сдвинуть её с места – гиря качнулась и придавила ему ногу. На большом пальце растёкся фиолетовый

синяк. Эта же нога пострадала в прошлом году, когда Вовка учил его играть в ножижки. Брошенный Аликом нож не сразу вонзался в землю ловко, как у Вовки, но кидать ему понравилось. «Здóровско, да?» – Вовка нетерпеливо приплясывал рядом. Алик согласился: «Здóровско». Тщательно прицелился, когда подошла его очередь, метнул – и ножичек вонзился в ногу, чуть выше того места, где расходятся первые два пальца. Подвывая больше от страха, чем от боли, он пришёл домой (самое трудное было подняться по лестнице, опираясь на пятку раненой ноги), где Ника промыла рану и залила йодом. Заживало медленно. Матери ничего не сказали.

...как и про синяк от гири. Физкультура была его проклятием, исправить тройку не получалось. По команде: «напра-ву!» или «нале-ву!» он редко угадывал направление и беспомощно вертелся то в одну, то в другую сторону. «В какой руке ты держишь ложку, Михайлец?» – спрашивал учитель, и ребята

смеялись. Ни шведская стенка, ни брусья никогда не интересовали мальчика, плохо отличавшего «право» от «лево», но теперь он готовился к походу. Нужно научиться так же легко карабкаться по деревянным перекладинам, как Петька Дроздов или рыженькая Любка, ведь даже девчонки забираются, некоторые даже подтягивались. Оставшись после уроков, зашёл в спортивный зал и как был, в школьной форме, стал карабкаться от одной перекладины к другой. И ничего страшного, приговаривал тихонько, и очень даже здóровско. Пиджачок мешал, он попробовал его расстегнуть и снять, но одна рука не справлялась, а второй оказалось мало, чтобы удержаться... Алик отходил от бесславного восхождения на матах, которые кто-то предусмотрительно положил внизу. Когда съезжал, расшиб нос, и пришёл домой взлохмаченный, в перемазанном кровью костюмчике, и долго замывал пятна.

Вовке, конечно, рассказал про поход – не потому что считал себя готовым, а чтобы тот не говорил, будто папа их бросил. Тот хмыкнул и не ответил – стирал очередную двойку. Подготовка к походу затягивалась. Мама задвинула чемодан под кровать. Алик уже положил в него карманный фонарик и шерстяные носки. Положил бы и любимый пенал – мало ли, вдруг понадобятся карандаши, – но пока пенал лежал в портфеле. На уроках физкультуры выучил повороты направо и налево, шведской стенки побаивался. Как-то задержался с переодеванием (искал носок), и в зал ввалилось трое старшеклассников. «Эй, салага! – обрадовался долговязый, – канай сюда, мастером спорта сделаю». Он обхватил Алика поперёк живота и приподнял: «Хватайся, ну!..» Когда тот ухватился за брусья, долговязый засмеялся: «Наоборот, дурик, ты же не за перила держишься. Руки переверни, ну!» Второй показал, как, и счастливый Алик повис между двух отполированных жердей, стараясь не

смотреть вниз. В это время раздался звонок, и мальчики побежали к двери. Долговязый обернулся и помахал рукой. Снова помогли маты; на этот раз обошлось без кровопролития.

К фонарику в чемодане прибавилась книжка «Остров сокровищ» – вдруг они с папой найдут клад? – и прошлогодняя панамка.

На последнем уроке чтения ничего не читали, зато учительница спрашивала, что они будут делать летом. Одни собирались в деревню, другие на дачу. Неожиданно для самого себя Алик поднял руку: «Мы с папой идём в поход». Учительница безразлично кивнула. «Хорошо. Ребята, в новом учебном году вы расскажете, кто как провёл лето». Мучила тройка по физкультуре в табеле. Всё равно зря Вовка смеётся, папа же обещал.

Мама была дома и складывала в стопку его летние вещи.

– Папа звонил? – обрадовался мальчик.

Оказалось, его отправляли в какой-то детский санаторий. Как объяснила мама, «дядя

Витя с трудом выбил путёвку». Сразу представилось, как противный дядя Витя выбивает из чьих-то из рук путёвку, как мяч.

– Не ной! У меня твой поход в печёнках сидит, – прикрикнула, завидев у него под носом каплю. – Там и насморк подлечат, а то круглый год в соплях путаешься.

Болезнь он часто. Насморк тянулся и тянулся, по-настоящему не проходил, а затаивался где-то в глубине, поджидая следующую простуду, чтобы снова ожить.

– Я кому сказала, не реви! Возьми книжку, вдруг там не будет библиотеки.

Санаторий находился на взморье неподалеку от той дачи, где они – папа, мама, Ника и нянька Маня – жили. Было это давно, лет сто назад. Из окна санатория видна была знакомая улица. Алик поворачивал голову и долго смотрел: не выйдет ли Маня, припадая на ногу в уродливом ботинке.

Насморк в санатории лечили каким-то пыточным способом: вставляли в ноздри

длинные спицы с тампонами, пропитанными едким лекарством, и слёзы текли сами по себе. Зато он хорошо делал зарядку и не путал «право» и «лево». Всем детям делали массаж, и лёжа на жёсткой кушетке, Алик мечтал, как они с папой отправятся в горы, будут ночевать в палатке и готовить еду на костре. Через месяц мама забрала его домой.

Ника ещё не вернулась из спортивного лагеря. Вовка уехал на всё лето. Алик складывал в освободившийся чемодан нужные для похода вещи. Зайца всё же решил оставить.

– Алик.

Он не заметил, как мама подошла.

– Алик, папы больше нет.

Услышал, но осознать не умел. Стоял, прижимая к себе Зайца и переводя недоумённый взгляд с мамы на чемодан.

– Он... погиб.

И поспешно добавила:

– В походе. В горах.

И поворошила ему волосы.

– Стричься тебе пора.

В тот день его поезд с игрушечными
вагончиками впервые накренился.

В девятом классе Алик ничем не напоминал пухлого флегматичного малыша с ириской за щекой. Тёплым весенним днём Ника встретила его в центре города, неподалёку от загса, где не довелось появиться в прошлом декабре. Брат шёл в обнимку с массивной низкорослой девицей, она обнимала его за талию. Длинная рука Алика непринуждённо лежала ниже пояса спутницы и время от времени поглаживала ягодицы. От краткой процедуры знакомства сохранилось имя – Зоя: длинные немытые волосы, самострочные джинсы и просторная блуза с криво вышитой буквой «Н», а на плече висела полотняная торба. Зоя независимо смотрела в сторону. Алик – высокий, похожий на индейца узким лицом и тёмными глазами, переводил взгляд с подруги на сестру. Беспощадные гормональные прыщи напомнили вдруг о его детском диатезе. Сейчас перед ней стоял, переминаясь с ноги на ногу,

высокий подросток и, нимало не смущаясь, гладил задницу малосимпатичной девицы. Оставалось надеяться, что Зоино вмешательство изведёт прыщи на корню.

На вопрос о выпускных экзаменах Алик снисходительно улыбнулся; ни продолжения, ни объяснения не последовало. Он вытащил мятую сигарету, закурил и, не выпуская дым, уставился в небо; передал сигарету девушке. Зоя тоже вдохнула дым и замерла. Что за дрянь он курит, удивилась Ника, но сказала другое:

– Ты бы предложил девушке другую сигарету.

– Нам хватит одной... пока. Да, Зоя?

В знак согласия та встряхнула волосами. На пухлой руке, бережно державшей сигарету, шариковой ручкой были нарисованы цветы. Всё же не татуировка. Разговора не получалось. Зоя не вмешивалась, но мешала своим присутствием, словно мебель в проходе.

Как часто случается, Ника увидела брата через несколько дней. Она направлялась в кафе

и на углу столкнулась с Аликом, выходящим из аптеки.

– Ты заболел?

Он помотал головой:

– Нет, просто насморк.

Ох, бедолага, сколько он в детстве намучился... В кафе брат ел с большим аппетитом, охотно взял с Никиной тарелки половину шницеля. Потом сидели в парке, он закурил.

– Ты без фильтра куришь? – Ника покосилась на вялую сигарету.

Замявшись, он пробормотал:

– Не хочу брать у неё деньги.

Теперь, когда рядом не было Зои, стало можно задать самые простые вопросы. Брат отвечал спокойно, расслабленно, почти весело. Никакие экзамены сдавать он не собирается, не всем же быть отличниками. Плевал он на школу, плевал на мать. *Она* в курсе, да. И вообще он

собирается посвятить жизнь музыке. На гитаре; а что?

Не говорил – ронял слова небрежно, с вызовом. Она растерялась.

– Играй хоть на табуретке. Гитара гитарой, но ты загремишь в армию.

– Никуда я не загремлю, ни в какую армию. Я пацифист!

Он повернулся: на спине куртки стал виден нарисованный от руки знак.

– А как же другие? Наш дед? Он воевал не потому что хотел, а потому что иначе было нельзя.

– Раз дед воевал, так мне что, на его портрет молиться? Хватит, что Полина с его письмами носится, прямо цитатник Мао Цзедуна, но при чём тут я?! Он воевал, потому что шла война. Сейчас никакой войны нет.

– А твои друзья, а ребята из класса?

– Ребята из класса мне не друзья. Мои друзья – такие же, как я.

Как Зоя, подумала Ника.

– Какие, пацифисты?

– Мы хиппи.

...Давний этот разговор вспомнился много позже, на излёте века, в Нью-Йорке, когда Валерка, придя из школы, задал вопрос:

– Ма-ам! Ты в шестидесятые годы молодая была?

Сын был сильно возбуждён.

– И ты носила расклешённые джинсы?

Призналась, что – нет, не носила, и не только расклешённые, но и вообще никакие.

– Почему?!

– У меня не было джинсов.

Дети приехали в Америку подростками – из дефицита самого насущного, от еды до нижнего белья, в американское изобилие; любой киоск представлялся пещерой Аладдина, ходили с открытыми ртами. Как и взрослые, впрочем. Однако плохое легко забывается.

Переварив информацию, Валерка продолжал:

– Окей... джинсов не было. Но ты была хиппи?

– Нет.

Он озадаченно помолчал, потом усомнился:

– Но ведь это были шестидесятые?.. И ты, молодая, не была хиппи?! Но марихуану ты курила?

Очень трудно было не засмеяться.

– Нет, не курила.

Валерка ничего не понимал и ждал объяснения.

– Ты помнишь, как тебя в третьем классе принимали в пионеры, ты носил галстук? А лет за двадцать до этого меня приняли в комсомол. Нет-нет, никакого галстука; но на школьной форме носили комсомольский значок, он у меня где-то сохранился...

Гораздо труднее было объяснить ему разницу между американскими хиппи (Валерка знал о них больше, чем она) и нестриженными советскими подростками, к которым когда-то гордо примкнул её брат.

В начале семидесятых Ника ничего толком о хиппи не знала. Когда говорили, что кто-то *хиппует*, в воображении возникало расхлябанное существо невнятного пола, прочно занавешенное от мира длинными волосами. Никто из одноклассников или друзей по университету не соприкасался с миром хиппи и не пробовал проникнуть в него: другие интересы, другие цели в жизни. В прессу проникала тщательно отфильтрованная информация о «детях цветов» загнивающего Запада, в ней хиппи представляли неким растительным планктоном или наркоманами, погрязшими в свальном грехе.

...Мимо табло проехал громоздкий чемодан на колёсиках, ведóмый щуплым субъектом. Он повторял направо и налево «Ich bitte Sie...». Против рейса на Хельсинки появилось слово «откладывается». Двое молодых людей корпоративного вида – тёмные костюмы, аккуратные стрижки, компьютерные сумки на плече – спешили к стойке «Information», за ними потянулись другие пассажиры, с одинаково удивлёнными лицами. «Множественные грозы», однообразно повторяла блондинка за стойкой.

Грозы, хоть и множественные, быстро пройдут, и всех ускоренным порядком затолкают в застоявшийся самолёт, как пастух загоняет овец на закате. Ника прилетит с небольшим опозданием. Корпоративные юноши синхронно поднесли телефоны к ушам. И правда, надо брату позвонить. Она сунула руку в сумку.

Телефона не было.

Спокойно. Это не Казанский вокзал; да и кому сейчас нужно связываться с чужим телефоном, если ты не хакер – у каждого в руке свой собственный. Проверила все карманы, перерыла сумку, стараясь не задеть упаковку с бокалами. Кошелёк – билет – паспорт. Всё на месте, кроме телефона. Стоп: зарядки тоже нет. Бар?..

Торопливый путь назад к приветливому кофейному островку (найдёт ли, после бессонной ночи?) оказался длинным и запутанным. Приходилось лавировать в толпе, бережно прижимая сумку к боку. Вот он! Сверкает смуглая обритая голова, поблескивает серьга в ухе. Все столики густо засижены, не то что в пять утра. Ника нетерпеливо дождалась своей очереди. Не дослушав объяснения, бармен кивнул и достал из-под прилавка телефон, обмотанный проводом: ваш? Улыбнулся: бывает.

Ещё как бывает – и случилось один раз, это был простенький телефон-раскладушка,

исправно выполнявший единственную по тем временам функцию – звонить и принимать звонки. Как и где потерялся? Всё разъяснилось, когда дочке позвонил незнакомый мужчина: 'Hi, is this *Na-ta-shka?*..' – старательно выговорил. Нашёл оброненный телефон и позвонил по последнему обозначившемуся номеру... Когда Ника приехала, симпатичный парень отдал ей пропажу.

Адреналин ещё подержит какое-то время, реакция начнётся потом. «Все живы, все целы, что ещё надо?» – сказала бы тётка Поля. Надо найти спокойное место, сесть и глубоко подышать, снять стресс перед двумя полётами. Транзитная жизнь порождает ощущение, словно ты проторчал в аэропорту не четыре часа, а несколько дней, и ты обречён провести здесь остаток жизни: смешаться с толпой и двигаться в ней, довольствоваться скверной едой, кое-как и умываться в одинаковых туалетах и спать урывками с телефоном в руке на жёстких сиденьях.

Она дважды набирала номер, Алик не отвечал. Оставила запись, что рейс откладывается.

В несколько глотков жадно выпила бутылку невероятно вкусной воды. Хватало времени на полноценный завтрак и мысленную репетицию встречи, в который раз. Алик будет задавать вопросы, которые задавал и раньше, но живой разговор исключает недомолвки. Надо говорить обо всём открытым текстом и без купюр.

...Ему было восемь, он готовился к походу: расспрашивал о горах, выпросил у Ники старый школьный атлас и совал в чемодан то одно, то другое, когда мать внезапно отправила его в санаторий. Тётка, в свою очередь, добыла путёвку для Ники – не в санаторий, а в спортивный лагерь, хотя та терпеть не могла спорт. Лагерь оказался спортивным очень относительно, между соснами вразвалку ходили

взрослые загорелые парни со свистками на шее, играли в баскетбол и время от времени устраивали разные соревнования. Помогла дачная практика в настольном теннисе. Ника совсем было решила влюбиться в тренера, но не успела: смена кончилась. Она вернулась домой с тяжёлым рюкзаком. Алик был один.

– Алька, папа погиб.

Она узнала новость от Полины. Брат молчал и вдруг спросил:

– А почему ты не плачешь? Теперь мама будет жениться с дядей Витей?

Из двух вопросов Ника выбрала более безопасный и объяснила, что у дяди Вити есть жена, и никто ни на ком жениться не собирается.

– Точно?

– Точно.

От второго вопроса сбежала в ванную – слишком много он тащил за собой такого, что братишке знать опасно; хватит, что знает она. Знают и другие, но для него мать сочинила удобную ложь, им же самим подсказанную:

погиб в горах, в опасном походе. Возможно, мать и ей скормила бы эту легенду, если бы не *история вопроса*.

...Был обыкновенный день, она вернулась из школы. Разочарование – родители дома. Мать тут же захлопнула дверь кабинета, но всё равно доносились громкие сердитые голоса. Что-то лязгнуло и стукнуло об пол. Уезжает, поняла Ника. Лучше бы с Инкой в кино пошла, подумала с досадой, и в это время папа гаркнул:

– Что? А то!.. Подружка твоя, Ленка, мне <...> сосала.

Распахнулась дверь. Отец прошёл в прихожую – не с портфелем, а с чемоданом.

– Очень мило. Слышала? – Мать кивнула в сторону хлопнувшей двери.

Лучше бы не слышала.

Каждое слово имело смысл, но вместе складываться отказывались. Зачем он... про тётю Лену? В то же время внутри зарождался и

нарастал тоскливый ужас, что *такое* может оказаться гадкой и уродливой правдой. Что-то похожее Ника испытала, когда дачная подружка поделилась с ней тайной зачатия, а она рассказала братишке.

День продолжался как ни в чём не бывало. Тётя Поля, откуда-то взявшаяся, привела Алика из садика, потом они с мамой разговаривали в кабинете. Пили чай из новых чашек – белых, с разноцветными горохами по всей поверхности. Тётка купила торт, хотя никакого праздника не было. Брат оторвался от книжки, когда мама сказала: «Папа не вернётся». Вечером, уже лёжа в кровати, он спросил шёпотом: «Это точно?». Ника притворилась, что спит. Как мама объяснила долгое отсутствие, а затем окончательное исчезновение из их жизни тёти Лены, Ника не знала. Временами очень хотелось увидеть весёлую парикмахершу, но как смотреть на неё после тех слов?..

Наступили зимние каникулы. Ника торчала дома.

– Можешь делать уроки здесь, – мама кивнула на письменный стол. – Или выкинем эту рухлядь к чёртовой матери?

Забыла, что каникулы?

– Почему у нас разные фамилии? – невпопад спросила Ника. В начале новой четверти придётся заполнять надоевшую анкету.

Если б эти дни не были такими тревожными и тоскливыми, если бы не то, что случилось, она бы не ответила.

– Мы с папой не сразу оформили отношения... в общем, были сложности.

Мать придвинула пепельницу к себе и закурила.

– Сергей собирался тебя удочерить.

И сразу возникла комната на Второй вагонной, скандальная Машка и папа,

взявшийся неизвестно откуда. Значит, Людка сказала правду?..

Вот почему она не Михайлец.

– Только не говори, что для тебя это новость. Наверняка тётушка давно просветила. Раздражённо отбросив плед, она порылась в шкафу и протянула небольшую фотографию.

– Вот твой отец.

Решительное скуластое мужское лицо, на обороте карандашная надпись: «1949, конец».

– Оставь себе, – мать равнодушно махнула рукой.

В течение нескольких дней Вероника потеряла псевдоотца и обрела старый бумажный оттиск настоящего.

Михайлец – машинка для стрижки волос, помазок и бритва, гиря, мировая революция, деление в столбик. Ужгород. Оттопыренные уши. Алик, которого он подкидывал к потолку. Справочник по бухгалтерскому учёту, шахматы в деревянном гробу на крючке и вот эти,

«Нервные расстройства» и «Пособие для следователей» на почти опустевшей полке.

Держа фотокарточку в руках, она показала на полку:

– Книги забыл.

Мать коротко бросила:

– Это мои книги.

И отвернулась к стене. Ника сунула фотографию в портфель. Всё изменилось: письменный стол превратился в «рухлядь», непонятные книги принадлежали матери; что же осталось от бывшего *папы*? Запах одеколона выветрился.

Далеко отодвинулся тот апрельский полдень четыре года назад, когда она вернулась из больницы, мама повернула ключ, и звук открываемой двери наполнил сердце счастьем. Нигде не бывает так хорошо, как дома! В прихожей висит мамино зимнее пальто, из рукава Аликовой шубки торчат варежки на резинке; на раковине новый жёлтый кирпичик мыла, от которого приятно пахнет хвоей. Всё как

три месяца назад: открытая коробочка с мятным холодом зубного порошка, духи «Пиковая дама», кем-то подаренные матери, но не полюбившиеся; пудра. Мама называет её «рашель», и это звучит намного таинственней, чем обыкновенное слово «пудра». На полке, где обычно помазок и бритва, пусто – папа снова в командировке, куда увёз и свой пульверизатор, Алик называет его *пшикалкой*. Когда в пшикалке кончается одеколон, папа открывает пупырчатый флакон, переливает содержимое в пульверизатор, и по квартире разливается свежий горьковатый запах.

Привычные вещи, так не похожие на скудную больничную обстановку: кресло, стол под скатертью с бахромой – *кому сказано, перестань портить вещь*, если Ника плела косички из пышных кистей, – тарелка с надкусанным бутербродом, где твёрдый залоснившийся сыр торчал, как фанера, – со всеми хотелось поздороваться, коснуться рукой. Ещё хотелось позвонить Инке, но мама говорила

по телефону, и Ника нечаянно заснула на кушетке, прижавшись щекой к вышитой подушке, до самого вечера. Проспала бы дольше, но помешал брат. Он вернулся из садика и сначала терпеливо ждал, когда Ника проснётся, но не выдержал и начал моститься рядом. От Алика пахло детским чистым теплом.

– Ты больше не уйдёшь в больницу? – жалобно спросил Алик.

– А ты скучал?

Он кивнул.

– Ага, скучал, а не пришёл.

– Мама не взяла. В твоей больнице *карантина*.

– Карантин, а не *карантина*.

– Не уходи больше, ладно?..

Больница сменилась школой. Пятый класс, вторая смена, чернильница-непроливашка, воткнутая в специальную дырку на каждой парте. Маленький колодец с засохшими пятнами чернил по краям – они

тускнеют, отсвечивая то изумрудом, то бронзой, как навозные жуки. Встряхнёшь её как следует, и непроливашка выплюнет россыпь фиолетовых клякс, как тогда на уроке ботаники. Кляксы высыхали, переливаясь, а Борька Лопухов у доски рассказывал о достижениях Мичурина.

– Иван Владимирович Мичурин... – Лопух остановился. – Иван Владимирович Мичурин...

– Дальше, Лопухов.

– ...Мичурин, он... Он был очень близок к народу.

Ботаничка повернула голову.

– Ты учил?

Лопух оскорблённо замолк.

Анна Львовна была самой безвредной училкой в школе.

– Раз учил, расскажи о достижениях Мичурина.

Она подошла к окну, поправила очки. Борька чутко прислушивался к подсказкам.

– Продолжай, Лопухов.
– Он... Мичурин, значит, делал эск... икс... опыты, в общем, делал. С растениями.

– Не подсказывайте, он сам скажет, – училка ободряюще кивнула Борьке. – Да; так какие же эксперименты Мичурин делал с растениями?

– Прибивал, – с готовностью отозвался Лопух. – Он их это... прибивал, в общем.

К счастью, ботаничка была глуховата. Под вспыхнувший смех она бросила Лопуху: «Продолжай». Несколько человек шептали Борьке: «Скрещивал... скрещивал», а кто-то показывал сцепленные пальцы, но в это время в дверь просунула голову завуч:

– Анна Львовна, соберите анкеты, только ваши не сдали.

Ботаничка была классным руководителем пятого «А». Счастливый Лопух был отпущен на место, Аннушка раздала чистые листочки.

– Пишите: фамилия, имя, национальность, адрес, имена родителей, место работы.

Все с удовольствием зашумели. Училка шла между рядами парт, терпеливо поясняя:

- Пиши: домохозяйка.
- Старый адрес не надо – пиши новый, где живёшь.
- Обе национальности, конечно.
- Не все сразу! Поднимите руки, что непонятно.

Ника быстро заполняла листок. Подгурская Вероника, ул. Героев Революции, № 75, кв. 9... Мать, Михайлец Лидия, секретарь в КБ; отец, Михайлец Сергей, инженер-экономист... И тут она чуть не посадила кляксу – не писать же место работы «командировка» или «Ужгород», хотя инженер-экономист Михайлец именно там работал. Время от времени телефон длинно и часто звонил, и мама, захлопнув дверь, говорила громко и раздражённо.

Он ездил не только в Ужгород, но самые частые и долгие командировки приходились именно на этот город со строгим названием: уж я тебя!.. Скоро Ника привыкла к змеиному

названию, да ведь уж – змея безобидная. Даже полезная: ловит мышей. Город Ужгород, наверное, стоит на горе, по склонам шныряют мыши, пытаюсь добраться до вершины, но ужи не дремлют – охотятся день и ночь.

Кто читал эти анкеты, зачем их заполняли каждый год? Аннушка собрала листочки, заметила: «Тебе надо подтянуться по математике, Подгурская», – и не обратила внимания, что Михайлец Сергей, инженер-экономист, остался в анкете без работы.

Михайлец Сергей, в бытность свою *папой*, взялся подтягивать её по математике.

– Включи мозги! – орал он. – Это же элементарно – деление в столбик!

Он так разозлился, что забыл о мировой революции. Яростно отбрасывая листок за листком, он яростно вдавливал карандаш в листок, громоздя цифры. Приказ «включить мозги» вызвал у Ники противоположную реакцию: мозги отказывались включаться, замерзали, немели, как немеют на морозе ноги,

когда долго ждёшь троллейбус. Они не отмирали, но мысли в голове были совсем посторонние: папины усы похожи на дёрн, такой аккуратный квадрат над губой, которая только подразумевается – её не видно.

– В остатке тринадцать; проверяем.

Это он проверял. Ника обречённо стояла рядом.

...осенью дёрн коричневый, а сейчас яркий, зелёный. Усы темнее волос. Эта книга сильно наклонилась и сейчас упадёт, а другие повалятся на неё.

– За что тебе пятёрки ставили?! Ты ни черта не понимаешь. Идиотка!

Деление в столбик, с остатком и без, она легко усвоила, оставшись после урока с математичкой. Та не называла её идиоткой, не заставляла «включать мозги», зная, что Ника пропустила три месяца.

...Воспоминание о Михайлеце держится дольше чем запах его одеколona. Даже сюда, во франкфуртский аэропорт, проникло. Дома в коробке лежат школьные фотографии, недавно она их рассматривала. Борька Лопухов сидит за одной партой с отличницей Зиной – светлая коса, кружевной воротничок, серьёзное личико. Зина прижимиста, списывать не даёт и принципиально не подсказывает; занимается музыкой и коллекционирует фотографии артистов. А Лопух влюблён по уши, на то он и Лопух. Его вызвали на уроке литературы – исправить двойку в конце четверти.

– Ты, Лопухов. Кто написал «Муму»?

Борька скашивал глаза то вправо, то влево, но училка бдила зорко. Наконец его осенило:

– Герасим!

Обиднее всех кудахтала, заливаясь смехом, Зина. Училка озадаченно спросила:

– Почему ты так решил?

И Лопушок откровенно ответил:

– Так он же не мог говорить!

...Гудки, гудки. Телефон не отвечал. Рейс откладывался. Множились и без того множественные грозы, хотелось спать.

Алик повернул голову к стене и в очередной раз удивился: у тела своя логика, ему дела нет, что не видишь портреты. Да в этом и не было нужды – лица прочно отпечатались в памяти.

После гибели отца мать увеличила его фотографию. Глаза с портрета смотрели недовольно, уши казались оттопыренными сильнее, чем при жизни, неаккуратным тёмным мазком вышли усы. Чёрный прямоугольник рамы отделил отца от всего вокруг – его не было не только в квартире и городе, но и в этом мире. Когда не стало матери, Алик заказал её портрет, благо снимков сохранилось много – фотографироваться она любила; рамку заказал такую же, чёрную.

Мама не плакала, получив скорбную весть. Он тоже сдерживал слёзы – чуваки не плачут – и всё же край пододеяльника у лица

намокал. Я не плакал, убеждал он себя, *само плакалось*.

Дядя Витя теперь приходил реже, а тётка чаще. Мать раздражали её появления, раздражали полезные недосоленные супы, которые та приносила; бесила хозяйственная суета, желание навести порядок: вымыть раковину, подмести пол... Мать не скрывала раздражения: *да перестань ты суетиться!* Сестра никак не реагировала на замечания, отчего досада Лидии становилась только сильнее.

– Мне надоела твоя благотворительность, я тебе не мама! – закричала она как-то прямо в прихожей, открыв тёте Поле дверь.

Алик был уверен, что Полина обидится и уйдёт, но та просто обняла маму за плечи.

– Лидуша, сегодня папин день рождения...

Поставили чайник и забыли про него; заваренный чай перестоялся, поэтому заварили снова. Чашки сдвинули на край стола, забытые пряники лежали в глубокой тарелке, мать и тётка сидели рядом, перебирая старые листки.

Письма шли не по порядку – начинали с того, которое лежало сверху. Тётя Поля читала негромко, с ненавязчивой выразительностью, как она читала всегда, и Алик узнавал целые фразы, хотя для него всё слышанное давно слилось в одно большое письмо.

«12/XI/- 41 г.

Здравствуй, милая Лидуся!

Сегодня пользуюсь свободным временем, пишу тебе коротенькое письмецо.

Видимо, ты крепко обо мне соскучилась, это я заключаю из того, что очень часто вижу тебя во сне. Однако несмотря на то что сны бывают не всегда спокойные и принимая во внимание местную обстановку, всё же часто вижу во сне, как мы сидим на веранде, вы пьёте молоко...

А завтра я получаю жалованье. Мне некуда девать эти деньги, поэтому я завтра же отправлю перевод маме, да у меня ещё немного осталось с прошлой получки. Пусть на эти деньги мама купит вам мёд, какао, сахар, масло... и пусть ежедневно

берёт вам молока, чтобы вы не чувствовали лишения войны, и»

– Какао... масло... – медленно повторила мама.

– Что «и», тётя Поля, что «и»? – нетерпеливо подсказывал Алик на стуле, хотя знал ответ.

– Кусок оборван, – ответила тётка.

– Кусок оборван, – эхом отозвалась мама.

Никто не заметил, как появилась Ника. Тётя Поля продолжала читать.

«Лидусенька, 16/XII из Ростова через нашего командира я послал почтовым переводом маме 350 руб. и посылку со своими вещами. Там тёплая фуфайка и кальсоны – мне хватает обмундирования, а вы там вдруг мёрзнете.

Напиши мне, милая доченька, как у вас жизнь, как твоя учёба, каковы твои успехи и что вообще НОВОГО...»

«16/II-41

Здравствуй, Вера.

Сегодня после двухдневного отдыха грузимся и выезжаем, а когда прибудем, сообщу в следующем письме.

Не имея от тебя ни одного письма за всё время, я не знаю о чём писать. Если тебя открепили от нашего магазина ввиду истечения срока, то тебе следует сходить в военкомат – там на основании аттестата дадут новую книжку.

Напиши, как с квартирой, как с продуктами, как жизнь. Каковы успехи с учёбой у Лидочки? Здоровы ли девочки? Полина должна тебе больше помогать по дому. Пиши также, где ты работаешь.

Адрес у меня не изменился, тот же номер полевой почты.

Целую детей...»

Алику дали в руки – только не запачкай! – открытку, которую дед отправил к новому году – тысяча девятьсот сорок второму.

«БОЕВОЙ НОВОГОДНИЙ

ПРИВЕТ С ФРОНТА

ВСЕМ РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ!

Будьте уверены, мои дорогие, – в новом году я стойко

буду драться за Родину и за вас. Буду бить немецких

захватчиков до полного истребления!

Смерть немецким оккупантам!»

Открытка была написана фиолетовыми чернилами, чёткие буквы чуть наклонены вправо – точь-в-точь идущие в бой солдаты, готовые дать отпор врагу. Дедушка писал

красивее, чем в школьных прописях. Алик вздохнул: его собственные буквы валялись набок. Мама сказала, что в почерке человека отражается его характер, а в некоторых языках *почерк* и *характер* – это одно и то же слово.

Тётя Поля читала.

«24/II-42

Моя милая Лидуша,

опиши подробно, как вы живёте? Как у вас с продуктами, тепло ли дома? Как ты проводишь свободное время? Мне интересно всё, что касается тебя. Какие предметы в школе тебе больше по душе? Если ты располагаешь свободным временем, постарайся почаще мне писать. Особенно принимая во внимание мамину занятость. Я надеюсь, Полина ей помогает, её успехам в учёбе это не должно мешать. Кстати, тебе крайне необходимо исправить почерк, ты пишешь очень малоразборчиво, это меня неприятно удивляет.

Лидусенька, скоро весна! Мой долг и долг моих боевых товарищей – бить немецко-фашистских гадов, извести их с нашей родной земли, чтобы наши дети могли безмятежно радоваться солнцу.

На днях я пошлю маме немного денег – я хочу, чтобы она заказала тебе весеннее платье. Кроме того, отправлю небольшую посылку, куда вложу зубную пасту для тебя. Не забудь, пожалуйста, обязательно ежедневно чистить зубы.

Крепко целую вас, мои родные...»

Всякий раз, когда тётя Поля читала письма с войны, она сдерживала слёзы. Удалось сдержать и в тот день, однако лицо стало мокрым – *само плакалось*, – и тётка досадливо смахивала непрошеную влагу, отодвигала ветхие листки, чтобы слеза не капнула на карандашные строчки.

Мама не плакала.

– Лидуш, ему бы сегодня исполнилось шестьдесят четыре года!

– Всего шестьдесят четыре... – медленно проговорила мама.

...На два года больше, чем мне сейчас. А тогда казалось: шестьдесят четыре – старик, вроде Деда Мороза. Алик вытащил сигарету и в который раз, уже привычно, пошарил под столиком: «ронсона» не было. Куда Зеп её засунул? Сколько дней его не было – три, четыре? Да нет, больше. То ли обиделся, то ли с женой помирился.

Алик научился чувствовать время, хотя долго по привычке вскидывал запястье, где раньше носил часы. Время стучало, тарахтело, гудело, звенело вокруг – за окном, над головой. По утрам хлопали двери, торопливо постукивали женские каблуки, тупо долбили лестницу быстрые мужские шаги. Ближе к полудню спускали и поднимали детские коляски, будто кто-то медленно бил по мячу. Нестройные детские голоса – вопросительная интонация

или нудное хныканье – звучали сопровождением.

Улица просыпалась рано. Нетерпеливо гудели автомобили, вступал короткий авторитетный басок автобуса; пулемётной очередью выстреливал бур, которым вспарывали тротуар, перекрикивались рабочие. Смешивались, поднимаясь к небу, запахи: жирный и смолистый – горячего асфальта, удушливый – автомобильных выхлопов (Алик закрывал глаза и «видел» грязно-серые клубы дыма за машинами), привычно-горький – табачного дыма, когда рабочие присаживались на перекур. Он включал радио, и голос диктора звучал на фоне ровного гула взлетающего самолёта. Аромат растворимого кофе напоминал разбавленный запах асфальта – не только что уложенного, а твердеющего, со следами торопливых ног: едва уловимая смолка неведомого происхождения, менее всего кофейного.

...Дед не вернулся с войны. Фашистские оккупанты, которых он так яростно бил, убили его самого, но войну проиграли. И выходит, победителем оказался дед! Маленький Алик очень гордился его победой и не мог понять, отчего тётя Поля плачет – ведь если бы деда ранили, например, то его фронтовым товарищам было бы труднее драться? Стало ясно, почему солдаты, которых показывают в кино, бросаются в бой с перевязанной головой, и кровь льётся на гимнастёрку. Письма традиционно перечитывали двадцать второго июня, девятого мая и пятнадцатого октября, в день рождения деда. Тот раз, когда ему дали поддержать открытку, был особенным: теперь у него тоже не было папы, как у мамы с тётей Полей, и навсегда запомнилась эта шершавая рыжеватая почтовая карточка с советским гербом и несколькими смазанными почтовыми штемпелями, с чётко выписанным дедовой

рукой адресом. Герб и слова **ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА** соединял мостик: «Просмотрено Военной Цензурой». Ещё выше было напечатано: «Посылается без марки». Потому что с войны, понял Алик, а на войне в киоске не хватает марок.

В цепкой, как липучая бумага для мух, детской памяти остались начитанные тёткой строчки – тоже не случайно: папы теперь не было у всех, и это уравнивало его со взрослыми настолько, что край пододеяльника больше не намокал. Алик не плакал о погибшем на войне дедушке – он им гордился и часто представлял себе, как тот *пал смертью храбрых*, вонзая штык в немецко-фашистского бандита; воображение рисовало именно штык.

В книжном шкафу нашлась книжка про войну: «Улица младшего сына». Прочитав, он помчался к Вовке. Тот уважительно присвистнул: «Толстая... Ты, что ли, всю прочитал?» Ника дала ему другую, которую читала в детстве: «Король Матиуш Первый», с

печальным большеголовым мальчиком на обложке. С первых страниц буквы двоились и расползались, туманились; Алик очень боялся закапать страницу и понял, почему Полина, читая письма с войны, вытирала щёки. У Матиуша тяжело болел папа, и доктор... и доктор сказал... Он уткнулся в платок и не выпускал его из рук – из носа тоже текло, но оторваться не было сил, даже когда позвонили в дверь.

Мама говорила по телефону, дверь открыла Ника. Вместе с ней вошла чужая тётенька и тут же попятилась: «Я вам на слежу... Мне, собственно, Лидию Михайлец...» Ника крикнула: «Ма-ам! К тебе пришли», – и придвинула стул. Алик поздоровался, тётенька кивнула. Платок у неё на голове сидел немного криво, она то снимала, то надевала перчатки. Боится потерять, догадался он; сунула бы в карман, и всё. В дверях появилась мама. Тётка встала:

– Я хотела с вами поговорить.

Мама улыбнулась своей замечательной улыбкой – она сохранилась на портрете в чёрной рамке – и весело сказала:

– Наверное, сначала имеет смысл познакомиться?

Одна перчатка упала на пол, тётенька нагнулась. Она была толстая (мама учила, что нельзя говорить «толстая», надо – «полная»), и когда выпрямилась, лицо её было красным.

– Я, собственно, касательно Виктора Борисовича.

Ника напряжённо смотрела в учебник. Алику не было никакого дела до неизвестного Виктора Борисовича, потому что Матиуша пригласили в гости иностранные короли.

– Вы из поликлиники? – вежливо спросила мама.

– Собственно, я... то есть да, мне в регистратуре дали ваш адрес, и я решила...

Тётка замолчала.

– Что же вы решили? – мягко продолжала мама. – Проведать меня на дому?

Гостья крепко держалась за перчатки.

– Вы... вот я вижу, у вас у самих дети, вот я и подумала...

Мама засмеялась обидным смехом.

– Поверьте, что ни регистратура вашей поликлиники, ни Виктор Борисович не имеют к этому никакого отношения. Ни малейшего, – повторила строго. – Как, вы сказали, вас зовут?

Алик точно знал: ничего тётенька не говорила.

– Я, собственно, Валентина... Валя, – растерялась та.

– Красивое имя, – похвалила мама, – такое... гладкое.

Мальчику стало не по себе за маму и за гостью, которая не знала, что делать со своими перчатками. Мама села к столу и закурила папиросу. Тётенька почему-то не садилась и вцепилась в перчатки, словно держалась за них.

– Вы, значит, курящая, – криво усмехнулась она. – То-то от него табачищем несёт, как от вас приходит.

Алик любил смотреть, как мама курит. Она держала папиросу, чуть отставив руку в сторону, и медленно выдыхала дым.

– Я так и не поняла, – рука не спеша потянулась к пепельнице, – что вы хотели мне сказать?

У Валентины-Вали покраснело лицо.

– Что ж тут, собственно, говорить, – она запнулась, – когда вы сами знаете. Человек он женатый, семью имеет, а вы...

Мама чуть нахмурилась и прикусила папиросу.

– Мне нет никакого дела до матримониального статуса моего лечащего врача.

Тётка нерешительно переминалась.

– А вы... может, вы бы к другому доктору?.. – Голос её звучал просительно.

– Не помню, – мама прищурилась, – не помню, чтобы я с вами советовалась.

– Вот вы как...

Сейчас она разорвёт свои перчатки.

– Вы, конечно, культурные... – тётенька стала совсем красная, – а я хоть и простая, собственно, женщина, только Виктору Борисычу законная жена. А не *брошенка* какая-то!

При чём тут брошка, удивился Алик.

– У вас, милочка, в голове полный раскардаш... Или вас ввели в заблуждение в регистратуре? Я не *брошенка* – я вдова. Попейте элениум, это помогает.

Она говорила в спину уходящей толстухи. Та, не оборачиваясь, толкнула дверь, ударившись, – дверь открывалась в другую сторону, – и стало так тихо, что было слышно, как мама дунула в папиросу; чиркнула спичка.

...Папиросы – куда они подевались? Мама покупала папиросы, и он предвкушал уже

пустую коробочку с горьковатым запахом. А потом их потеснили – и вытеснили – сигареты, плоские и круглые, дешёвые, из которых высыпался табак, и дорогие – плотно набитые, без фильтра и с фильтром.

...Слово «культурные» люди произносили с такой интонацией, как будто обзывались. Эта тётка обзывалась не так обидно, как Вовкин отец, но Алик всё равно не понимал: разве плохо быть культурным? Он сначала подумал, что толстуха тоже культурная – боялась наследить, а потом зачем-то выдумала, что мама взяла её брошку. Он отгородился от разговора «Матиушем», но невольно прислушивался. Почему мама так строго разговаривала с Валентиной, а та даже не села, только крутила свои перчатки. Таким голосом мама часто говорила с тётей Полей.

А смысл разговора был прост, как промокашка, объяснила Ника: приходила Витина жена. На вопрос «зачем» она покрутила пальцем у виска:

– Ну ты даёшь, парень! Не «за чем», а «за кем». За Витей своим драгоценным.

– А мы – культурные?

– При чём тут?..

В темноте было легче рассказать о том, как Вовку бьёт ремнём отец, а ему, Алику, обещал оборвать уши. И что обзывал «культурными», будто это самое плохое.

Дядя Витя пропал не насовсем, он звонил по телефону. Мама снимала трубку и сразу бросала её. Несколько раз Алик видел его на улице и прятался в ближайший подъезд, иначе пришлось бы здороваться, как делают культурные люди. Вообще с этим словом он запутался – видел, как учитель физкультуры курил около кино с каким-то дяденькой, а потом громко харкнул в сугроб, и оба пошли не оглядываясь. Ника засмеялась, когда он рассказал, и добавила: «Учитель *физкультурный*, а не культурный. Лучше за своим носом следи, а то придётся тоже... в сугроб».

Той зимой она ушла жить к тётё Поле – готовилась к экзаменам, обещала вернуться, но не вернулась никогда.

– Через пятьдесят с лишним лет можно спросить, почему, – произнёс вслух. – Обязательно спрошу.

Только что это изменит?

Аэропортовский автобус плавно подъехал к отелю. Некоторые лица были Нике уже знакомы. Негромко переговариваясь, у лифта стояли корпоративные молодцы. Пожилая женщина со свитером, обвязанным вокруг поясницы, подавила зевок, и лицо исказилось некрасивой гримасой. Семья с мальчиком лет семи и спящим малышом – он безвольно висел в нагрудной сумке отца – только что отошла от стойки. От усталости и напряжения (несколько рейсов из-за тумана перенесли на следующее утро) лица выглядели пепельно-серыми.

Номер встретил неподвижной тишиной. Эту безукоризненную нежилую чистоту мог нарушить кто угодно: молодая семья, спортсмен, участник конференции, озабоченный опозданием. Вероника поставила сумку в угол, чтобы не задеть. Устало потянулась: спать, спать – не в аэропортовском кресле, когда голова падает на грудь, а в настоящей кровати, с

одеялом и подушкой; однако сначала – в душ, смыть усталость.

Алик не отвечает на звонки, что понятно: рейс отложен, она предупредила.

Тёплая вода пузырилась ароматной лавандовой пеной. Отпускало долгое напряжение, тело расслаблялось, так бы и уснула в ванне. Завернулась в огромное толстое полотенце и пошла в комнату, по пути умилившись телефону, заботливо повешенному рядом с унитазом.

Безликость комнаты нарушилась: кресло с выгнутой спинкой куталось в Никину куртку, маленькая сумка рассматривала в зеркале своего двойника, большая гостеприимно распахнула молнию.

– Вот ещё, – пробурчала транзитная пассажирка Подгурская, – приручать надо стены, в которых живёшь, а не гостиницу.

После ванны неизбежно потянуло в сон. Она поставила заряжаться телефон и

компьютер и буквально вползла под одеяло.
Возвращение в Европу; я почти дома.

В Городе первым делом приходила к старому дому. В этот раз они с Аликом придут вместе. Он уже ждёт её на углу: худой, в строгом костюме, с модно обритой головой, похожий одновременно на бармена и на делового парня, только без компьютерной сумки. Потянулся к ней: *ну, здравствуй, сестрёнка, долго же ты собиралась*, и потянул за руку. Название улицы поменялось, а дом остался прежним. Парадная дверь заперта. *Мы пойдём через двор*, улыбнулся брат. В коридоре было темно, ладонь липла к сыроватым тусклым перилам. *Смотри, девятка всё так же болтается*, засмеялся Алик. Он вытащил из кармана погнутый гвоздь и вставил в скважину. – *Что ты делаешь, там ведь чужие люди живут!* – *И мы чужие*, – брат уверенно распахнул дверь. – *Я всегда ношу его с собой*, – он поднял в руке гвоздь, – *и мы всегда тут жили и будем жить. Заходи, там никого нет*, – он отступил на шаг, – *я пока Вовку проведу*.

Ника обернулась. Алик спускался по лестнице, только выглядел иначе: сутулый обрюзгший старик, редкие седые волосы на затылке слежались от подушки, спину крест-накрест перечёркивали подтяжки. Перед ней чернел дверной проём. Брат не возвращался; в доме стояла плотная, неподвижная тишина. Не входя, Ника тихонько закрыла дверь, однако девятка перекувыркнулась и повисла качающейся шестёркой. *Алик, это квартира номер шесть, –* закричала она, – *шесть, слышишь?*

...Всё-таки девять, если верить часам.
Европа, девять часов. Утра? Вечера?

Вечера, к счастью; в Нью-Йорке день. Она всегда быстро перестраивалась на европейское время, гораздо труднее давался обратный переход. Хотелось пить – и спать, только сердце колотилось, вот-вот вырвется.

В детстве после больницы Ника часто видела сны, которые не были даже снами – в них повторялась – и продолжалась – больница, но с добавкой из лёгкого абсурда, требуемого

законами жанра: например, на соседней кровати лежала медсестра и громко красиво пела.

Проснувшись, она видела не медсестру, а братишку, мирно спящего в нескольких шагах от неё.

...Однажды вечером ей велели идти в больничный коридор. Мама пришла?.. В коридоре стояли другие ребята, каждый с одеялом в руках. Их повели по длинному сводчатому переходу, застеклённая дверь открылась в больничный двор, их повели в другой корпус. Кирпичная дорожка была занесена снегом, и у Ники несколько раз соскальзывали в снег огромные больничные тапки. Босые ноги ничего не чувствовали, выуженные тапки были холоднее снега. Мама не узнает её и закричит: «Что вы сделали с моей дочерью?», потому что Нике отрежут обмороженные ноги, как Алексею Маресьеву. «Сюда, – медсестра пропустила ребятишек, – а ты подожди». В новом коридоре было так же холодно, как снаружи, зато можно было

держаться за стенку. Теперь мама точно придёт. Огромные тапки потемнели от тающего снега, ногам стало больно. Медсестра вернулась и привела Нику в какой-то тупичок с единственной кроватью: «Ложись», – и повернулась уйти. «Завтра моя мама придёт», – объявила Ника. «Не придёт, – отрезала та, – карантин, всех послеоперационных изолировали».

Кровать – окно – тумбочка. Теперь она ждала маму здесь. Обжиться помогла ночная синяя лампочка, свет её тёк из конца коридора. В тумбочке лежал пустой бумажный пакет с крошками, карандаш и... книга, обёрнутая в газету. Можно было сразу схватить и раскрыть, но Ника растягивала удовольствие, пытаясь отгадать: «Республика ШКИД»? «Кортик»? «Три мушкетёра»? Титульный лист объяснил: «Атлас железных дорог СССР».

От этой ли бессмысленной находки или из-за промоченных ног, но на следующий день у неё поднялась температура. «Бокс», – объявила медсестра. Почему «бокс», удивилась Ника. В

горле царапало, словно там застряли опилки, но понять, кто кого в больнице лупит толстой кожаной перчаткой, не удалось. Началась скарлатина.

Мать уверяла, что сны – чушь и выдумки, надо меньше Беляева читать (которого сама с удовольствием читала). В противоположность ей тётя Поля к снам относилась уважительно и немного боязливо. «Как не стыдно, – смеялась мама, – не боишься, что в школе узнают?»

Боялась ли чего-нибудь тётя Поля, у которой «не было своей жизни», зато сама она была частью их семьи – кривоватой, шаткой, хромой? Раньше она часто навещала Вторую Вагонную улицу, потом стала приходить реже, но никогда не пропускала ни одного дня рождения, ни одного праздника, неизменно принося нелепые подарки, от которых мать поспешно избавлялась: отрез унылой коричневой материи («сшей платье, Лидуша, тебе пойдёт»), тяжёлая, как надгробие, мраморная пепельница, в тот же день свалившаяся со стола на ногу

дарительнице, дюжина альпаковых ложечек кукольного размера... Мать улыбалась и благодарила; ложечки были яростно упиханы в необитаемый ящик буфета, где почернели и обуглились в забвении. Мать называла это «папуасским вкусом». И в то же время тётка дарила ей с Аликом чудесные книжки: «Разве можно жить без книг?» Её литературный вкус был безукоризненным.

«Моя сестра осталась старой девой и всю жизнь посвятила себя матери, мама больна», делилась мать с подругами. Те снисходительно переглядывались. Однажды Ника спросила тётку, какая болезнь у бабушки. Та смущённо пробормотала: «У неё по-женски». Вероника приняла как само собой разумеющееся, что если детей лечат от детских болезней, то женщин от женских. Общепринятое мнение, будто все дети пытливы и дотошны – прекраснодушное заблуждение: дети погружены в свой мир, он для них важнее, чем взрослая действительность, полная непонятных

условностей. Есть, конечно, неугомонные почемучки, но ни Алик ни она сама к любознательным непоседам не принадлежали. Например, заполняя каждый год в школе нудную анкету, Ника не замечала, что её отчество *Павловна* не соотнобразуется с именем отца, коим значился Сергей Михайлец. Много воды утекло, прежде чем она задалась вопросом о невнятном диагнозе бабушки, умершей к тому времени – её не спасли ни лучшая медицина в мире, ни всеильные травы. Раньше полная, ловкая, подвижная, она похудела, стала съёживаться, затрачивая все силы на то, чтобы скрывать боль. Незадолго до конца она подолгу сидела в кресле, часто в нём и засыпая.

Тётка остро переживала смерть матери. *Проклятая война*, бессильно повторяла она, *проклятая война*.

Что Ника знала о войне? Да, были уроки истории, были фронтовые письма деда, написанные казёнными газетными фразами, но

конкретной войны в его письмах было до удивления мало. Цензура, пояснила тётка. Военная цензура не дотянулась до погибшего Чебаненко и двух-трёх названий – конкретные сведения вымарывались, но сколько знала сама Полина? В феврале сорок второго дед писал:

«Часто писать вам письма не всегда удастся по целому ряду причин. Во-первых, наша дивизия всё время движется вперёд, и мы почти ежедневно освобождаем от фашистских захватчиков по 30-40 населённых пунктов, и таким образом мы достигли того, что уже находимся на _____».

Местонахождение дивизии, которая в сорок первом году так успешно отвоёвывала занятые немцами населённые пункты, было густо заштриховано, рядом стоял чёрный штамп «ПРОВЕРЕНО». Много позднее взрослая Вероника задумалась о реальности цифр:

сколько человек насчитывала дивизия, каждый день освобождавшая по 30-40 населённых пунктов, это много или мало? Почему война длилась почти четыре года, и что такое «населённый пункт» – деревня, посёлок или город? Учебник истории молчал, интернета, чтобы несколькими щелчками найти нужные сведения, не существовало. Поговорить об этом было не с кем, знакомых историков не нашлось, а для Полины всё написанное отцом являлось непререкаемой истиной.

Дед отлично знал о военной цензуре и не мог писать о себе ничего, что дошло бы до семьи не вымаранным, поэтому сообщения о денежных переводах обильно разбавлял газетными штампами. Зато, ничего не зная об их быте в эвакуации, поучал жену, куда и как часто водить детей, сколько мёда, какао или масла покупать и какую шить одежду. Не мог представить их новый быт в деревне и потому просто помещал их воображаемое бытие в знакомые стены городской квартиры. Обе

стороны в переписке лгали друг другу из самых гуманных побуждений.

– Какао... масло... Папа писал, как важно для нас правильно питаться, а мы с Лидушкой уже не верили, что когда-то мазали на хлеб масло: хлеба – и то не хватало.

...Веру с девочками-подростками эвакуировали в Ярославскую область. Полина привезла в деревню школьные учебники, но лучше бы взяла тетради – бумаги не было, школьники решали задачи на полях газет, а чистые листки берегли для писем. Осенний промозглый холод, еды нет – а значит, нет и сил. Колхозники говорили: *трудодни*, но приезжие не знали, что это такое. Мать, преподаватель истории, сразу же пошла устраиваться на работу в школу, но ей ответили: «своих учителей хватает». Это было ложью – и в то же время правдой: учителя, в том числе историк, ушли на фронт, их ощутимо не хватало. Однако те

учителя, надевшие военную форму, были *своими*, в то время как Вера оставалась чужой: иди знай, *какой* истории она научит школьников. Приезжая догадалась об этом не сразу, а потому вместе со всеми затемно уходила копать противотанковые рвы, возвращалась в потёмках, работала в колхозе, как и другие бабы. Дети тоже работали: младшие школьники ходили по пустому жнивью, подбирая колоски; ребят постарше отправляли на картофельные поля, на брюкву. И картошка и брюква давно были выкопаны, но школьники снова перерывали землю. Найденные забытые клубни бережно отчищали от налипшей грязи и несли в школу.

– Ну как «почему не домой», – тётка грустно улыбалась, – поле-то колхозное.

В школе варили суп, на муку для заправки шли те самые колоски, скудная добыча голодных ребятишек. Сёстры помнили про какао и шоколад, однако вслух об этом никогда не говорили – здесь такой экзотики не знали.

– Папа думал, что мы живём как раньше: заказываешь у портнихи платье, пальто, покупаешь в магазине любые продукты, одеколон... А про брюкву, которую мы, голодные, выкапывали, ничего не знал – мы не писали. О вшах тоже не писали. Мы не знали, что такое бывает. И мама думала, что вшами мы в поезде заразились. Папа часто просил: пришлите мне одеколон. А где его взять? Я в пятнадцать лет пошла на курсы трактористов, иногда школу пропускала. Мама застудила лёгкие, долго кашляла, травы себе заваривала – хозяйка научила. Когда полегче стало, работала на железной дороге. Там от немецких бомбёжек оставались вывороченные покорёженные рельсы. Для такой работы мужская сила нужна. Мама шаталась от слабости после воспаления лёгких, а работать всё равно надо, куда ж деться.

– Почему бабушка не пошла на другую работу?

– Тогда не выбирали – направляли.
Трудовая повинность. Все работали. В газетах писали: в тылу куётся победа. Мы, дети, гордились – мы тоже ковали победу.

– Разве женщинам разрешали... с рельсами?

– Мужчины воевали, золотко, за победу воевали, а как воевать, если эшелон пройти не может? Нет рельсов – прервётся связь с фронтом и письма не придут; а как без них жить?

Она часто называла Нику бабушкиным словом: золотко.

– На железной дороге мама и надорвалась. Она вечером ложилась и колени подтягивала к подбородку – живот болел. Я, когда на уроке про Некрасова рассказываю, нашу маму вижу. «Железную дорогу» читать очень больно...

Бабушка работала по-мужски – и расплатилась мучительной болезнью «по-женски».

– Мама никогда не жаловалась, – продолжала тётка, – да и никто не жаловался: некогда было, и силы берегли. Подумай: одни женщины и дети! Не только на железной дороге: немцы мосты взрывали, надо было срочно восстанавливать. Все работали через силу, на износ. ...О чём ты говоришь, к врачу? Мама и не пошла бы к врачу – вши, такой стыд, и никак от них не избавиться – мыться негде. Деревенские, спасибо, научили в печке мыться, мы тоже приспособились...

– ?!

– Это старинный способ, я тебе когда-нибудь расскажу. В войну баню топить ни сил ни времени нет, а печка топлена в каждой избе. Солому подстилали, можно было даже попариться. Мы узнали, что вши не только у нас... а всё равно стыдно было.

«Вера, ты не смотри, что война, девочки должны быть одеты чисто, опрятно, культурно, чтобы

было любо на них смотреть и радоваться. Но разумеется, и кормить в пределах реальной возможности. Очень досадно, что ты не постаралась во время каникул создать им культурный отдых.

А мне, пока я писал, только что доставили заказное письмо, которое ты писала на почте от 17-01-42 г. Великое спасибо за заботу, получил вязанные носки, но по существу мне необходимо только 2-3 пары простых носков и один флакон одеколону, а всё остальное у меня имеется. Ну, а если и это невозможно, то как-нибудь обойдусь и без них, лишь бы быть здоровым. Если новую посылку невозможно отправить, то не следует хлопотать. Зима суровая в этом году, фашистские гады скоро почувствуют это на своей шкуре. Ближе к весне, я надеюсь» -

– Письмо таким и пришло, с оторванным углом. Мы долго гадали, на что папа надеялся – что война кончится? Или что мама купит одеколон? Он такой щёголь был: модные рубашки, запонки, кашне... На фронте никак не

помыться, так хоть одеколоном обтереться мечтал... До чего же бестолково я тебе рассказываю, – спохватывалась она, – всё перескакиваю с одного на другое, по порядку не получается. Но вы с Аликом никогда не спрашивали, а Лидуша, я знаю, не любит об этом...

Ох, тётя Поля, как я тебя понимаю! У меня тоже не получается по порядку: прыгаю кузнечиком от детского сада к университету, от одного города к другому; мелкими перебежками от настоящей боли к пустяковым обидам, от Алика к матери...

Ника щёлкнула выключателем. Десять часов, отель, вечер. За окном переливается, сияет огнями на чёрном небе Франкфурт. Уснуть бы – разговор с Полиной затянул далеко назад, туда, где её самой не могло быть, однако тётка была, в том же феврале сорок второго.

«Здравствуй, Вера.

Жалованье получу, вероятно, к концу месяца и сейчас же пошлю тебе руб. 300. На эти деньги прошу тебя купить необходимое количество материи и заказать Лидусе весеннее платье.

Я пока жив-здоров, двигаемся всё дальше и дальше. Сегодня к нам на фронт приехали делегаты из Ташкента и привезли много подарков к празднику 24-й годовщины РККА, на днях нам их раздадут. Это весьма отрадное явление в нашей жизни. Родина нас не забывает, заботится о нас, фронтовиках, а мы со своей стороны делаем всё возможное, защищаем ваш покой.

На днях, как попаду на почту, отошлю тебе посылку со своими ненужными вещами, там увидишь шерстяную рубашку, которую я сшил в Ленинграде, пижаму, шёлковое кашне, перчатки, старое одеяло, солнечные очки и 1 килограмм сахара. Также найдёшь внутри облигации на 500 рублей. Как получишь, сейчас же их проверь».

Ника видела облигации – непонятные, похожие на деньги бумаги, скрученные в трубочку. Зачем они были нужны, как их проверяли?

Сколько раз перечитывали письма, сколько раз на незаконченной фразе произносили: *кусок оборван*, и всякий раз внезапная оборванность ошеломяла, разочаровывала: что было в утраченном обрывке?..

Взрослела Ника, рос Алик, а дед навсегда остался на войне. Франт и красавец с таинственными запонками на воротнике – невозможно было представить его иным, в красноармейской форме, как показывают военных в кино, – бил немецких фашистов и писал строгие письма жене и ласковые – младшей дочке. *«Мне интересно всё, что касается тебя»*. На Полину отцовский интерес не распространялся. Настоятельные рекомендации

жене, что и когда сшить Лидии. Кстати, не это ли нашло отражение в подарке отреза: «Сшей себе платье, Лидуша»? Полина приняла как должное, что красавица Лидия заслуживает лучшего, но пойдй добудь это лучшее без связей и блата.

Неуклюжий подарок родил хлёсткую фразу матери: «у моей сестры папуасский вкус».

«10/III-42

Моя милая Лидусенька,

Мы сейчас находимся в только что освобождённой от фашистов украинской деревне, отсюда тебе и пишу письмо. Получил подарки от ташкентской делегации, 4 штуки, т. е. моему радисту, шофёру, бойцу и мне. Больше всего я рад тому, что в посылке оказались 4 пары носков, 2 платка, печенье, конфеты, мандарины, колбаса, папиросы и табак. За всё – великое спасибо ташкентцам. Вместе с делегатами приехали артисты госэстрады, чтобы выступить перед бойцами и поднять их боевой дух, все приготовились послушать. Но артисты, услышав

*выстрелы наших дальнобойных орудий,
перепугались, к их стыду, и отстали от делегатов.
А ведь они должны были показать бойцам,
командирам и политработникам своё искусство,
но увы.*

*Лидусенька, опиши подробно, как жизнь у вас
дома и в школе. Как ваша школа помогает нашей
славной Красной Армии громить фашистских
бандитов?*

*Ты обещала сообщить о результатах своих
отметок (за первую четверть), я жду.*

Крепко тебя целую, девочка моя.

Папа».

Чем внимательнее Ника вчитывалась в письма, тем более загадочной личностью виделся дед. Инженер-механик, он отвечал за военную технику. Что входило в его конкретные обязанности, не известно, да никто не задумывался – мечтали, чтобы только вернулся. В начале осени сорок второго письма приходят перестали. Долгие перерывы случались и

раньше; Вера с дочками писали часто, стараясь заполнить это молчание своими письмами, словно таким способом они могли если не ускорить ответы отца, то имитировать переписку и... задобрить судьбу. Наконец в одно студёное январское утро сорок третьего года получили извещение: «Ваш муж, воентехник первого ранга...». Строчки двоились в глазах, печатный текст наползал на вписанные от руки слова, и сами слова юлили, рассыпались и падали на росчерк чужой подписи, отчего истинный смысл притворялся невнятным предположением, ошибкой, ибо не мог быть тем, чем был.

Они читали втроём, однако не вслух, как раньше, а каждая сама.

– Для меня было непостижимо: «...убит, место захоронения не установлено». Мы ведь знали о кровопролитных боях, а где бой, там и смерть. Я хоть и большая была, а в голове картинка: могила, гроб покрывают знаменем и опускают в землю. Но под убитыми земли не

было видно, это Сталинград! Отец погиб пятнадцатого октября, в день рождения... Безжалостный счёт у судьбы. Мы поздравили его, посылку с варежками и толстым шарфом отправили заранее. Меня мучило, получил или нет, стужа стояла. А ему, наверное, посылка уже не пригодилась, если пятнадцатого... Было напечатано: «настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии». Лида кричала: не надо нам этих денег, это кровавые деньги, папина кровь, я не хочу!.. Мы знали: мама не станет обивать пороги, тогда и речи об этом не было. Зато в сорок пятом, как только мы вернулись домой, наша кроткая, безропотная мама пошла в военкомат. А там очереди: женщины с похоронками... Встречали их по-разному – и по-разному провожали: погоны – это власть. Особенно доставалось тем, у кого в извещении было написано «пропал без вести». Канителили, тянули душу из людей: а может, он сдался в плен? Или перебежчик; а Родина будет вам пенсии за предателя

выплачивать? И говорили такое жёнам, сёстрам, матерям! – над живой болью издевались. Мама берегла пенсионную книжку больше чем себя. Деньги начисляли каждый месяц, и Лидуша больше не заикалась о «кровавых деньгах». Она же приодеться хотела, вся в папу – модница, как и сейчас. Если бы не бросила школу, жизнь другой была бы, Лида способная...

...Не только детство – юность тоже небрежна, сосредоточена на себе и поглощена собой. Такой была Ника, такими были её дети. Понадобилась почти целая жизнь, чтобы увидеть красоту Полины – раньше взгляд на ней не задерживался, лицо было привычным, как вид из окна, как рисунок на обоях – его не замечаешь. Авторитет красавицы целиком принадлежал матери. Большинство фронтовых писем отца были адресованы «милой Лидусеньке», с нежной подписью и крепким поцелуем, имя второй сестры скупно упомянуто

несколько раз, и без крепкого поцелуя; не Полинины оценки, а её, «милой Лидусеньки», интересовали отца. Письма жене носили предельно лаконичный, строгий и деловой характер; некоторое оживление вносили подробные инструкции, какое платье или пальто заказать Лидусеньке, как развлечь Лидусеньку на каникулах... В его письмах не было обращения к старшей дочери, не слышно было заботы о ней, ни разу не упомянуто её ласковое имя – как отец её называл в жизни, Полей? Полиночкой? – Загадка. Донат Подгурский не мог не знать, как боготворит его старшая дочь, однако даже привет ей не передавал. Из двух дочек одна – «милая Лидусенька», вторая как бы подразумевается, входя в собирательное «дети» или в лучшем случае «девочки». Контекст неизменен: дети должны быть опрятно одеты, сыты (по мере возможности, великодушно оговаривал он), иметь культурный досуг. Абстрактное «дети» наводит на мысль о благополучном детском доме, где начальство

подворовывает, но умеренно (по мере возможности); только письма писал не завхоз – отец. Обе дочери знали письма наизусть, но только одна не могла сдержать слёз при перечитывании.

Мать не плакала.

Много раз Ника хотела спросить у тётки, почему письма такие разные – если бы не один и тот же почерк и стиль, можно было бы подумать, что «дочке Лидусеньке» пишет один человек, а жене другой; в юности как никогда хочется каждому раздать по равному ломтю справедливости. Спросить, однако, не решилась и хорошо сделала – нельзя касаться горькой, глубоко упрямой обиды и тревожить скорбь. У бабушки и тётки боль от потери не притупилась, каждая снова и снова проживала день, когда получили чёрную весть. Убила Доната шальная пуля или разорвавшийся снаряд, не известно; говоря обобщённо, убила война; но невольным палачом оказался однорукий почтальон. От того, что он не знал,

какую весть нёс, у него на лице привычно застыли досада и виноватая хмурость.

...Полночь, а сна ни в одном глазу. Хорошо бы попытаться обмануть организм, закрыть глаза и выпросить несколько часов полноценного сна без призраков. И чёрт с ним, с этим домом; Алик с обритой головой, заимствованной, как и костюм, в немецком аэропорту, через несколько шагов превратившийся в старика, отбили всякую охоту паломничества на бывшую улицу Героев революции. Тем более что квартира номер девять давно перестала быть домом.

Алик отчётливо помнил: портрет отца появился в новой квартире, куда они переехали «за семь вёрст щей хлебать» – мать ненавидела новостройки. Сама квартира, со встроенными шкафами, просторной кухней и балконом, ей понравилась, однако раздражали поездки в автобусах и отдалённость от центра. «Мне жить некогда! На работу да с работы».

Тем не менее, при всей нелюбви к домашней суете, начала обустраиваться. Срочно понадобилась мебель – старую она презрительно назвала рухлядью. Во имя новой мебели звонила каким-то людям, намекала на важные знакомства: «Я не останусь в долгу». При этом тонула в долгах, о чём беспомощно жаловалась по телефону подругам.

По мере того как уверенные грубые дядьки втаскивали в квартиру ту или иную громадину, мать избавлялась от родных и привычных вещей. Исчез унесённый теми же

дядьками книжный шкаф – тот самый, что хлебосольно распахивался от избытка содержимого. Исчез, оставив по углам пизанские башни книг; они высились, угрожающе кренясь, осиротевшие, несчастные, бесприютные. Какое-то время Алик спал на полу, потому что кушетку, низведённую до «рухляди», мать оставила на старой квартире, а диван ещё не купили. С полу хорошо было рассматривать знакомые корешки, и засыпая, он мысленно расставлял их на полки старого шкафа в привычном порядке: «Дубровский», «Принц и нищий», «Малахитовая шкатулка», «Три толстяка», «Джек» – и с какой-нибудь из них уплывал в сон, где бестолково толпились все хорошо знакомые. Стоял толстенный А. П. Чехов, «Апчехов» (книжка про чихание, как думал он в детстве), маршировали одинаковые солдаты Маяковского в форме цвета запёкшейся крови, теснились упитанные зелёные тома Анатоля Франса, гоголем

выступали синие корешки Гоголя, «Без семьи», без семьи, без семьи...

Появился наконец и диван. Его тоже можно было раскрыть, как книжку, этим сходство и ограничивалось – в отличие от книги, закрывался диван с трудом, норовя хлопнуть по руке или прищемить край одеяла. Половинного пространства вполне хватало для сна, Алик перестал его раскладывать.

В школе на новичка никто не обратил внимания. Выходя, привычно нащупывал в кармане гвоздь, отполированный пальцами, и вдруг спохватывался: не туда... Но гвоздь почему-то не выбрасывал, так и носил в кармане. Временами – да что там, каждый день – хотелось вернуться в старый дом, войти в парадное со знакомым прохладным запахом кафеля, подняться в квартиру номер девять, ибо невозможно было стряхнуть ощущение, что там всё сохранилось как прежде: стол покрыт скатертью с бахромой, из которой Ника плела толстые куцы косички, книги стоят за стеклом

исчезнувшего шкафа, а не громоздятся стопками на полу новой квартиры, где они с матерью почему-то живут. «Если бы твоя сестра была человеком, я получила бы три спальни», – часто повторяла она. Вполне хватало места в старой квартире, думал Алик, и непонятные замечания считал материнской причудой. Он откровенно завидовал сестре, её независимости: Ника не стала бы жить с ними, сколько бы комнат это ни прибавило. Сестра умела не делать того, что не хотела.

Постепенно мать выздоравливала от мебельной лихорадки. Теперь она занимала деньги у одних людей, чтобы отдать долги другим. Новая мебель как нельзя лучше подошла к новому жилью. Высокие полки приютили книги, которые как-то разом подтянулись и обрели утраченное было достоинство. Появился небольшой обеденный стол, хотя никто за ним не обедал, и лёгкие стулья. Единственным исключением из новизны осталась не внесённая в разряд «рухляди» тахта

из старой квартиры: «постоит до лучших времён», объяснила мать; удобная «Лира» водворилась в её комнате.

В один из дней мать привезла плоский прямоугольный пакет. Из чёрной рамы насторожённо смотрел отец. Она отошла в сторону и внимательно рассматривала портрет, потом произнесла спокойно:

– А ведь этот мерзавец испортил мне жизнь.

Алик опешил. Она продолжала:

– Его надо повесить.

Он убежал от абсурдных слов и долго кружил по не знакомому ещё району вдоль высоких одинаковых домов. Составить рядом – вытянутся Великой Китайской стеной. Телефон-автомат был свободен, но провод болтался без трубки. Ника права: она врёт, и никогда не знаешь, ложью или шуткой были легко брошенные слова.

«У меня больше нет дочери», говорила с горечью мать. Горечь была настоящая, слова –

враньём. Она сделала или сказала что-то страшное, непоправимое, иначе сестра не ушла бы. «Кроме тебя, у меня никого нет», повторяла она. Снова враньё: ведь осталась Полина, но Полину она сама же прогнала.

Телефон рядом с почтой работал. Он позвонил Жорке – нужно было расслабиться.

Домой вернулся поздно. Жадно поел и растянулся на диване. Свет уличного фонаря падал на портрет. На месте лица блестело яркое пятно.

После школы домой не тянуло, и Алик отправлялся к матери на работу.

Она не признавала шаркающее слово «секретарша» – секретарь, и никак иначе. В детстве он гордился – мама хранила все секреты загадочного КБ, «кабэ», в котором работала. Буквы КБ могли обозначать *красивый букет, кучу барахла, колдовское болото, Карабаса-Барабаса*, да много что, но КБ оказалось

конструкторским бюро, пристёгнутым к непроизносимому слепку букв с единственно понятной деталькой «электро» где-то в середине.

Лидия Михайлец была идеальным секретарём: не было начальника, сохранившего бы хоть один секрет от Лидочки, Лидуси, в ряде случаев – Дусеньки. Невразумительно-электрическое КБ стояло прочно, в то время как начальники менялись, как и таблички с их именами на двери. Лидия была несменяемой, чему новый начальник удивлялся поначалу, а потом удивлялся, как он обходился без такого секретаря. Лидуся быстро выучила, с кем и каким голосом разговаривать, кого пригласить в кабинет немедленно, а кого полезно помариновать, чтобы «гонор сошёл», даже если приёмная пустовала.

Называть её здесь мамой не поворачивался язык. Элегантная, приветливая, она уверенно лавировала между столом с телефонами и шкафом, быстро находя нужную

бумагу или папку. На неё смотрели все сидящие в приёмной: мужчины – с восторгом, в той или иной степени скрываемым, женщины – с деланным равнодушием, цепко отыскивая недостатки. Напрасный труд: Лидочка воплощала рецепт «апчехова» – по крайней мере, лицом и одеждой, что на уровне приёмной КБ было более чем достаточно.

Алику нравилось смотреть, как она лёгким взмахом укладывала копирку на чистый лист, и чёрная жирная бумага лениво льнула к нему. Нравилось прислушаться к её разговорам: интонации и тембр удивительно менялись от одного собеседника к другому; нравилось, как она чётко произносила в трубку невыговариваемое название; нравились осторожно-любопытные взгляды, которые бросали на него забежавшие женщины. Некоторых он знал – например, тётю Нину, забежавшую к ним: она всегда ерошила ему волосы, только в последний раз остановила руку на полпути, воскликнув: «Он у тебя совсем

жених, Лидусь!» Алик смутился: «Тётъ Нин...», однако женщина перебила: «Какая я тебе тётя, ты сам уже дядя! Просто Нина, договорились?» Это было непривычно, но – кивнул, за что получил одобрителный взгляд матери. «Детки растут вверх, – она красиво выдохнула дым, – а мы с тобой, Нинок... в другую сторону».

Смиренная старушечья фраза не вязалась с её свежим лицом и блестящими глазами. Взяв у матери рубль на обед, он выскочил на лестницу, забыв попрощаться. Зачем она врёт, зачем?! Врёт или... нарочно пугает? Напоминает про тот март, словно его можно забыть, лучше б его вырвать из календаря, из времени, из памяти.

...Третий класс, урок труда. «Готовимся поздравить наших дорогих мам», объявила училка. До 8 Марта надо научиться пришивать пуговицы. Всем раздали орудия труда: нитки, иголки, разноцветные лоскутки и пуговицы.

– Вдеваем нитку в игольное ушко... Потом делаем узелок, вот так, – училка подняла согнутый палец.

Алику выдали красную тряпочку в белый горошек и крупную чёрную пуговицу, будто с папиного пальто. Он вздрогнул и долго не мог просунуть нитку в игольное ушко. Зато цветы маме купит он сам, а через два дня после 8 Марта ему исполнится девять лет!

– Иголку втыкаем снизу...

Кое-как он справился с узелком – нитка виляла и выскальзывала из непривычных пальцев – и воткнул иголку, но не в пуговицу, а себе в руку; слизнул яркую каплю.

– Не пришивай слишком туго, – училка взяла лоскуток из его горячих вспотевших рук. – Стараешься, молодец! – И двинулась по проходу дальше.

По пути домой он гордо сжимал в кармане сморщенную истерзанную тряпицу с намертво пригвождённой пуговицей. Теперь он всегда будет пришивать их сам! Цветы поставит в вазу,

а рядом положит собственноручно пришитую пуговицу, училка сказала: молодец. Он поднялся наверх и вынул из кармана гвоздь и прокрутил, однако замок не щёлкнул. Мама забыла, что ли, запереть дверь? И почему в квартире так холодно, зачем она открыла окна? Всё ещё в пальтишке, он прошёл в комнату.

...Открыть глаза, немедленно! Та картинка никуда не денется – не исчезла ведь она за пятьдесят с лишним лет, не исчезнет и сейчас; но пусть глаза будут открыты – может, размоются контуры, краски потускнеют, и крови на пододеяльнике не будет видно, а мама сейчас проснётся: *ты уже пришёл?*.. Открыты глаза или закрыты, ничего никуда не денется, ты давно выучил это, старый идиот, выучил в тот холодный мартовский день, когда взял мамину руку; кровь ещё текла, он вытер липкую ладошку. На столике лежала страшная записка и валялись пустые пачки от таблеток. Он громко

позвал: *мама!..* Догадался – набрал «03» липкими пальцами, назвал адрес. *Моя мама...* Он не помнил, произнёс ли страшные слова вслух, или они повторялись у него в голове. Тёткин телефон долго гудел, пока она подошла: «Алло?»

– *Мама, моя мама. Тут очень холодно. Моя мама самоубилась.*

И сел на пол, не выпуская трубки.

Чёрный день был отмечен, однако, счастливым обстоятельством (не считая удачно пришитой пуговицы): никто из соседей не заметил, как приехала «скорая помощь» и санитары быстро задвинули в машину носилки. Вовка, собиравшийся показать ему свой подарок маме, над которым трудился с лобзиком целую неделю, напрасно звонил в квартиру номер девять, потому что тётя Поля увезла Алика на такси. Перед этим она в панике метнулась на кухню, где были включены все незажжённые конфорки, но мальчик не заметил

– он думал только о том, как согреться, дрожа всем телом. «Маме нужно подлечиться, – объяснила тётка, – мама в больнице. Мы проведем её, когда врач разрешит».

Время, проведённое у тёти, почти не помнил, разве что первую ночь: он лежал под двумя одеялами в обнимку с Зайцем и всё равно не мог согреться. Из кухни донеслись тёти-Полины слова: «Чаша переполнилась». Он представил себе огромную кружку, в которую капает и переливается через край вода. Пришла на цыпочках Ника, тихо легла на раскладушку, но перед тем как лечь остановилась у кресла: «Спишь?»

Днём Алик оставался один. Почему-то не получалось читать: он раскрывал книгу, но буквы прыгали перед глазами, прятались одна за другую, становясь похожими на узелки, которые он продолжал вязать пальцами. Говорить он стеснялся, потому что начал заикаться. Он много спал, и во сне не было ничего: ни узелков, ни букв.

«Шок, – сказал доктор. Он долго светил ему в глаза, заставлял высовывать язык. – Ему бы поплакать». Алик хотел объяснить, что чуваки не плачут, но слово «чуваки» прочно застряло на «ч-ч-ч», как застревают и не снимается мокрый ботинок. «Это пройдёт, – улыбнулся доктор, когда тётя Поля сказала про узелки, – нитки у нас дешёвые».

Нитки требовались постоянно. Алик наматывал кончик на указательный палец и, ловко прихватывая большим, завязывал узелок. Узелок получался лучше, чем у Ники, они соревновались. Его пытались отвлечь, занять чем-то, но даже когда ему читали вслух, пальцы правой руки постоянно шевелились, вязали узелки из невидимой нитки.

В больнице двери были без ручек, а на кровати сидела мама с непривычно бледными, ненакрашенными губами, в чужом толстом халате. Разговора не помнил, потому что колебался: дарить ей пуговицу или нет, а потом им велели уходить. Мама его поцеловала.

Пуговица осталась в кармане; правда, и 8 Марта уже прошло, как прошёл и день его рождения.

Зато не надо было ходить в школу – для него учебный год закончился уроком труда. В больнице мама провела целую вечность: две недели. Когда тётя Поля привезла его домой, мама сидела перед зеркалом и накручивала волосы на бигуди.

То, что с нею случилось, называли «нервный срыв». Ни об этом, ни о своём шоке Алик никому не рассказывал. Его лечили витаминами, чем-то ещё, потом отправили в санаторий, где он провёл очень длинный кусок лета; мама приехала за ним в конце августа. Заикаться он почти перестал и снова смог читать – буквы перестали притворяться непонятными; но вопреки предсказанию доктора, продолжал вязать узелки. Мать раздражали валявшиеся повсюду колтуны ниток, и он приспособился обходиться без них.

Правда, сучащие пальцы можно было обмануть, если держать в руке монету, гвоздь из кармана, карандаш; а став старше, он нашёл новый способ, самый надёжный.

Сунув ладонь под диван, пошарил пальцами по полу. Зажигалки не было. Встал, осторожно обогнул столик (сколько раз врезался в него коленками) и медленно ощупал подоконники. Стопками лежали книжки в мягких обложках – в последние годы мать привязалась к дешёвому чтиву. Выбросить не смог – что-то мешало; но не переставал удивляться, как она могла после Бальзака, после Томаса Манна читать этот мусор.

Интересно, что школьную жизнь он почти не помнил – до восьмого класса, когда познакомился с Жоркой. Всё прежнее, закрыты глаза или открыты, уместилось на фотокарточке с тремя рядами парт, за одной из которых сидит послушный мальчуган с сонными глазами под

криво подстриженной чёлкой. Чёрно-белая фотография, белые девчоночьи передники намекают на какой-то праздник, не Восьмое ли Марта? Чёрно-белые фотографии, серая школьная реальность, однородная, как пыль.

...От пережитого шока остался страх за мать. Он подолгу стоял перед дверью квартиры, не решаясь отпереть дверь; из прихожей чутко прислушивался сам не зная к чему, прежде чем войти в комнату. Проснувшись ночью, громко звал: *мама!..* – и сорвавшись с кушетки, бежал в соседнюю комнату, забираясь на тахту. Несколько раз там и засыпал, свернувшись комочком у неё в ногах.

Мама вела себя так, словно ничего не произошло. Переносила его, сонного, на руках, укладывала. Однажды бросила уязвлённо: *твоя сестра, видимо, не считает нужным...* – После больницы только так и называла Нику: *твоя сестра*.

Ника не приходила – ни домой, ни в больницу, – зато время от времени встречала его после школы и вела «пировать» в кафе; пару раз они побывали в университетской столовой. Университетская отличалась от обычной только принадлежностью к университету. Меню и даже запахи были стандартно столовскими, но походы туда давали чувство приобщения к чему-то недоступному, где сестра вела себя просто и уверенно, и это нравилось Алику. После «пира» шли в парк или гуляли вдоль канала. Как-то Ника дала ему пинг-понговый шарик и костяную шахматную фигурку – занять пальцы. Шарик довольно скоро помялся, а гладкая пешка верно служила ему много лет, он перекладывал её из одного кармана в другой. Они бродили, вороша ногами багровые кленовые листья, Ника посматривала на часы, чтобы вовремя посадить его на троллейбус, и задавала один и тот же вопрос, как и при каждой встрече: «Как она?» – «Принимает какое-то лекарство от нервов, – пожал он плечами. Никого, говорит, у тебя нет,

кроме меня. Если со мной что-то случится...» – «Так и сказала? – возмутилась Ника. – Ненавижу эти игры со смертью!» Слова «игры со смертью» часто вспоминались ему, всякий раз отбрасывая назад в тот день, который он тщетно пытался забыть. Матери достаточно было намекнуть на свой возраст, усталость или плохое самочувствие, как Алика бросало в дрожь и пальцы начинали сучить отсутствующую нитку.

– Ничего удивительного, что от армии откосил, кому ты там был нужен? – негромко сказал и удивился собственному хриплому голосу. – Вот она приедет и найдёт зажигалку.

Сестра всегда находила потерянные вещи.

В вестибюле отеля клубились оживлённые, смеющиеся люди с бокалами в руках. Они переходили от бара к стойке регистрации, громко переговариваясь. Сжимая в руке ключ от номера, Вероника вышла на улицу сквозь крутящуюся дверь. Улица была малолюдной, и фонари светили не так ярко, как ей виделось из окна. Плотные металлические шторы скрывали витрины магазинов, однако двери были раскрыты. На тротуарах стояли скамейки вычурной формы с вышитыми подушками. Что если дождь, озадачилась она. Ну, да немцы народ изобретательный, что-нибудь придумают. А сколько времени? Отогнула рукав, увидела голое запястье – забыла надеть часы, а телефон остался заряжаться в номере. В окно была видна площадь и башня с часами, но куда идти? Женщина с зонтом вышла из двери, Ника спросила по-английски, сколько времени,

показав на голую руку. Та не останавливаясь бросила: «Северо-запад». Улица, предъявив Нике все свои достопримечательности, вильнула в темноту. Фонари светили всё слабее. Надо возвращаться, чужой город в темноте пугал. Гостиница светилась окнами, но напрасно она кружила – входа не было. В отчаянии Ника толкнула грубую дощатую дверь в стене – и очутилась в вестибюле. Прошло, должно быть, много времени. Девушка-администратор спала за стойкой, рядом стоял пустой бокал, а лампы едва светили. Не выронить бы ключ. Она разжала ладонь: вместо ключа лежал гранёный, отполированный до блеска гвоздь. В лифте горел ослепительный свет. Ника нажала кнопку, лифт дёрнулся и взмыл вверх, а потом скорость стала падать, и по мере того как он замедлял ход, ей делалось тоскливо; лампы теперь чуть мерцали, грозя погаснуть. Она протянула руку к кнопкам, но кнопки исчезли, ладонь упёрлась в гладкую холодную стену.

...Темно. Сердце лупит изо всех сил. Часы лежат рядом. Почему «северо-запад»? Медленно рассеивался туман идиотского сна. Не гуляла она по улице, не ехала ни в каком лифте – в сон просочился давний эпизод из другого времени, вместе со старым лифтом солидного дома, действительно споткнувшимся между этажами. Ни одна из нескольких кнопок на мутной, захватанной панели не помогла, включая аварийную. Свет угрожающе меркнул, но не погас. Мозг постепенно стёр страх и панику – уже года через два Вероника снова вызывала лифт, а не топала по лестнице в лабораторию на шестой этаж. Абсурдный сон намекнул, что мозг, оказывается, злопамятен, как компьютер, и ничего не стирает, а только прячет в подкорку; так автобусный карманник отправляет ловкими пальцами украденный кошелёк за подкладку пиджака, так старики хранят отжившие, никому не нужные вещи. Память архивирует всё прожитое, как и сама ты хранишь бумажный хлам – давно пора всё выбросить, не вороша, не

читая, не мучаясь, что станется с обветшалым мусором. Я не буду знать об этом, ибо *мёртвые сраму не имут*.

Всё стереть, даже куцый файл с семейной историей. Кому он нужен, кому нужна история ушедшей семьи, если нет памяти о живых лицах и голосах? Зачем с бумаги переносить в компьютер, ведь компьютеры устаревают, а следующее поколение умного железа капризно отторгает старые форматы, требует декодирования и выдаёт нечитаемую белиберду.

Сумбурной франкфуртской ночью такое решение представилось единственно правильным. Освободиться – и тем самым освободить от решения детей. Наташе не до того: семья, дети, работа; сыну тем более, хотя ни семьи, ни детей, только работа. Валерка с детства был закрытым, уязвимым, и за тридцать шесть лет ничего не изменилось. Есть успешная карьера, есть любимая работа; нет любимой. С шестнадцати лет был одержим

одноклассницей, умной и амбициозной красоткой – она наслаждалась его обожанием до тех пор пока не познакомилась с папиным коллегой, которого женила на себе так быстро, что тот и чихнуть не успел. Ушибленный первой любовью, Валерка только к тридцати годам осторожно вышел на Интернет, эту современную завалинку, где проходят виртуальные посиделки. Помогла напористость сестры: найдя своё счастье в Сети, Наташка проповедовала этот способ всем ищущим.

Ярмарка невест оказалась для сына открытием и в то же время разочарованием: одни ровесницы уже побывали в невестах, другие были травмированы прежними любовями, связями, браками и, как он, зализывали раны, осторожничая из боязни снова обжечься. Два года назад он пылко увлёкся гречанкой с двумя детьми, переписка была ключом, однако до встречи не дошло: что-то сломалось или помешало, спрашивать Вероника не решилась; захочет – скажет. Когда

переписка прекратилась, она вздохнула с облегчением, ибо непонятная медея, оснащённая двумя сыновьями, настораживала. Электронное знакомство ничем не хуже традиционно-старомодного, если посмотреть на Интернет как на раскинувшуюся по всему миру виртуальную танцплощадку.

Вынужденная самолётная скрюченность и скитания по аэропорту требовали покоя, сна, но сон не шёл. Она достала еженедельник.

Итак, паломничество к старому дому отменяется. Программа включала книжные магазины, раскопки в букинистических, подарки детям и внукам, однако вначале – кладбище, с этого всегда начиналось её возвращение в Город. Опять предстояло увидеть его быстро менявшуюся географию: гуще теснились памятники, больше могил выросло на семейных погостах, и новые имена били по глазам – имена тех, с кем виделась в прошлый приезд, и вместо телефонных номеров оставались даты, разделённые чёрточкой.

Теперь не позвонишь; можно только купить цветы и присесть на скамейку. Кладбище – это город в миниатюре, печальная имитация новостроек, и живёт оно по тем же законам, что и большой город.

Восемь лет назад они с Инкой приходили сюда вдвоём и навещали по очереди всех упокоившихся.

Инка... Вернувшись в школу после трёх месяцев больницы, Ника увидела за своей партой новенькую: белобрысую, курносенькую, с небольшими, чуть раскосыми серыми глазами под короткими бровками. Смышлёная, с отличной памятью, она хорошо училась, несмотря на клеймо «неблагополучная семья». Классная руководительница сочла своим долгом сообщить об этом на родительском собрании. Новость осмыслили, обсуждения продолжались у домашнего очага, и скоро вся

школа знала, что семья новенькой живёт в бараке, а школьную форму для неё купили на средства родительского комитета. Дружбу с Бельцевой не одобряли или откровенно запрещали, словно семейное неблагополучие было чем-то заразным, вроде стригущего лишая.

За время болезни Ника сильно отстала по всем предметам, особенно по русскому, Пару раз Инка дала ей списать домашнее задание, но падежи не стали от этого понятнее.

– Приходи ко мне делать уроки, – предложила новенькая. – Хотя тебе не разрешат.

– Кто не разрешит?

– Мама, папа, жаба, крот... откуда я знаю?

– Инка коротко хмыкнула. Между верхними резцами у неё был широкий просвет, словно собирался вырасти третий зуб.

А кто мог не разрешить? Мама на работе, папа в командировке.

– Ты не думай, у нас обыкновенная квартира, а никакой не барак, – объясняла Инка по пути.

Ника разочарованно молчала – как раз настоящий барак она и надеялась увидеть. В учебнике истории написано, что при царе рабочие ютились в бараках.

Они поднялись по лестнице обыкновенного кирпичного дома и вошли в квартиру с длинным коридором, по обе стороны которого располагались двери. Толкнув одну из них, Инка кивком пригласила зайти. В комнате вдоль каждой стены стояли металлические одинаковые кровати с ободранными, тоже одинаковыми, тумбочками; ни стола ни стульев не было. Из угла вылезла рыжеватая псина; Ника попятилась.

– Она не кусается, не бойся. Сейчас познакомится с тобой, а в следующий раз поздоровается.

Рыжая Дита положила передние лапы Нике на плечи и радостно осклабилась. Из пасти

несло противным мокрым теплом. Сейчас обслюнявит.

– Погладь, ты ей нравишься.

Не надо было приходить. И «следующий раз» тоже не привлекал. Она нерешительно дотронулась до собаки. Та с неожиданной пылкостью лизнула Нику в лицо и ткнула носом в руку.

– Я же говорила, нравишься. Дита, место!

...Ничего пугающего в склонениях не было. Потом Инка поставила чайник на плитку – копию той, что была у них с мамой на Второй Вагонной.

– С лимоном?

Ника кивнула.

– А лимона нет! Я тебе покажу фокус.

Инка бросила в стакан несколько белых крупинок, и чай посветлел.

– Попробуй!

Чай стал приятно-кисловатого вкуса.

– Это как?..

– Лимонная кислота, – раскрыла секрет Инка. – Лимон без лимона. Бабушка с работы приносит.

Очень быстро Ника привыкла к «обыкновенной квартире», где жили ещё несколько семей. Наверное, в бараках у рабочих из учебника тоже не было ванной – Инка с матерью и бабушкой ходили в баню, по утрам умывались на кухне под краном. Перед школой она отводила в садик младшего брата, как и Ника. Мать работала санитаркой в больнице, приходила поздно.

Несколько раз Инка приходила в гости к Нике. Больше всего ей нравился телефон, и она зачарованно слушала прогноз погоды. Мать была на работе, отец в Ужгороде.

Подумаешь, Ужгород... У Инки вообще папы не было, только мама, бабушка и брат Владик. Бабка работала судомойкой в столовой при воинской части, откуда приносила твёрдые рыжие котлеты, махровые от сухарей, и банки с мутным супом или холодной серой кашей –

дома толстые ломти каши разогревали с маргарином на сковородке. Когда после школы Ника заходила к ней и дома никого не было, Инка вытаскивала карты – бабка научила гадать. Бывало, что старуху заставляли дома; тогда Ника спешила уйти – бабка её не любила. «Чего шлёндрать по квартирам, будто своего дома нету? – ворчала она. – Тут *натопаисси* с тяжёлым кастрюлям, аж ноги пухнут...» Она отворачивалась к стенке, не отвечая на робкое «до свиданья». Постепенно стали понятны списанные из в/ч железные кровати с жёсткими казёнными одеялами, свисающая на проводе с потолка голая лампочка, прикрытая газетным кульком, и старые тумбочки, заменявшие любую необходимую поверхность.

...и продолжалось детство, со школой и болезнями, всегда короткими каникулами, нервной тошнотой во время контрольных. А потом случился день, когда папа ушёл, оставив гадкие слова, которые даже Инке нельзя было повторить. Что папа оказался ненастоящим, она

рассказала, об этом можно было только Инке. В неписаном кодексе их отношений отсутствовала подотчётность, вопросы не перерастали в допросы, уровень откровенности не обсуждался, благодаря чему дружба продержалась всю жизнь. Не зная слова *privacy*, обе интуитивно соблюдали личное пространство, *право на себя*.

Статус новенькой долго держался за Инкой. К её дружбе с Вероникой Подгурской насторожённо присматривались как ребята, так и классная руководительница Анна Гавриловна, предсказуемо сокращённая до «Гаврилы». Бельцева Гаврилу раздражала, поскольку не соответствовала её представлениям о девочке из неблагополучной семьи, щедро облагодетельствованной родительским комитетом – ни двойками, ни прогулами, ни даже начёсом в волосах Инка не славилась. И чем зорче классная присматривалась к новенькой, тем яснее вырисовывалась её неприязнь.

Урок физики, которую вела Гаврила, неизменно начинался её бдительным обзором – всех сразу, одним лучом локатора.

– Бельцева. – Голос обещал неприятность.
– Почему ты в спортивных тапочках? Если не ошибаюсь, у нас декабрь?

Гаврила сделала маленькую паузу, ожидая подхалимских смешков.

– Да.

– Что «да»? – Классная недоумённо нахмурилась.

– Декабрь.

Послышался смех, явно не в пользу Гаврилы.

– Я спросила, почему ты в тапочках?

Вытягивались шеи, поворачивались головы. Все пялились на промокшие ноги стоявшей Инки.

– Я закаляюсь, Анна Гавриловна.

Ни на кого не глядя, девочка спокойно ждала, пока физичка не бросила раздражённое «садись».

Эти чёрные полотняные тапочки – плоские, на скользкой белой резине – помнились и сейчас, через шестьдесят лет. Обыкновенные физкультурные тапки, в которых Ника пришла на следующий день. Лопух озадаченно посмотрел на четыре тощие девчоночьи ноги в аскетической обуви и после большой перемены тоже ввалился в класс в тапочках. Он слегка запыхался, пробежав несколько кварталов до дома и обратно. Последствия можно смело назвать эпидемией: шестой «А» ходил, бегал, мчался по коридорам и лестницам упругими резиновыми шагами. Вспышка эпидемии скоро погасла: одних отрезвили гневные записи в дневниках и родительская взбучка, других глубокий снег. Грошовые тапки, даже по тем временам грошовые (рубль восемьдесят, уточнила память) – не сами тапки, а ядовитое замечание

классной, – вызвало в Нике тяжёлую, душащую, как подступающая рвота, ненависть к училке. Поэтому, затолкав ботинки глубоко под шкаф, она летела по снежному тротуару, как на крыльях, на невесомых ногах. В тепле школьного коридора ноги вновь обрели чувствительность, ожили, как ожила и ненависть к Гавриле, постукивавшей аккуратными каблучками по пути в класс. Всё в ней казалось отвратительно: каблуки, спина, обтянутая жакетом, и свернувшаяся змеёй русая коса на затылке. После того как Анна Львовна в прошлом году вышла на пенсию, класс был обречён на Анну Гавриловну, и никому не пришло бы в голову назвать её Аннушкой; Гаврила, только так. Довольно скоро досужие умы выяснили, что у Гаврилы есть муж и двое сыновей, которые учились в другой школе «по соображениям педагогической этики». Авторитетные слова донесла до масс отличница Чижова, мать которой была членом родительского комитета. Комитет этот

полностью состоял из офицерских жён, по совместительству родительниц, и относился к Анне Гавриловне с глубоким пиететом: «Она принимает близко к сердцу каждую семью!» Такое равнодушие, должно быть, и заставило Гаврилу поделиться «неблагополучием» Инкиной семьи – так далеко понятие педагогической этики у классной не простиралось. Уже пропала из виду плотная фигура, стих топот каблуков, а Ника стояла.

Её неопытная детская ненависть не шла ни в какое сравнение с Инкиной, многолетней и зрелой, но не к Гавриле, нет: объектом являлся безымянный он, знакомый по несчастным Инкиным упоминаниям.

– Я его ненавижу.

Инкины глаза сужались, рот стягивало в тонкую полоску.

– Мы живём из-за него, как нищие.

Он возникал, чтобы разжиться деньгами. Находил везде, куда бы мать ни прятала; тащил из дому всё что мог (а мог всё), только на

списанные солдатские кровати с тумбочками покупателей не находилось, и потому хватал что попадалось на глаза: рейтузы Владика, подушки, Инкины ботинки. Несколько раз «неблагополучная семья» переезжала; он легко находил и бил, нещадно бил мать. Она заявляла в милицию, но там переглядывались и разводили руками: дело семейное, разберётесь. «Семейное дело» давно выдохлось – Инкина мать развелась, будучи беременной Владиком, – но и развод не освободил её от брани, побоев и вымогательства.

Много позже Ника читала где-то, что дети на преступление не способны; не случилось автору миролюбивого тезиса видеть Инку, стоявшую с ножом над уснувшим пьяным отцом. Она сомневалась не в себе – в ноже: вдруг подведёт?.. Безобидный кухонный ножик, которым чистят картошку, режут хлеб или точат карандаши, показался хлипким, к тому же давно не точеным. Однажды Инка видела, как соседка по квартире разделывала на кухне курицу:

тусклое перламутровое курье горло упрямо выскальзывало из-под ножа. Затупился, подсказала бабка, поточи.

Он отоспал свой хмель и ушёл на рассвете, не подозревая, чего избежал, иначе не сунул бы за пазуху кофту бывшей тёщи.

Нож – только занесённый, к счастью, – случился после смерти собаки. Грозный облик Диты был обманчив, у псины был добрейший характер; не такой уж овчаркой она была, как божился дядька, продавший щенка. Дита с бурной радостью встречала каждого вошедшего, кроме *него*: тихо предостерегающе рычала, косясь на брошенный огрызок колбасы. Собака защищала надёжнее, чем хлипкий замок в комнате, который он высаживал не раз, а войти в квартиру дело плёвое: нажимал первый попавшийся звонок.

Однажды Дита вцепилась в ненавистную ногу, а через два дня пропала. Мальчишки из соседнего дома помогали Инке с Владиком искать – и нашли. Собака лежала в кустах –

окоченевшая, со вздыбленной шерстью и оскаленными зубами. Инка не поверила, что Дита съела крысиный яд, однако собаки больше не было. И нож оказался тупым.

Лица Инкиной матери Ника не помнила: видела её редко, к тому же либо спящей после смены, либо с завязанным ухом, вечно застуженным, а на самом деле толстый платок маскировал следы очередного визита: вспухшие багрово-фиолетовые сливы синяков и неровные полянки на месте вырванных волос. Что сказала бы классная, что сказали бы дамы из родительского комитета, узнай они об Инкиной жизни? Представители комитета с самыми добрыми намерениями (псевдоним любопытства) навестили-таки «дом барачного типа», но комнату, в которой жила неблагополучная семья, нашли запертой. Соседки пожали плечами: мать и бабка работают, а Инка пошла в детский сад за братом. Офицерские жёны, ни одна из которых не работала, участливо покивали и

попрощались. Они приходили ещё два раза, но соседки стойко держали оборону, косясь на чернобурки родительского комитета.

Снова встретившись в Городе, подруги пошли на кладбище. На невысоком мраморном надгробии – фотография миловидной женщины, в которой Ника не сумела узнать безрадостную, с тусклым голосом, Инкину мать.

...Казённые котлеты с кашей, тяжёлая работа матери и бабки, учебники, обёрнутые в газету, соседские свары на кухне – этого в Инкиной жизни хватало. Зато можно было убежать – от нищеты, от *него*, от ханжеской чуткости родительского комитета, перемывавшего кости их семье («мать, кажется, в двух местах работает?..»), от ехидных замечаний Гаврилы, – убежать, тем более что место было найдено и облюбовано давно. В углу школьного коридора висела большая физическая карта Азии, которая притягивала

обеих. Время от времени дежурный учитель напоминал дежурным голосом: «Гуляем, гуляем парами!» Дисциплинированно пройдя до конца коридора и обратно, обе застревали у карты: складчатые рыже-коричневые горы, извилистые багровые границы, зелёные с прожелтью сибирские просторы, а взгляд уже нырял вниз, в изумрудный простор Индийского океана. Карта была морщинистая от старости, и борозды гор выглядели выпуклыми из-за этих морщин. Инка первой заметила крохотное зелёное пятнышко, затерявшееся в бурых лабиринтах Тибета.

– Давай, это будет наша долиночка?

Звучало заманчиво.

– Только мы, больше никого!

Сюда, убеждённо говорила Инка, *он* не доберётся. Жить будем в пещере – в горах всегда есть пещеры; замёрзнем – построим хижину. Питаться будем плодами, которые там растут; а раз долина, то воды там зальётся. Диких зверей приручим. Помнишь, как в «Маугли»?

Ника воодушевилась: и правда, никто не доберётся. Дома стало неуютно – всё настойчивее мелькал дядя Витя, реже заходила тётка, пропала тётя Лена. Однажды Ника задержалась у витрины парикмахерской, увидев знакомую фигуру, но зайти не решилась. Она стояла долго, пока пухлая рука маникюрши не задёрнула занавеску.

Лучше в долиночку.

Крохотное, мельче булавочной головки, зелёное пятнышко на буром пятне Тибета символизировало внушительных размеров низменность, однако девочкам не было дела ни до масштаба карты, ни тем более до географической реальности. Гораздо интереснее было составлять список вещей в дорогу, пролежавшую через Среднюю Азию.

– Питаться будем дынями и лепёшками, как Ходжа Насреддин, – Инкины глаза всматривались в неведомую желанную даль. – И ты как хочешь, а я не выйду замуж никогда.

В свои двенадцать-тринадцать лет они носили такие же ботинки, как мальчики, дрались одинаковыми портфелями, и только на уроках физкультуры, выстроенные в одинаковых чёрно-белых тапочках по команде «смирнаа!», не могли не видеть, как нарушается их солдатская безликость – девчоночьи силуэты незаметно начинали меняться, вытягиваясь и женственно округляясь, одних приводя в смятение, других в смущение. Замуж, однако, почти все собирались, и преимущественно за киноартистов.

Они тоже вышли замуж, Инка немного раньше.

С будущим мужем познакомилась в электричке, а казалось – на Марсе. «Даже не представляла, что так бывает! – захлёбываясь признавалась она. – Неземное чувство, понимаешь?..»

Инка всегда высмеивала патетику. То время для Ники было горькое: после расставания с Мишкой душа заживала медленно, в выздоровление не верилось, а

любого напоминания, будь то фотокарточка, записка в книге или носок, обрадовавшийся дневному свету во время уборки, хватало, чтобы надолго выбить её из колеи.

После загса (свадьбы не устраивали) Инка с «марсианином» уехали в горы, потом к его родителям. Объявилась внезапно.

– Выйдешь? – спросила по телефону, как спрашивала раньше, когда приходила с братом и собакой, не решаясь позвонить в дверь.

Она пришла сообщить о разводе: «Только не кудахчи, ладно? Всё решено».

По зловещей иронии судьбы неземная любовь обернулась против Инки. «Пьёт и бьёт, – бросила коротко. – Живу у своих, он туда не суётся». Ещё один *он* в Инкиной жизни.

В загсе подивились скоротечности брака, но «подумать, помириться» не предложили при виде каменного Инкиного лица. Вскоре после развода она уехала

– не в «долиночку», а в К*** – педиатры везде нужны. В той же больнице через полтора

года познакомилась со вторым мужем, однако стал он им не скоро – боялась обжечься.

Теперь Инка жила в немецком городе с обморочным названием Аахен. Её память, закалённая зубрёжкой в мединституте, помогла выучить немецкий, они с мужем работали в крупной клинике. Подруги перезванивались, договаривались об очередной встрече. Без Инки – две переставленные буквы – Нике не хватало слишком многого, хотя в молодости она легко сближалась с людьми. Результат был всегда одинаковым: время промывало, проветривало новые дружбы, приводя к охлаждению. В каждом новом человеке она искала Инку. Не находя, разочаровывалась и, не умея рвать проросшие отношения, не сразу научилась увеличивать дистанцию и отстраняться. Постепенно дружбы отшелушивались, переходили в ненавязчивые приятельства. Настоящей оставалась только Инка.

Вероника не раз бывала в Европе, но всякий раз мимо Аахена – недалёт, перелёт. Инка тоже пока не выбралась в Америку. Почему прилететь в Город оказывалось легче, чем в Аахен или Нью-Йорк, оставалось для обеих тайной, и только вчера, в утреннем франкфуртском аэропорту, Вероника поняла: в Городе они встречались с детством, он и был их «долиночкой».

Утро наступило быстро. С уверенностью отличать утро от ночи Алик научился не сразу. Вначале помогали внутриутробные звуки дома: разноголосица соседских будильников, бодряя музыка, гул воды, какофония голосов и хлопанье дверей, но тот этап остался позади. То ли дело в детстве: просыпался моментально, глаза распахивались и нипочём не хотели закрываться. Сестра крепко спала, обняв обеими руками подушку. Когда папа был дома, из ванной неслось громкое бульканье – он подолгу чистил зубы (зачем, недоумевал Алик, они же во сне не пачкаются?), затем перекачивал во рту зубной эликсир. Слово «эликсир» Алику чрезвычайно нравилось, и знай он, какая пропасть лежит между манящим названием и ядовитым вкусом, он в жизни не стал бы пробовать, а когда набрал в рот, язык охватило огнём, огонь опалил нёбо, и никакая

сила не могла его смыть, а папа смеялся так, что с его лица слетали клочья мыльной пены.

Давно не думал об отце. Как плотно ни закрывай глаза, из тьмы всплывает только чёрная рама портрета да оседающие хлопья ненастоящего бритвенного снега, пухлые маленькие сугробы, быстро таявшие на полу тёмными влажными пятнами. Папа сдавливал тюбик, откуда выпрыгивала белая колбаска, которую он размазывал по щекам, отчего буйно вспенивалась дедморозова борода. На кисточке вскипало пышное облако. Позднее картинка, где был изображён атомный гриб, удивила сходством с безобидным отцовским помазком в облаке мыльной пены.

Однажды во время бритья зазвонил телефон, и папа заспешил в кабинет как был, с намыленным лицом. Алик осторожно тронул помазок. Кучка пены таяла на пальце, как мороженое. Сходство было такое сильное, что лизнул палец. Гадость.

Что ещё? Портфель – обтрёпанный, с тусклыми металлическими замками, прожорливый, он раздувался всеми складками, как растянутая гармошка. Алик мечтал, что когда он пойдёт в первый класс, ему тоже купят портфель, и он будет ставить его рядом с папиным.

Из детского сада его забирала сестра. Изредка (всегда неожиданно) приходил папа: в дверь просовывалось плечо и голова: «Мой сын?..» – и только после этого запоздалое *здравствуйте*. «Докладывай, какие трудовые успехи», – говорил он по пути домой. Очень собой гордясь, Алик однажды рассказал только что выученный стишок – им поделился на прогулке толстый Гена:

Папе сделали ботинки
На резиновом ходу.

Папа ходит по избе,
Бьёт мамашу пааа... –

– с этого места стишок снова начинал про папины ботинки. Все выучили быстро, такой он

был складный, только жалко, что чью-то маму били. Дети смеялись. Алик тоже сразу выучил злой стишок и пытался понять общее веселье, но не получалось. Папа – его, а не тот, с ботинками, – по дороге несколько раз принимался хохотать. Около дома сделал серьёзное лицо: «Не забудь рассказать маме. По сравнению с мировой революцией ерунда, но красиво». Алик послушно выкрикнул слова, ещё не сняв пальтишка, но мама строго сказала: «Чтоб я этого больше не слышала!» Похабный смысл для него был тёмен, однако в первом классе непотопляемый стишок всплыл опять, и мальчики в уборной, кривляясь и хохоча, всё разъяснили.

Бритвенный крем, помазок, одеколон ухнули в бездонный портфель, как и всё, связанное с отцом, ухнуло в какой-то Ужгород, а вернулось портретом хмурого человека с торчащими ушами.

Почему мать выбрала именно эту фотографию? Куда подевались другие?..

Незадолго до переезда она стала называть мебель не иначе как рухлядью, только тахта избежала всеобщей участи. Письменный стол отца – «мастодонт», в её терминологии, – дала разгрузить Алику.

Странными вещами заселил его отец. Алик нашёл отвёртку, пустую бутылочку из-под чернил, общую тетрадь (девственность первой страницы была нарушена чьим-то записанным телефоном). Ко дну ящика присох пузырьёк туши. Тут же нашлись кусачки, лупа с треснувшим стеклом, скрюченный пожизненным радикулитом тюбик клея БФ-2, рассыпанные винтики, наждачная бумага, прижатая дыроколом, и всякая канцелярская мелочь. Алик выдвинул второй ящик и увидел запечатанные аптечные упаковки с презервативами, поистине мастодонтово количество светлых бумажных квадратиков. Его бросило в жар. Он сгрёб весь хлам в мусорник, отправив туда же презервативы. Стучала навязчивая мысль оставить их себе – вдруг

пригодятся, подсказала стыдная мечта, – когда в бесформенной груди заметил уголок торчавшей фотографии.

Девушке со щекастым круглым лицом и перекинутой на грудь косой было лет семнадцать. Серьёзный, сосредоточенный взгляд и светлая кофта, застёгнутая на все пуговицы. Полненькая, наверное, вон лицо какое круглое. Крепла решимость оставить гондоны себе. Кто это, родственница? Знакомая? Разгадка была написана на обороте круглыми ровными буквами:

*Когда в источниках вода
Высохнет повсюду,
Из камня вырастет трава,
Тогда тебя забуду.*

Почерк принадлежал неизвестной Ане, фамилия была представлена начальной буквой Д, округлой и петливой, как пряник.

Он аккуратно вытащил из мусора белые конвертики. Спрятать их было негде, приходилось носить в школьной папке. Споткнувшись в школьном коридоре, Алик её уронил, и вся его до сих пор не воплощённая половая жизнь рассыпалась по полу.

– Ну ты гигант, чувак!

Алик нагнулся, и Жорка одновременно сделал то же самое, они чуть не стукнулись лбами. Жорка с уважительным интересом оглядел новенького – тихого размазню, слабака. Вряд ли кто-то в классе догадывался, что слабак и размазня по уши влюблён в Аллочку Тарханову, хотя влюблены в неё были многие. Смуглой гибкой красавице Тархановой с персиковым лицом и глазами-черносливинами передавали записки на каждом уроке. Она разворачивала их нежными розовыми пальцами, привычно сдувая со лба тёмный

завиток. Алик чувствовал себя не то глупым *пінгвином*, не то гагарой: «Песню о Буревестнике» Тарханова читала выразительно. Дурацкое ударение превращало солидного фрачного пингвина в пинг-понговый шарик... Интересно, Тарханова играет в пинг-понг? С блестящими глазами сильно бьёт ракеткой, словно отвешивает пощёчину нахалу, и чёрная прядка падает на лоб, а она с досадой отбрасывает её. Революционный пафос горьковских строк Алику был чужд и непонятен, он не сводил с Аллочки глаз. Сколько раз он сплетал на бумаге их имена, с каким наслаждением перекатывал во рту гладкое, как галька, симметричное имя! Заметила ли Тарханова рассыпавшиеся... нет, откуда ей знать о *таком*.

После уроков Жорка подошёл:
«Перекурим?»

Жорка был особенный. Носил он синий костюм, копию школьной формы, намного превзошедшую оригинал, ибо сшит был на заказ

из дорогого материала. Форма же диктовала белый цвет для рубашек и допускала полоску, как в тетрадях, и Жорка Радомский носил рубашки всех оттенков, от слепящего глаз белого до сливочного и сизоватого, как тени на снегу. Рубашки были приталены, узел галстука чуть ослаблен, а главное, носил он одежду с франтовской непринуждённостью, которой и взрослые обладают нечасто. В курятнике восьмого класса, набитого горластыми, вырастающими из своих школьных костюмов угреватými подростками, Жорка был юношей, и девочки по достоинству ценили Жоркину элегантность. Как-то на замечание классной, что ему пора стричься, Жорка, вежливо кашлянув, объяснил: «У меня клаустрофобия от парикмахерских». На следующий день в школьном коридоре появилась модно одетая женщина, Жоркина мать. Она благоухала неземным ароматом, и в течение разговора классная сочувственно кивала, пытаясь вспомнить непонятное слово и одновременно

прикидывая, хватило бы её зарплаты на сумочку родительницы. Нет, сумочка не вытанцовывалась, а если бы вдруг случилось чудо и повысили зарплату, где эту сумочку добыть и с чем носить?.. Она вздыхала, пряча под стул немодные туфли, почти не слушая рассказ о «глубокой психологической травме мальчика, вы меня поймёте». После такого призыва классная не могла не понять, и Жорку с причёской «под Битлов» оставила в покое. Глубокую психологическую травму, как узнала классная, нанёс её питомцу развод родителей, по условиям которого Жорка попеременно жил то с матерью, то с отцом. Учительница могла бы возразить, что в классе пруд пруди таких психологических травм, однако не у всех мамаш такие сумки, вон другие ребята патлатыми не ходят, так почему же?.. Здравый смысл бунтовал: возрази, поставь на место, но она продолжала кивать.

Как Алику было не растеряться, когда сам Жорка предложил: «Перекурим?»

Они заняли скамейку в маленьком пыльном сквере. Жорка курил «Marlboro», да и странно было бы вообразить его с «Примой». Только бы не спрашивал о гондонах (Алик покосился на папку), придётся врать. И заговорил первым: «А раньше мы жили...».

– Ты где резиновым изделием разжился?
– вернул его Жорка.

– У отца в письменном столе.

Врать не понадобилось, и от этого стало легко.

– А если догадается?

– Он умер.

И добавил:

– Погиб в горах, в походе.

Жорка не стал сочувствовать, помолчал. Алику тоже не хотелось говорить – вспомнил, как укладывал «Остров сокровищ» в чемодан (как будто в поход ходят с чемоданом!), как терзался, брат Зайца или оставить, как сдвинул с места тяжеленную гирю...

Перекуром не ограничилось, они часто возвращались из школы вместе. Жорка был «центральной мэн», или просто «центральной». Это означало не столько место проживания, сколько его социальный статус. Квартира матери и её нового мужа находилась в так называемом «дворянском гнезде»; отец, который регулярно ходил в море, оставлял в распоряжении Жорки свою, в нескольких кварталах от порта. Родители старались облегчить ему «глубокую психологическую травму»: оба щедро снабжали Жорку деньгами, отчим добывал билеты на гастроли, отец привозил из плавания импортные тряпки; лишние Жорка выгодно сбывал.

...Алик нашарил на полу тапки и поднялся. Дошёл до ванной, стараясь не споткнуться и не стукнуться ногой о столик; четырнадцать шагов. Оттуда – на кухню: одиннадцать, иногда двенадцать. Налил воды в чайник – это давно выучено, потому проделал уверенно; включил.

Теперь можно сесть у раковины на табуретку и закурить первую утреннюю сигарету. Где же «ронсон», чёрт возьми?.. Не забыть спросить у Зепа; что-то он не звонит. Из ванной доносился лепет водяной струйки, бачок не умолкал. Опять надо тащиться к дворничихе. Голова приятно кружилась, и думать о сантехнике не хотелось. Авось пожурчит и смолкнет. Он наскрёб в кружку кофе, добавил сахар и так, держа кружку левой рукой, правой поднял чайник. Предстояло самое трудное: совместить одно с другим, кружку с кипятком; ошпаривался несколько раз, пока научился. Лера права: наливать надо над раковиной, но там посуда. Теперь – осторожно, касаясь стены левой рукой (в правой кружка) – назад, к дивану, это восемнадцать-девятнадцать шагов, нога нащупывает края столика.

...Впервые он попробовал растворимый кофе у Жорки. Всё было для него в диковинку в огромной, пустовавшей во время плавания

Жоркиного папаши, квартире: лепной потолок, как в музее, тяжёлые люстры с цацками, которые можно вешать на ёлку, изразцы на высоких кафельных печках. К Жорке приходили разные, не сочетающиеся друг с другом люди, говорили вполголоса, словно боялись, что их подслушивают, и спешили уйти. Влад Алику запомнился портфелем: обтрёпанностью и тусклыми замками портфель походил на отцовский. Влад оказался фарцовщиком – слово было новым, как и растворимый кофе. Неприметная внешность, как и непонятный возраст – двадцать пять или сорок – идеально подходили для его деятельности. Жорка передавал ему джинсы, блестящие, яркие журналы, пачки с чем-то кружевным, просвечивающим сквозь целлофан, и книги. Портфель раздувался на глазах, как растягиваемая гармонь, и снова папа уезжал, укладывая в складчатое брюхо толстые папки с завязками, свитер и «пшикалку», источавшую особенный «папин» запах. В зеркале мелькнуло

лицо с усиками, глубоко сидящими глазами и влажными волосами на лбу. Наваждение длилось недолгие секунды и пропало, когда Жорка захлопнул дверь за скрывшимся портфелем.

Жорку с Аликом нередко принимали за братьев – например, звонившие в дверь девушки. Появлялись они всегда втроём или вчетвером, о чём-то тихо, но настойчиво просили Жорку и торопились в прихожую, лукаво пропев: «Чао!»

В старом парке неподалёку от порта Жорка был своим, и скоро почти таким же своим стал Алик. Сюда сходились такие же подростки, «центровые» и не очень, объединённые названием «пипл». Алик по настоянию матери учил французский (вот сама бы и учила, злился он), и смысл английских слов открывался для него медленно. Рассаживались на скамейках и прямо на траве – май был тёплым. В своём школьном костюме Алик чувствовал себя дурак дураком – на остальных

были расклешённые до юбочного силуэта брюки, растянутые свитера, джинсовые куртки с заклёпками. Девочки, тоже в джинсах или длинных ярких балахонах, ходили с распущенными волосами, перехваченными тесёмками, многозначительно курили, рассеянно улыбались. У многих блузы были расписаны цветами, на руках звякали браслеты. К ним подошёл парень лет семнадцати с завязанными узлом концами рубашки, на шее висела круглая металлическая бляха. Пройдут считанные недели, и такой же знак Алик нарисует на своей выгоревшей куртке; он отдал бы многое, чтобы ощутить свою причастность *пиплу*. Пока что он был чужим и курил почти непрерывно, чтобы не позволять пальцам сучить невидимую нитку. Жорка, наверное, понял его состояние – легко поднялся со скамейки: «Давай ко мне?»

...где вытащил спичечный коробок с какой-то трухой и листок папиросной бумаги, ловко скрутил сигарету, затянулся, но дым не

выдохнул, а задержал во рту, после чего протянул сигарету Алику. Там, в парке, ребята делали то же самое (наверное, сигарет не хватало, подумал он), но теперь уловил что-то ритуальное, как в церкви, где видел однажды, содрогнувшись от отвращения, как люди по очереди целовали крест. Жорка выдохнул дым, улыбнулся; в протянутой руке дымилась сигарета.

Первая самокрутка («косяк», поправил Жорка) вызвала лёгкое головокружение и волну приятного тепла. Алик вопросительно глянул на друга и передал сигарету; Жорка кивнул и затянулся, легко касаясь конца сухими губами. Захотелось смеяться, хотя ничего смешного не произошло, но смех распирал изнутри, рвался наружу. Первым рассмеялся Жорка – легко, как ребёнок. Оказывается, смешно было всё вокруг – и дым, и легко плывущие стены. Хохотали оба.

Мать ничего не заподозрила – ни тогда, ни потом; ей было не до того. Новый район, новая квартира, новая мебель – она заигралась в

новизну, и как-то сам собой завязался новый летучий роман с давним знакомым, начальником паспортного стола, к тому времени за что-то отлучённым от семейного ложа. Перед его женой, прежней своей подругой, Лидия вины не испытывала.

Начальник паспортного стола выгодно отличался от лысого дяди Вити чёрно-бурой сединой, широкими плечами и глубоким, идущим из могучего нутра голосом, который он старательно приглушал. Алик возвращался поздно – начались летние каникулы, и они с Жоркой шатались по взморью. Он тихо поднимался на четвёртый этаж, и на коврике в прихожей его встречали большие начищенные чёрные туфли. Алик проскальзывал на кухню – после марихуаны разыгрывался бешеный аппетит.

К концу лета туфли с коврика пропали, зато Лидия поменяла фамилию: Волгина, с ударением на последнем слоге, звучало совсем иначе, чем Михайлец. Фамилию выбрала сама:

герой невязкого романа часто с задушевым пением вспоминал юность, прошедшую на Волге («мои лучшие годы, Лидусик...»). Его не удивила просьба о «маленькой любезности», всё прошло без сучка и задоринки; когда настало время получать паспорт, Алик стал Олегом Волгиным.

И кончалось лето, прекрасное и бесконечное. Впереди маячил девятый класс.

...Из открытого окна потянуло влажным холодком. Одиннадцать шагов – подойти и закрыть. Он высунул руку. Прохладные капли быстро и ласково клевали кожу. Раскрыв ладонь, он ждал, пока в ней накопится миниатюрная лужица, точь-в-точь как маленьким делал на даче: ему нравилось водить мокрой ладошкой по лицу, по голове, а нянька любовно причёсывала его влажные волосы.

Маня. Как тосковал он без неё в детском саду и как скоро забылись и тоска, и сама

нянька. Садик сменился школой, и как-то раз он вышел из мрачноватого кирпичного здания, погромыхивая пеналом в ранце. Хлопала дверь, впереди и сзади группками шли, бежали, обгоняли друг друга ребяташки. На перекрёстке стояла Маня, готовясь перейти дорогу. Проехала машина, и нянька заторопилась ему навстречу. Некрасивое старое лицо её светилось радостью, улыбалось – губами, глазами, всеми морщинами. Чей-то звонкий голос выкрикнул: «Баба-яга!» Другой, за Аликовой спиной, подхватил: «Каракатица – не идёт, а катится!» Не подозревая, что крики относятся к ней, Маня неумолимо приближалась своей колченогой походкой, от спешки сильнее припадая на уродливый ботинок. Алик смутился, замешкался и, сам не зная как, оказался в кучке с теми, кто дразнил и смеялся. Маня посмотрела на него с любовью и недоумением, и ребята стали оглядываться. Алик помчался к дому, ни разу не остановившись.

О «бабе-яге» и «каракатице» никто на следующий день и не помнил; Алик умирал от стыда. Промаявшись два дня, после уроков он направился к Мане. Долго стоял под дверью, переводя дух, и хорошо, что носовой платок лежал в кармане. Постучал раз, другой; потом ещё, более уверенно, и трусливо обрадовался, когда никто не открыл. *Я же не виноват, что её дома нет, я хотел извиниться*, уверял он лестничные перила. Навстречу поднималась тощая старуха, прямая как палка. Сердце мальчика сжалось – он всегда побаивался Марту. Старуха мазнула по нему взглядом и продолжала путь – мало ли мальчишек ошивается на лестнице.

Я хотел попросить прощения, говорил он Зайцу, а Мани не было дома.

Сколько ему тогда было, лет десять? Одиннадцать? Если бы знал, что стыд никогда не умирает и не забывается, обежал бы магазины, всего-то числом три, где ж ещё ей

быть. Нашёл бы, объяснил... хотя Мане ничего не надо было объяснять.

Больше няньку не встречал.

При бессоннице советуют считать овец. Идиотская рекомендация родилась не иначе как у пастуха при бездумном созерцании пасущегося стада.

Вероника не принимала снотворных. Если не получалось уснуть, она включала свет и открывала книгу. С возрастом сон, перемежающийся чтением, вошёл в привычку.

Другое помещение, кровать, лампа, а главное, другое время, что означало сбитые биологические ритмы. Короткая неглубокая дремота сменялась кошмарами, когда целую вечность валишься в бездну, а падение длится мгновения.

В последнем сне бездной назначили обыкновенный колодец, с воротом и верёвкой, привязанной к деревянной бадье. В колодце брат, она должна его вытащить. Он кричит снизу в телефон, почему-то по-английски: «Faster!», но Ника слышит его без всякого телефона, руки

заняты – бадью нужно отвязать, тогда верёвка станет длиннее и он сможет ухватиться. Мокрый узел похож на плотно сжатый кулак и завязан намертво. Хорошо бы поддеть ножом. Алик снова кричит весело, бесшабашно, как будто они затеяли игру. Нож есть у Инки, но Инка в Аахене. Ника спускает бадью, та стремительно летит вниз, верёвка до предела натягивает ворот и рвётся. Грохот, удар.

Очнулась: убила, брат умер в колодце!.. От ударов сердца закладывало уши. Стук повторился: на улице хлопнула дверца машины.

Половина второго. Ни богу свечка ни чёрту кочерга. Почему сны страшней и ярче реальности? В далёком детстве на Второй Вагонной Ника прожила этот ужас колодца вместе с Тёмой, спасавшим Жучку. На даче колодцы были совсем другие: колонки с насосом, приводимым в движение тяжёлой металлической рукояткой – надавишь раз, другой, и вода, поперхнувшись и давясь, с плеском падает в подставленное ведро. Ни

бадьи, ни верёвки. Провалиться в такой колодец нельзя, но несмотря на это, Маня не подпускала братишку к нему.

Какой абсурд – говорил из колодца по телефону, к тому же на английском. У него начал ломаться голос в четырнадцать лет, он то хрипел, то срывался на дискант, но петушина неровность обернулась милым юношеским тенорком, который со временем от курения стал глуше. Тем не менее, по телефону голос его звучал почти как прежде – задорно, радостно. Захотелось позвонить ему прямо сейчас и рассказать о страшном сне, но взгляд на часы отрезвил: середина ночи. Завтра наговоримся. Как он несколько раз просил, когда она звонила из Нью-Йорка: «Расскажи о себе, сестрёнка!»

Слово «сестрёнка» коробило, как скрежет стекла по жести. Ника называла его братишкой только в детстве, не называть же карапуза взрослым словом «брат». Однако у писателей (если он пишет) иное чувство слова. Может, ей только мнится фальшь слова «сестрёнка»?

Не исключено, что книга уже написана, а телефонный монолог – экстракт готового текста, обкатанный в разговоре. Книгу она привезёт в Нью-Йорк... Сумел ли он в тексте избежать подводных камней, лавируя между откровенностью и умолчанием, между тем что невозможно рассказать и о чём нельзя промолчать? Говорил об афганской войне, где не был, не мог быть, но писал о ком-то другом. Творческий процесс для Вероники был тайной за семью печатями. Можно наслаждаться книгой, не зная кухни профессионального писателя, хотя это скорее больница, родильный зал, в котором осуществляется таинство – появление на свет некоего фантома, героя. Там же новорождённый обретает правдоподобность, отряхивается и, вежливо выпутавшись из бережных рук сочинителя, становится на собственные ноги, чтобы поспешно ринуться в жизнь, оставив папу Карло в руках подросевших карабинеров-читателей. Так она рисовала себе литературного героя.

И всё же представить Алика выдумывающим персонажей, строящим сюжет, интриги не получалось. Наверняка пишет о себе, а тема Афгана – выплеск его собственных комплексов. Он называл себя «слабаком», это вбил в него регулярными подначками отец. В последний раз тень этого папы Гамлета (вернее, его портрета) легла на раскрытую коробку с английскими белыми туфлями, купленными к свадьбе, отчего белизна их стала сомнительной. Тень упала не только на туфли; в Мишкиных глазах появилось новое вопросительное выражение, тень сомнения.

Ника не задумывалась о национальности Сергея Михайлеца – в школьных анкетах однообразно писала: «русский». Он мог быть украинцем, русским, евреем; да кем угодно мог оказаться непонятный этот человек, однако мать назначила его евреем, а Нику антисемиткой – для Мишки. Бог не выдаст, свинья не съест; а портрету всё равно.

Для брата канувший в Ужгород был любимым папой. Возможно, повзрослев, Алик и снял его с пьедестала. Нике было проще. Собственное безотцовство служило ей защитой от предательства; брат защищён не был. Скандальный отъезд, обещание похода, непонятная, так и не расшифрованная, смерть. Что означало слово «погиб» – реальную смерть или исчезновение из их жизни? Полина в те дни находилась при матери почти неотлучно, благо в школе начались каникулы. Смерть, если она случается не на войне, не обходится без неизбежного печального ритуала, но про похороны не говорили. Странная «гибель», без подробностей и скорбного обряда. Загадочность эту Вероника додумывала в спортивном лагере, несколько раз звонила домой. Мать расспрашивала о лагере: хорошо ли кормят, с кем она подружилась... Говорила спокойно,

словно ничего непоправимого не случилось. В Ужгород она не ездила.

Времени в лагере хватало. Смерть, настоящая или условная, требовала осмысления. Какое место папа Михайлец занимал в её жизни? Вначале – важное: Людка больше не дразнилась. Папа был настоящий, не на фотокарточке, с гирей, мировой революцией, помазком и усами; полноценная укомплектованная семья. «Интересный мужчина», соглашались подруги – не то Муза, не то Лиза. Подбрасывал ли он когда-то Нику к потолку? – Не помнила. Никогда не сажал на колени, не целовал, не читал книжек – это знала чётко. В детстве было не совсем понятно, зачем папы нужны, но не спрашивать же Людку.

Было ли его жаль? Да, как жалко любого человека, ушедшего из жизни – видя похороны, не улыбнёшься, ведь это чьё-то горе. Но потери Ника не чувствовала, потому что при жизни папы не чувствовала ни его любви, ни тепла.

После истории с шахматами и делением в столбик относилась к нему насторожённо.

Из всего связанного с Михайлецом уцелело в памяти до смешного мало, и самой загадочной вещью осталась машинка для стрижки волос, принесённая им ещё на Вторую Вагонную. Смешной инструмент, игрушка, газонокосилка в миниатюре – знай щёлкай.

...что Ника и делала в дни блаженной свободы, до эпохи детского сада – щёлкала машинкой в поисках достойного применения. Подстричь бы травку на газоне, но до травки было далеко, на газоне лежал снег. Гладкая обойная ткань интереса не представляла – диван был практически лысым, как и обе целлулоидные куклы. Не расставаясь с машинкой (ручки приятно пружинили), Ника слонялась по комнате. Нашёлся только один кандидат на стрижку: плюшевый лев, подарок маминой подруги тёти Музы. Грива,

недостаточно буйная для льва, делала его похожим на собаку. Машинка ждала применения. Пришлось усадить подопытного льва на стул, с которого он то и дело валился, и кое-как укутать в полотенце.

Результат обескуражил: под кудлатой гривой на львином затылке появилась голая, как пятка, поляна грубой тёмно-серой ткани. На полу валялись и прилипали к тапкам яркие клочья былой славы льва. К счастью, хватило благоразумия – или сказалось отсутствие опыта – скосить не всю гриву. До прихода мамы Ника старательно уничтожила следы преступления: полотенце повесила на гвоздик и выкинула оранжевые лохмы, чтобы нигде не оставалось следов парикмахерской работы. Голову пострадавшего повязала косынкой.

Мама невнимательно глянула на кровать – лев смиренно привалился к подушке – и спросила вскользь: «Что у него с головой?» Ох, если б она знала, что у него с головой!.. Она пожала плечами: «Простудился». К счастью,

Лидии было не до льва: личная жизнь, похоже, налаживалась, одиночество шло к концу, и скоро забудется комната в коммуналке, вечно занятая уборная и неприветливая кухня, где у соседки что-то выкипает на плиту.

Ника бдительно проверяла каждый день, быстро ли отрастает новая грива. Что она непременно отрастёт, ни малейших сомнений не было. Каждый день она по несколько раз отгибала косынку и, поднеся льва к окну, внимательно разглядывала выстриженный затылок. Убеждалась: растёт, вот уже самую капельку отросла. В то же время брало сомнение, поэтому приходилось всё настойчивее себя уговаривать. У людей же волосы растут... Шли дни, морда льва становилась всё печальней, и как-то, меняя наволочку, Лидия смахнула льва на пол. Косынка свалилась.

– Они растут, я вижу! – уверяла дочка, тыча в серую материю.

Мама хохотала.

– Горе ты моё луковое!

...Чудесное время, когда мама была мамой, а горе только луковым.

Парикмахерская машинка куда-то бесследно пропала при переезде. Лев остался живым укором, с выстриженным затылком, а потом тоже пропал. Куда? Куда пропадают вещи детства?..

Про льва Вероника рассказала дочке и сыну, и как же заразительно они смеялись! «Ты действительно думала, что грива отрастёт?» Умные, скептические взрослые дети. Как им объяснить? Ей и сейчас кажется, что отросла, пусть хотя бы на миллиметр. Живуч ребёнок в человеке.

Расскажи о себе, сестрёнка.

Как рассказать о себе? Прожить легче, чем облечь прожитое в связное повествование, и не

потому что жизнь её неописуемо сложна, просто пересказ звучит искажённо, словно знаешь все ноты, но сыграть не можешь. И что расскажет о себе он?

Алик оставался ребёнком очень долго. Его называли инфантильным – все, кроме Полины. Смог ли написать о том жутком дне, ставшем его пожизненным стигматом? Если сумел взглянуть со стороны на себя, перепуганного третьеклашку, и притвориться, что это не он, это другой! – тогда смог. Он признался лет в шестнадцать: «не могу её разгадать».

Ника тоже пробовала. То, что врачи называли «нервным срывом» и «попыткой самоубийства», нуждалось в отдельной расшифровке и требовало буддистского спокойствия, но захлёстывала злость. Снова встало перед глазами лицо Полины, когда она за руку ввела перепуганного мальчика с крепко прижатым к груди Зайцем.

Алик не плакал, однако сказать ничего не мог и часто судорожно зевал. Он уснул очень

быстро и спал подолгу. В школу не ходил. Как объяснил детский невропатолог, шок отступает неохотно. Алик, которого трудно было оторвать от книги, теперь отказывался читать: «Я не умею». Они с Полиной читали вслух, и Ника старалась не смотреть на его правую руку – пальцы вязали узелки, прерываясь, чтобы отрезать кусок нитки. Нитки, нитки, вороха ниток. И заикание, которого он отчаянно стеснялся, слова застревали в гортани и медленно, мучительно выталкивались.

– Теперь у Виктора будут неприятности, – сказала тётка.

– У какого Виктора?.. – Ника не сразу сообразила, о ком речь.

– Это ведь он ей те таблетки выписывал.

Меньше всего Нику волновали неприятности «дяди Вити»; понять бы, что произошло. И главное, зачем?

Многое прошло, отболело, другое не забылось даже в Нью-Йорке, среди собственных перипетий. *Расскажи о себе.* Что тебе рассказать, Алька? Как непросто выросли дети в эмиграции? Как я ночами проверяла студенческие работы? Как блёкла близость с Романом, о котором ты ничего не знаешь, блёкла, словно забытый всеми комнатный цветок? Виновата ли в этом одноклассница, внезапно ввалившаяся в их жизнь, или она сама?

Ника не рассказывала Роману о матери, Мишкин ли опыт удерживал. Об её существовании муж и свекровь знали, но тема была не то чтобы запретной, а – необсуждаемой. Закрытая тема перешла в статус забытой. По сравнению с мужем Вероника чувствовала себя девочкой из неблагополучной семьи, как Инка, хотя давно была матерью семейства вполне благополучного – до появления одноклассницы.

Нет, о ней не надо. Ни говорить, ни думать.

...Расскажи о себе. Знал ли брат, почему она стала жить у Полины? Сумеет ли она объяснить? Может, не уйди она тогда, не случилось бы то, что случилось, и не было бы ни шока, ни бесконечных этих нитяных узелков.

Тётка Поля вела себя как обычно: раньше всех вставала, готовила завтрак, уходила в школу, вечером проверяла тетради. Не раз и не два Ника замечала, как взгляд её напряжённо замирает, словно та что-то силится понять. О случившемся не говорили.

Тётка взяла брата с собой в больницу. «Мальчик должен убедиться, что мама жива, тогда шок скорее пройдёт. А тебе сейчас не надо. Потом...»

Она и не смогла бы. Ника не чувствовала ни жалости, ни снисхождения, в ней кипела ярость, которая почти вытеснила боль от слов матери – слов, сделавших невозможным возвращение домой. Думала, что сбежала на

время, чтобы не сновать между домом и тёткиной квартирой, ждала момента, чтобы вернуться, но стоило вспомнить «дядю Витю», бережно приглаживающего опушку лысины, его покашливание и ироничное «здравствуйте, девушка», как вскипало раздражение.

Представлялось, что вот так же заходит он и к себе домой – или там не обязательно прилизывать лысину?

Тётка понимала, что Ника приходит к ней, чтобы не идти домой. Не умея лукавить, она спросила в один из вечеров: «Что-то стряслось, золотко?» Ответить было нечего, но как объяснить, что от Витиного приветствия становилось противно? Что холодно бродить с Инкой по осенним улицам или что братишке разрешают гулять допоздна? Что он торчит на чердаке и стал курить? И как ему сосредоточиться на уроках, а ей готовиться к контрольной, если в доме почему-то ходит и говорит назидательным голосом чужой человек, а потом закрывает дверь во вторую комнату? Не

выдержала – рассказала про визит жены, как она стояла посреди комнаты, а мать, так и не предложив ей сесть, разглядывала спокойно и беспощадно поношенное пальто с немодным шалевым воротником, и платок, и несчастные перчатки, за которые та держалась изо всех сил.

– Выкини всё из головы, думай об экзаменах. Места достаточно, – Полина кивнула на пустующую бабушкину комнату, – с Лидой я сама поговорю.

Рюкзак остался со времён спортивного лагеря, с ним же Ника ходила в школьные походы. Выгоревший на солнце, с тёмным несмываемым потёком в форме карты Италии, он вместил вещи, необходимые на первое время. Мать пришла с работы.

– Бегство с тонущего корабля? Твоя тётушка звонила.

Формулировка «твоя тётушка» означала крайнюю степень раздражения.

– Тебе всегда было плевать на семью.

Ника малодушно пробормотала:

– Мне нужно готовиться к сочинению, Полина поможет.

Краем глаза видела в одной створке зеркала спину матери в её любимом сером костюме и затылок, в другой отражался профиль со сжатыми губами, щёки напряжённо втянуты, завиток огибает ухо. Про сочинение она умело не слышала.

– Ты разрушила семью. Почему, ты думаешь, отец ушёл? – Из-за тебя.

Ника подняла глаза – не на трельяж, а на лицо перед нею.

– Зачем ты врёшь? Я же...

– Чтобы я. Такого. Не слышала. Никогда.

Чёткие, чеканные слова – и взрыв:

– Какое ты имеешь право так со мной разговаривать?! Кто ты такая?

Руки задрожали. Физкультурная форма, тапки. Ничего не говорить, переждать. Задачник для поступающих в вузы. Ночная рубашка. Сейчас она закурит и начнёт остывать. Почему

«из-за тебя», при чём тут я?.. Таблицы Брадиса. Какой «отец», он мне никакой не отец... Где справочник Выгодского? Блузку там постираю. Выгодский у Инки. Дневник; английский, химия...

Чиркнула спичка, мать затянулась, и кто-то позвонил в дверь.

Из коридора донёсся мальчишеский голос: «Здрассь-тётъ-Лид, Алик выйдет?». Мать яростно хлопнула дверью. Поссорилась с Полей, не иначе.

Мать резко дёрнула к себе стул.

– Я тебя спрашиваю. Кто ты такая?

Рюкзак застёгнут. Помолчать бы, но слова выскочили автоматически:

– Твоя дочь.

– Ты – моё г...., – хладнокровно бросила мать. – Я тебя выс...ла.

...Детям о таком не расскажешь, и в куцый файл попало одно предложение: «Я решила

пожить у тёти, чтобы подготовиться к экзаменам».

Она чуть не сбила на лестнице замёрзшего брата. «Тебя Вовка искал», – и дальше бегом, словно можно было убежать от её слов. Говорят, брань на воротах не виснет; однако и не забывается. Мудрые поговорки не прибавляли смирения, только злили.

Тётке не рассказала. Сунула в таз школьную блузку – и вдруг разревелась, как последняя истеричка. Слезы падали в пышную мыльную пену, как в пористый снег капает тающая сосулька.

...Кашемир нужно стирать вручную. Что Вероника и делала: весна в Нью-Йорке не задерживается, лето властно выталкивает её, накаляя неумолимым солнцем воздух до пыльного зноя. В нежной ароматной пене

сплелись рукава любимого джемпера с нелюбимым шарфом, и вспомнилась давняя боль от слов матери, сказанных в день Никиного ухода. Много воды утекло с тех пор, и постепенно растаяла мыльной пеной неприязнь к персонажу из жизни матери. Что такое «дядя Витя», кроме лысины и очков? – Статист, «шестёрка». Зачем он был ей нужен, для самоутверждения? Как лекарство от одиночества? Чего-чего, а одиночества Лидия нахлебалась досыта; спаслась в замужестве, да только замужество вон как обернулось, и остроумная, элегантная красавица снова одна, и лет уже не двадцать, а – страшно сказать! – вдвое больше. И вдвое больше детей. А на работе начальник, очередной мойдодыр, обводит её липким взглядом с головы до ног – точнее, наоборот, – с новым интересом. *Что же вы спешите, Дусенька...* Тревожные ночи, рваный сон, а телефон молчит хоть разорвись. Пора заняться собой, к невропатологу записаться.

Невропатологом оказался дядя Витя.

...Нежный кашемир требует особой сушки: его следует аккуратно разложить на мягкой ткани, поверхность должна быть ровной. Встряхнёшь высушенную вещь, начнёшь складывать – и внезапно заметишь крохотную ровную дырочку, оставленную молью, потом вторую...

Так и твои умозаключения – чистое моделирование, а говоря попросту, вилами по воде писано. Брат не поможет – он тихо ненавидел зачастившего заботливого доктора.

Жорка перешёл в английскую школу, что не мешало друзьям видеться. Кроме занятий, Жорка брал – охотно и добровольно! – частные уроки того же английского: готовился поступать в МГИМО, хотя впереди было целых два года.

– Всего два года, – серьёзно поправил он.

Теперь намного реже прибегали «клиенты», как он называл обаятельных девушек. Скрылся деловой Влад – и очень кстати, потому что Жоркин отец вернулся из очередного рейса. Алик впервые увидел капитана дальнего плавания. Заранее представлял себе твёрдое мужественное лицо с обветренными скулами, суровый взгляд и непременно бородку, такого среднеарифметического Хемингуэя. Человек, который открыл ему дверь и сразу вернулся на кухню, где увлечённо возился с джезвой, оказался симпатичным дядькой с весёлыми тёмными глазами, коротко подстриженными

волосами, и только глубокий нездешний загар свидетельствовал о дальнем плавании.

– Гоша в ванной, он сейчас выйдет. Алик, да? Садись.

Он говорил на кухне глубоким звучным басом и так же, наверное, отдавал команды на капитанском мостике. Зачарованный голосом, Алик не сразу понял, кто такой «Гоша», когда в кухню вошёл Жорка с мокрыми волосами.

– Знакомься: мой папа, Андрей Богданович; он же Эндрю.

Капитан ворожил над кофе. Жорка протянул Алику банан – небывалый фрукт из небывалой заморской жизни.

– Там этих бананов есть не хочу, – басил Эндрю, наливая кофе. – Команда смотреть на них не может, разве что поначалу.

Жорка ловко раздевал банан. Эндрю сел к столу. Сейчас рому хлопнет, подумал Алик, однако капитан опустил в чашку ломтик лимона.

– Привык, – улыбнулся, встретив удивлённый взгляд Алика. – Попробуй; но тогда сахар нужен.

Улыбался капитан точь-в-точь как Жорка. Во рту долго таяла мучнистая сладость банана. Почему матросы не хотят их есть?

Они шатались по Старому парку, крутились в порту, где Жорка практиковался в английском, болтая с моряками иностранных судов. Теперь он выучивал наизусть куски из английских текстов, тренировал память: «дипломату без этого нельзя». Он говорил о своём будущем как о чём-то решённом, занимался много и подолгу, и только захлопнув учебник, скручивал косяк.

Его энтузиазм не подстёгивал Алика, в школе он откровенно скучал. О будущем не думал, оно рисовалось неопределённым и зыбким, вроде медузы: мелькнёт и скроется в волне, сольётся с пузырями пены. Хорошо бы научиться играть на гитаре, как тот светловолосый парень в рубашке с разводами.

Влекла не только музыка, но и манера игры, движение кисти, словно стряхивающей что-то лишнее со струн. Алик зачарованно слушал непонятное: «Ob-La-Di, Ob-La-Da..». Около гитариста сидели девушки, качая в такт распушенными волосами, подпевая слова, смысл которых был тёмен даже для Жорки. Стоял октябрь, яркие листья горели на деревьях и падали на траву. Здесь Алик познакомился с Зоей. Экипировка – самострочные джинсы, бесформенная блуза на бугрящихся развитых формах и полотняная торба с кривовато вышитой буквой «H» – указывала на принадлежность к пиплу. Девушка выглядела неуверенно. Жорка кивнул ободряюще, показал пальцами «V», улыбнулся. С того вечера толстая девчонка держалась рядом, это раздражало Алика и в то же время притягивало. Гитара разгонялась: «Ob-La-Di, Ob-La-Da...». *Обладай, обладай*, слышалось ему. Слово «обладать» завораживало – это было не то что *перепихнуться*, хотя по сути то же самое. Он

мечтал *обладать* Аллочкой Тархановой, до которой толстой Зое было как ему до капитана дальнего плавания, но красавица с персиковым лицом оставалась мечтой, а Зоя сидела рядом. Когда передавали косяк, расстояние незаметно сократилось. В октябре рано темнеет, девушки зябко передёргивают плечами – безошибочный сигнал, чтобы расстегнуть куртку и заботливо укутать плечи; благодарный Зоин взгляд обещал продолжение, желанное и тревожное. «Ob-La-Di, Ob-La-Da...» – *обладай, обладай...*

– Боровая герла, хоть и не в моём вкусе; не тушуйся, – хлопнул его по плечу Жорка на автобусной остановке. – Резиновые изделия оприходуешь. Чао!

В автобусе у Алика горело лицо – казалось, все люди на остановке слышали и смеются. Он трясся на заднем сиденье, держась за поручень рукой, помнившей Зоино прикосновение. Какая у неё мягкая рука. И вся она, наверно, мягкая...

Девушка подходила сразу, появлялся Алик с Жоркой или один. «Она к тебе точно неровно дышит, – уверял Жорка, – не разочаровывай герлу».

Дурацкое слово рыбной костью застревало в гортани, зато по-английски. Весь пипл так говорил, у многих были свои гёрлы. Неторопливый косячок на двоих, значительные взгляды, прогулки вдвоём... Он провожал Зою домой, возвращался в свой до сих пор чужой район и понятия не имел, как действовать дальше (и главное, где). Любовная истома и сладостное забвение, которые сулили Золя с Мопассаном, отодвигались, как линия горизонта, в бесконечную даль, а ноябрь не располагал к долгим прогулкам.

Узнав, что друг топчется на месте, Жорка присвистнул: «Ну, ты даёшь! Окей, завтра у меня инглиш, я заскочу на хату к папане, он в море. Подгребайте, потом я свалю».

Замысел удался, как всегда бывает, когда участники хорошо знают свои роли. Вовремя

подошли к дому, Алик вовремя стукнул себя по лбу: «Чуть не забыл, Жорка мне словарь обещал, зайдём?» И Жорка вовремя взглянул на часы: «Чёрт, я на урок опаздываю! Чао, ребята»; хлопнула дверь.

Одни.

– Классная хата, – сама того не зная (или зная?), помогла Зоя, после чего стало необходимо показать ей всю квартиру, дружески приобняв за плечи, чтобы не робела, и не убирать руку – наоборот, обнять крепче, прижаться щекой к волосам и заглянуть в глаза, но это можно сделать, только обняв обеими руками и повернув к себе. Накатывала горячая волна. Мешок соскользнул с её плеча, глухо стукнул в пол, и Зоя потянулась поднять его, но передумала – подняла руки и положила на плечи Алику, отчего пространства между ними не осталось, он чувствовал её всю, дыхание сбивалось.

– Не бойся.

– Не надо...

– Не бойся. Не бойся.

Гладкая, прохладная шея, а дальше как в игре: тепло, ещё теплее, горячо. Самым трудным барьером оказался лифчик с чёртовой уймой пуговиц, как кнопки в лифте. Справился наконец, под нерешительное Зоино «не надо», и ладони наполнились тёплой упругой тяжестью. Девушка неуловимым движением избавилась от чего-то, ткнув в угол дивана комок, и тут он вспомнил об аптечном товаре. Спасибо, папа.

– Не смотри, – попросила тихо.

Алик послушался, боясь и не зная, что будет дальше. Не помнил, в какой момент он открыл глаза. Нежная кожа – и грубые красные полосы на животе и под грудью, как рубцы. Продавщица поддевает ножом грубую верёвку на окороке, верёвка распадается, но рубцы остались. Как она такое носит? У Тархановой всё не так, не может быть, чтобы – так, и пахнет она иначе, не кислым. От вопроса «тебе хорошо?» стало стыдно. С закрытыми глазами потянулся к шее – погладить, поцеловать

нежную кожу, но губы ткнулись в шершавую кофту, которую девушка стыдливо запахла. Вот оно, сладкое забвение. Скоро вернётся Жорка.

...В автобусе было пусто, тряско и очень холодно. Мать спала. В зеркале маячила всё та же высокая мальчишеская фигура с узкими покатыми плечами, безволосой грудью и слабыми мышцами. Нет, не самец; скорее кто-то из античных изнеженных юношей, в музее таких много. Греки, между прочим, установили каноны красоты, сообщил он зеркалу.

Я стал мужчиной. У меня есть женщина.

Дурацкие, напыщенные слова, но когда тебе пятнадцать лет, они не звучат ни дурацкими, ни напыщенными.

В квартире стояла тишина, будто на даче. Давным-давно сестра сказала, как раз на даче: все так делают, и ты будешь, когда станешь большим. И чего ты тогда перепугался, балда, усмехнулся в темноте. Ничего не гадко, а приятно. Руки пахли Зоиной кожей, Зоей. На

цыпочках вернулся в ванную и долго мыл их под горячей струёй, а потом уснул, как умер.

У него была Зоя – своя *гёрла*; но думал он об Аллочке Тархановой. Встретить бы её не в классе, а на улице, и в разговоре признаться, что повторяет её гладкое, как обкатанный водой камешек, имя. Алла, заколдованное имя-перевёртыш, и тёмная струйка волос соскальзывает на лицо. Каким бы вышел разговор, Алик не знал, и Аллочку встречал только в школе; по городу же бродил с Зоей и в один из дней столкнулся с сестрой. Зоя льнула к нему, на Нику посматривала насторожённо. Та дотошно расспрашивала про учёбу, на Зою глянула без интереса. Алик внутренне кипел. И пусть! Это моя жизнь и моя *гёрла*, и плевать я хотел на школу – вырос я из неё, понимаешь? И сегодня мы пойдём к Жорке, чтобы... «Ты бы тёте Поле позвонил, а то совсем пропал», – и попрощалась, убежала в свой университет.

Алик сразу пожалел о скомканной встрече. Про школу лишнего наговорил, а там

завал полный: или оставят на второй год, или надо бросать школу – совсем, с концами. Если спокойно объяснить, она поняла бы, она всегда находила выход из положения. Зоя молча шла рядом и несколько раз заглядывала ему в лицо, чёртов её мешок толкал его в бок, она поправляла лямку. Главное, не смотреть ей на руки. Зоя грызла ногти, словно поклялась извести их совсем, и на кончиках пухлых пальцев на месте ногтей были узкие полоски, похожие на куцые шрамы. Что-то почувствовав, она убрала руку. Завязывать надо, навязчиво крутилось в голове. Девчонка она безотказная, но привыкнуть к её ногтям и прелому запаху не мог. Обстоятельства в виде возвращающегося капитана делали разлуку неизбежной. К тому же иссякли резиновые изделия.

– Тебе всё равно до меня, да? – спросила Зоя.

Про Жоркиного отца сказал, остальное её не касалось. Алик провёл пальцами по нежной полной шее и прошептал:

*Когда в источниках вода
Высохнет повсюду,
Из камня вырастет трава,
Тогда тебя забуду.*

...Не забыл. Первую женщину, как и первый стакан вина, первый косяк и первую «вмазку», не забывают. Однако вспоминал нечасто – мучил стыд: сосредоточившись на своих ощущениях, он не интересовался, что чувствует она сама, хотя его жадный торопливый напор вряд ли дарил ей неземное блаженство. Ob-La-Di, Ob-La-Da – *обладай, обладай...* Он не обладал – хватал и хапал, давясь. Она спросила тогда, в первый раз: «Тебе хорошо было?», в то время как самой было плохо от боли, от его неуклюжести. Мальчишка, возомнивший себя мужчиной, а на самом деле – сопляк, *смаркач*; он ужасался убогому, уродливому белью, но ничего не понимал в близости, в Зоиных ожиданиях и девчоночьем

страхе. Да много ли он знал о ней самой? Провожал её домой, на окраину города, где вечерами лучше не ходить в одиночку. Зоя рассказывала, что жила с мамой в коммунальной квартире; училась в техникуме на бухгалтера или что-то в этом роде. Слушал вполуха – дико хотел спать, – и так и не узнал, каким ветром её занесло в Старый парк, к хиппующим подросткам, что заставило надеть на пухлое запястье перекрученную фенечку? Почему, наконец, она прилепилась к нему – и поверила, и пошла с ним в чужую квартиру? И ведь оказалась права со своей неуклюжей фразой: *тебе всё равно до меня*, права, хоть и растрогалась от сентиментального стишка.

– С тебя бутылка, – Жорка был деловит. – Кому афинские ночи, а кому пылесосить. Эндрю терпеть не может бардак. И Влад, собака, должен мне деньги – и пропал.

Чёртовы деньги, самое уязвимое место. Просить у матери бессмысленно – вся в мебельных долгах. Иногда везло стрельнуть у

Ники трёшку или пятёрку, но это была капля в море. Жорка добывал «травку», покупал вино – в те времена дешёвое болгарское сухое стояло в любом магазине. В Старом парке бутылка шла по кругу чаще, чем марихуана. Жорке всегда хватало на карманные расходы, но постоянно быть прихлебателем Алику претило. Несколько раз он «терял» проездной и брал у матери деньги на новый, как-то заныкал сдачу из магазина и мучился стыдом. А денег всё равно не хватало.

Зимой в Старом парке стало малоллюдно, встретить Зою не грозило: вместо знакомой компании ровно двигались женщины с колясками, за ними по снегу вились переплетающиеся змеи следов от колёс.

С исчезновением гитариста размылась, улетела мечта о гитаре. Дома на полках стояли альбомы с репродукциями. Листая Рубенса, Алик то и дело возвращался к «Данасе», помня своё единоборство с Зоиным лифчиком, и хоть браслет на руке Данаи не походил на фенечку,

мнилась перекрученная цветная косичка. В первой попавшейся тетрадке попробовал воспроизвести линию, и то ли мастерство великого голландца, то ли собственное воображение помогли, но результатом остался доволен.

Он и на уроках рисовал тот же знакомый изгиб бедра, округлое плечо, но хотя глаза и руки знали щедрое девичье тело наизусть, линия оставалась плоской, беспомощной, или пучилась увенчанной соска́ми синусоидой. Почему, недоумевал он, я же *вижу, вижу* отчётливо? Почему видение не доходит до руки?.. Недавно они с Жоркой голых баб смотрели, у его отчима куча альбомов по искусству. Там одетые тоже были, тех пролистывали. Жорка захлёбывался: Гойя... Даная Рембрандта... Саския, глянь... Алика бросило в жар от «Данаи». Просто лежит. Эта не будет упихивать трусы под подушку. Рубенс, завопил Жорка, лови кайф! От «Данаи» пришлось оторваться, но Алик не пожалел.

Блондинка, груди круглые, тесно рядышком торчат. Она вроде ждёт кого-то? Сзади негритёнок лопочет, а блондинка нисколько не стесняется. Жорка мешал: он считал, сколько раз этот Рубенс свою Саскию писал. Набил руку, конечно. К тому же нормально рисовал, кистями, мольберт там... А у него шариковая ручка, и та синими соплями наследила.

Целый урок писали контрольную. Непонятные до осоловления задачи пестрели завораживающими загадочными словами. Тангенс и котангенс – удар по струнам, гитарный аккорд; синус и косинус – не то сиамские близнецы, не то двоюродные братья: синус заносчив и высокомерен, косинус носит очки, он косит. Сосед по парте почти заполнил листок, но не спишешь – у него другой вариант. Алику нравилась женственная бета. Две задачи не решил, да и не пытался; третья была как две капли воды похожа на соседову. С облегчением списал, вырвал из тетради листок и сдал одновременно со звонком.

И скоро мать вызвали в школу. Классная позвонила по телефону, и мать, как назло, сняла трубку. Ничего не сказала, но на следующий день вернулась из школы в состоянии весёлого бешенства.

– Балбес! Ёлупень, олух царя небесного! Самым обидным был непонятный «ёлупень». Алик набычился.

– Дармоед, только штаны просиживаешь! И швырнула нерешённую контрольную с яркой двойкой. Листок вяло спланировал на стол обратной стороной, явив неприличную синусоиду.

Волна жара зажгла лицо, стучала в уши, но злые слова всё равно пробивались.

...бьюсь за каждую копейку, во всём себе отказываю, только чтоб ему...

...в армии будешь сортиры чистить зубной щёткой...

...ёлуп, чтоб тебя! Программы шестого класса не знаешь, а туда же – о бабах думаешь!

И не только думаю, мысленно поправил Алик.

...а кончишь, как твой отец! – или сдохнешь под забором. Я не намерена из-за твоих двоек дерьмо хлебать, я сама буду проверять твои уроки!

Вдруг она выдохлась и закурила.
Помолчав, добавила совсем другим голосом:

– Сначала один из меня верёвки вил, теперь другой. Как же мне всё надоело...

Навалился дикий страх: опять, опять она...
Что если завтра он придёт домой, а тут смертный холод и распахнуты окна, как тогда, и диван тот же, зачем она держит эту рухлядь, сама говорила: всё выкинуть, а диван оставила. Чтобы сын не забыл.

Он и не забыл её первую смерть – к счастью, она не состоялась, оказалась ненастоящей, – но разве знал девятилетний шкет, что это понарошку? С того дня страх его не отпускал и скручивал слепой паникой, стоило матери намекнуть на свой возраст или пожаловаться. В тот вечер толчком стала фраза

«как мне всё надоело». Пальцы Алика подрагивали, сейчас бы сигарету, пачка лежала на столе – протяни руку и...

Пачка осталась на кухне, справа от раковины. Восемнадцать шагов, иногда девятнадцать или двадцать – ухватить табуретку за прорезь в сиденье, сесть прочно, по центру, чтобы не грохнуться: много раз он убеждался, каким враждебно твёрдым делается пол, если падаешь. Прочная старая табуретка ни разу не подводила, не то что стулья – те так и норовили поставить подножку. Алик давно выгнал их костлявое стадо в другую комнату, куда не заходил, они там и поныне громоздятся друг на друге, как насекомые в вечном совокуплении. Да, табуретка надёжная. Можно закурить.

А слово ёлупень он разгадал: еловый пень; а что ж ещё?

21

За короткое время чужая комната стала привычной, не спешит отпустить и ластится, как подобранная на помойке кошка, разомлевшая от тепла. Куртка прильнула к спинке кресла. Пижама зарылась в одеяло, рукав обнимает подушку; носки мимикрируют – сливаются с ковром, и только кроссовки наготове: вот-вот пружинисто оттолкнутся от пола и двинутся в путь. И хотя торопиться некуда (часы показывали половину пятого), лучше быть готовой, чтобы не метаться в спешке.

Лёгкая швейцарская сумка, дочкин подарок, обладала множеством карманов и потайных отделений, широкий ремень не оттягивал плечо. Ничего общего со старым рюкзаком, в который семнадцатилетняя Ника торопливо совала вещи, но именно он вставал перед глазами при любых сборах. Рюкзак жил

ещё долго, съездил с ней на Урал, но до Урала оставалось лет пять-шесть, а в первый вечер у тётки Ника перетряхивала его снова и снова, но главное так и не нашла. Всего-то и нужно было залезть в книжный шкаф и завести руку за скучный многотомник Островского – никто не читал его пьес и потому не догадывался, что в тылу знаменитого драматурга прятался её дневник – не школьный, личный.

Идея завести дневник принадлежала Инке и оказалась заразной. У Ники скоро выработалась привычка записывать не только события, которых было раз-два и обчёлся, но и собственные наивные мысли, впечатления о фильмах и прочитанных книгах. И кабы только это!.. Сюда Ника вклеила записку от Кристапа, подписанную одной буквой К., клочок влажной бумаги в клеточку – приглашение завтра кататься. На следующий день резко потеплело, каток растаял, и Ника боялась: не придёт, однако Кристап ждал её у входа на пустой каток, а следующие два часа они сидели на скамейке,

разделённые бесполезными коньками, как обоюдоострым мечом, и болтали ни о чём. Она описала в дневнике зимние прогулки по выпавшему скрипящему снегу, где в каждом шаге слышалось имя: *Кристап, скрип-скрип, Крис-тап, скрип-скрип*, его рассказы – о музыкальной школе, об осенних поездках всей семьёй на хутор за яблоками, о лыжном кроссе. Написала про тёмно-голубые глаза, таких она не видела ни у кого. Дневник схоронила, как сердце Кощея, в шкафу, за шеренгой тускло-зелёных книг, из которых она потревожила типографский сон одного-единственного тома, с пьесой «Гроза», про луч света в тёмном царстве. Вряд ли матери скоро понадобится Островский.

Алик безудержно радовался её дневным набегам, и такое счастье светилось в его глазах, что Ника чуть не забыла главную цель. Он упоённо хлюпал кофе, рассказывая о каком-то «чуваке» в их классе, который хвастался своими марками, так что теперь Алик тоже собирает марки, соседка с первого этажа подарила ему

старые конверты, но марки там почти все одинаковые. «Мама писем не получает; а когда ты возьмёшь меня к Инке, я соскучился без Владика? Вовка болел ветрянкой, его не пускали гулять, и я... Нет, не заразился, просто во двор не ходил, чтобы ему не было обидно. Вчера дядя Витя с мамой снова поссорились...». Он ел бутерброд и тянул кофе, зажмуриваясь от удовольствия.

...Страшно подумать, сколько сахара в этой вязкой приторной массе под названием «кофе сгущённый с молоком» они в себя вливали, не задумываясь ни о «белой смерти», ни о кофеине. Хорошая формула была, напиток и насыщал и тонизировал.

Ох, как Алик не хотел, чтобы она уходила, как старался задержать! Кидался показывать свою «коллекцию» – коряво содранные с конвертов марки, каких пруд пруди в любом киоске; что-то искал в портфеле, распахивал книжный шкаф: я *«Тома Сойера» прочитал!* Ника слушала, не сводя глаз со второй полки. Вот он,

А. Н. Островский, все шестнадцать одинаковых пограничников в выгоревшей зелёной форме, доблестно стерегущих её секрет. Они стояли ровно, как и полагается на страже, ни один не сдвинут. «Алька, подожди...» – и выхватывала том за томом, пока не обнажилась деревянная задняя стенка – пустая. В отчаянье сняла Лескова, Диккенса, надеясь на чудо, но что-то подсказывало: чуда ждать нечего. Где?! Через несколько минут книги стояли на месте, Ника безнадёжно пялилась на стеклянную дверцу.

– Ты тетрадку ищешь, синюю такую? Сейчас! – и кинулся в соседнюю комнату. Стукнул ящик, и счастливый запыхавшийся брат протянул дневник.

...который перестал им быть, умер, оскорблённый прикосновением родной безжалостной руки. Так неразборчивый вор взламывает украденную шкатулку в надежде разбогатеть, а внутри обнаруживает пустой флакончик из-под духов, две потускневших монетки да брошку со сломанным замком.

– Мама смеялась.

Братишка топтался рядом, заглядывал в глаза. Только не хватало при нём зареветь.

– Пока, Ватсон! И не говори ей ничего, ладно?

Она избавилась от бывшего дневника, не доходя до тёткиного дома. На пустой и мокрой детской площадке остервенело растерзала тетрадку – вот почему она называется «общей»: читай кто хочет, – методично и зло разорвала на мелкие клочки. Капли бесшумно падали на бумагу – дождь, самый нужный сейчас холодный дождь остужал пылающее лицо. Разбухшие влажные останки с расплывающимися чернилами липли к решётке дренажного стока, не хотели падать в черноту.

Встречные прохожие смотрели под ноги, обходили лужи. Никто не обращал внимания на её мокрое лицо и руки в чернильных пятнах.

С тех пор она дневников не вела. Еженедельники помогали в организации дел: планы лекций, расписание, напоминания о звонках, – однако не имели ничего общего с той синей «общей» тетрадью; так успешные наследники избегают неудачливого родственника.

– Нашла куда прятать, – Инка хмыкнула, – твоя мамаша ведь книжки читает. Я свой держу в сарае за дровами. Мои в тетрадки не лезут, а вдруг соседки? Всё время к бабке приходят: погадай да погадай.

Помолчав, осторожно спросила:

– Она всегда была... такая?

Ника пожала плечами. Трудней всего ответить на простой вопрос. «Такая» вмещало многое: привычное враньё, злые слова, тетрадку.

Но была же *мама* – не мать, не *она*, не *татап* – любимая мама на Второй Вагонной.

Мама, называвшая её «горе моё луковое»; мама, которую Ника нетерпеливо ждала – в садике, в больнице. Мама, самая любимая на свете, сейчас придёт! Отчего так сильно щемит душу детская тоска ожидания?.. Взрослая жизнь развеивает многие мифы – дошла очередь и до рассказа матери, как она везла бульон, а в больнице его украли; сюжет она сочинила на месте, как всегда легко, правдоподобно и бездумно лепила свою ложь. И вполне возможно, что раньше Лидия представила себя на минуту воспитательницей в белом халате в атмосфере детского сада, среди стука посуды, ребячьих голосов, душного запаха молочного супа, разбросанных игрушек... Она в несколько минут прожила эту мнимую жизнь и, подняв воротник, легко и решительно вышла из неё, оставив за дверью дочку, стоявшую у кабинета заведующей.

И было путешествие вдвоём – удивительное, многообещающее.

После седьмого класса мама устроила её на работу в своё КБ: «Нечего балду гонять!» Работа была самая настоящая, дважды в неделю Вероника Подгурская получала в кассе зарплату. Должность официально называлась «помощник делопроизводителя», что мать объяснила проще: «стой здесь, иди туда». Ника сортировала почту, разносила конверты по этажам, заваривала чай, при необходимости замещала курьера, бегала в магазин за папиросами и выполняла строгий наказ не попадаться начальнику на глаза. Что не составляло труда – тот сидел в кабинете за дверью, обитой пухлой кожей. Иногда мать просила подержать дверь, чтобы не расплескался чай на подносе, и Ника видела сидевшего за письменным столом толстого дядьку. Лоб тяжёлой кручей нависал над веками, под глазами набухли мешки; гладко выбритое лицо стекало на воротник тяжёлыми складками. Он брал стакан, и Ника тихо закрывала дверь.

...Как удивительно скорость воспоминаний соотносится с реальным временем: в какие-то двадцать истекших минут улеглись события нескольких лет.

Бокалы?! Проверила сумку: целёхоньки.

Обязанности помощника делопроизводителя кончились десятого августа, а на следующий день они с мамой сели в поезд.

Отец (в то время числившийся в этом качестве) скептически поднял брови: «Куда, интересно?» Ходил, приговаривая: «Одесса-мама, Ростов-папа». Ростов не входил в планы путешествия – маме хотелось на Чёрное море, в Одессу.

- Кому Ужгород, кому Одесса...
- У меня работа!

– А у меня с Вероникой отпуск. Имеет право ребёнок отдохнуть, если всё лето вкалывал?

– Во-первых, её можно отправить в лагерь...

– ...ага, к шапочному разбору, в середине августа...

– ...во-вторых – и не перебивай, пожалуйста, – во-вторых, почему Одесса? Не Москва, не Ленинград...

– Потому что ни в Москве ни в Ленинграде нет южного тепла. Моря тоже нет.

– Море здесь, практически за углом...

– И юг тоже?.. Прямо за углом?

– А ребёнок? – отец кивнул на Алика. – С кем его?

Мать изумлённо подняла глаза:

– С тобой. Отец ты или не отец? Сколько он тебя видит?.. И не морочь мне голову, Серёжа, дай спокойно собраться.

– Но если меня пошлют в командировку?

- ...то ты пошлешь их!..
- Я серьёзно. Ты отдаёшь себе отчёт, что...
- Пошлют кого-то другого.

Диалог, длинный и внешне спокойный, вёлся не в кабинете, а в большой комнате, где по капризу памяти сейчас оказалась Ника, застывшая над раскрытой сумкой во франкфуртском отеле. Память обладает другим исчислением времени, в соответствии с законами которого сжимает и растягивает минувшее от крохотного снимка в паспорте до многоцветного подробного сериала. Разговор вёлся спокойно, но дети чувствовали мощное внутреннее напряжение, как рептилии чувствуют сейсмическую активность.

Много позднее Вероника поняла, что прекрасно выдержанное спокойствие – это бунт Лидии против частых отъездов мужа. Держалась она артистично; но почему так тревожно посматривал на неё сынишка, ведь он оставался с любимым папой, а море, пусть и не Чёрное, действительно близко.

В разное время память крутит перед внутренним взглядом калейдоскоп, и всякий раз из лоскутков старья, обрывков писем, интонаций, реплик и разбитых черепков складывается картинка, не похожая на предыдущую. В той, предыдущей, не было слышно досады или отчаяния – они прятались за ровным голосом.

Алик остался с папой. Ну и пусть его не берут в Одессу, зато его ждёт «настоящая мужская жизнь», как обещал отец.

Ника чуть не прыгала от счастья: мама хотела, чтобы она, её дочка, отдохнула на Чёрном море. Растрогало слово «ребёнок», хотя Ника давно считала себя взрослой, вот ведь и работала по-настоящему. Пришлось удлинить прошлогодний сарафанчик.

День ожидания, день любви и нежности. День под названием *Мама*.

Спала она безмятежно и крепко.

В поезде Ника ехала впервые (дачная электричка не в счёт), и поезд поглотил её полностью клацающим словом «плацкарта», откидывающимся столиком и сеткой на стене, куда можно положить книжку или кофточку. На окне трепыхались уютные занавески, в изголовье включался овальный фонарик. Сиденья поднимались, как крышка сундука, что нравилось тётке в тесном цветастом платье: она шумно погрузила в желудок сиденья два массивных чемодана, захлопнула крышку и села сверху, поставив локти на столик, а через минуту, спохватившись, повторила всю процедуру, чтобы достать из чемодана (клац-клац, плац-карта, клац-карта) необходимые вещи, последние *клац-клац* чемоданного замка. Рядом с тёткой сидел мальчик лет шести с плиткой шоколада, от которой он откусывал и медленно жевал, шумно втягивая вязкие шоколадные слюни. Когда тётка ныряла в недра сиденья, мальчик терпеливо стоял рядом.

Город махал вслед поезду развешанным на верёвках бельём. Трепетали флаги простыней, махали рукавами рубашки, праздничными шарами надувались наволочки. Город остался стоять, словно был одним длинным перроном, специально построенным для того, чтобы от него оттолкнулся поезд. Он двинулся медленно, нерешительно, как человек, собравшийся уходить, мешкает у двери и хлопает себя по карманам, не забыл ли что-то важное.

Тётка-попутчица энергично протопала по проходу и вернулась уже не в платье, а в пёстром ситцевом халате. Согнала жующего мальчика, снова откинула крышку, но в этот раз извлекла авоську, полную разной снеди. На расстеленной газете появился румяный, несмотря на некоторую ущербность формы, пирог, из которого вываливалась капуста, банка с огурцами – воздух пронзил острый уксусный дух, – оладьи, ливерная колбаса, подтаявшая пачка масла, свежий батон...

– Я кому говорила, не ешь сладости! Горы моё...

Тётка послунила платок и ловко, привычно стала стирать шоколадные потёки с лица мальчика; тот так же привычно, как делал бы всякий ребёнок, уворачивался. Добившись чистоты, тётка сунула ему кусок пирога. Вдавила в ломтик хлеба ливерную колбасу цементного цвета и вдруг спохватилась:

– Ох, что ж это я! Захлопоталась... Угощайтесь, не стесняйтесь; у меня всё своё, домашнее. Давайте знакомиться, ехать-то долго, не ближний свет. Антонина я. Вы берите, не стесняйтесь. Вот огурчики, сама закатывала.

Не дожидаясь ответа, повернулась к мальчику: теперь у него были заняты обе руки, и он по очереди откусывал то от пирога, то от шоколадки.

– Ты что букой сидишь? А ну, скажи тёте, как тебя зовут?

Тот продолжал молча жевать.

– Эдик он, – горделиво пояснила тётка за него, – младший наш. Вот к бабе с дедом едем. К свекрухе моей, – прибавила доверительно. – Вы тоже в отпуск едете?

– Не совсем: у меня творческая командировка, – улыбнулась мама.

Ника изумилась не меньше тётки.

– Вот оно как, – уважительно вздохнула соседка. – Да вы угощайтесь, всё свежее!

– Спасибо; мы с дочкой собираемся в вагон-ресторан.

Утром Ника глотнула чаю, но съела только половину баранки с маслом – ожидание отбило аппетит. При виде щедрого стола у неё потекли слюнки, да и вид деловито жующего Эдика вызвал голод, однако слова «вагон-ресторан» оказали магическое действие.

– Сейчас? – спросила она.

– Рано, – поморщилась мать, – ближе к обеду.

– Когда ещё обед-то, – замахала руками Антонина, – вот она худенькая какая. Кушай, девочка, не стесняйся; успеешь до обеда проголодаться. Бутерброд хочешь?

Ещё как она хотела бутерброд! Но мама опередила.

– Боюсь, аппетит перебьёт. – Мамина улыбка чётко говорила: «не вздумай». – Пусть лучше почитает, освоится, – и кивнула на верхнюю полку.

Чтобы забраться на верхнюю полку, акробатических номеров не требовалось: хватаешься за штангу с опорами для ступней – и там. Эдик завистливо смотрел снизу.

Спрошу в вагоне-ресторане, решила Ника, зачем она... про творческую командировку. Почему мы не взяли ничего, хоть бы сушки. Запах еды дразнил аппетит. «Ещё котлетку, – уговаривала тётка, – ты же любишь!» Мать курила в проходе.

Вагон-ресторан оглушил голосами и бряканьем посуды, радио жалобно пело: «Что-о-

о день грядущий мне готовит?..» Одессу и Чёрное море день грядущий нам готовит, улыбнулась Ника. Люди вокруг ели и болтали, как будто сидели в гостях, а не в поезде. Наверное, в настоящем ресторане тоже так? Ника не бывала дальше столовки. На белых скатертях, упругих от крахмала, мелко подрагивали в такт колёсам судки с приправами, пепельница, приборы.

Мама не восхитилась официанткой в белом кокошнике и переднике с оборочками, сухо продиктовала: две солянки, бифштекс и блинчики с творогом.

– Пить что будете?

Узнав, что любимого тёмного пива нет, Лидия заказала себе кофе, Нике – лимонад.

– Красивая девушка, правда? – не выдержала Ника, когда официантка скрылась.

– Как кобыла сивая... Где ты красоту нашла?

– В нашем классе ни у кого такой толстой косы нет! И кокошник нарядный.

– Приплёт. И не кокошник, а наколка, чтобы волосы не падали в суп.

Иллюзия развеялась, и теперь Ника старательно отводила взгляд от официантки, боясь увидеть и фальшивую косу, которой только что любовалась, и сорокалетний возраст «девушки», безжалостно разоблачённый мамой.

– Наконец-то, – мама придвинула к себе тарелку, – такую за смертью посылать.

...Алик признался как-то: «Она требует, чтобы я всё рассказывал, а потом смеётся».

С Никой происходило то же самое: всё что ей нравилось, мать объявляла безвкусицей и безжалостно высмеивала. Диккенс – «сентиментальные сопли, как ты можешь его читать», любимое клетчатое платье – «такие носили гувернантки в небогатых домах», Инка – «девица кончит судомойкой, у неё на лбу написано». Понадобилось время, чтобы понять, для чего мать выносила уничтожающие

приговоры. Разгадка была проста, как пуговица от наволочки: ни для чего, просто так. Она не читала Диккенса, клетчатое платье подарила тётка, Инку терпеть не могла – беспричинно, но стойко, и даже узнай она, что подруга, минуя стадию судомойки, стала врачом, усмехнулась бы скептически. Любопытно, что несмотря на нелюбовь к Инке, мать одобряла их дружбу: «Запомни: на фоне некрасивой подруги ты всегда будешь выглядеть яркой». Ей нравилось уничтожать – ядовитым словом, иронической улыбкой, красноречивым молчанием.

Алик прав: элемент предательства существовал, ведь слово «судомойка» взялось не из воздуха, а из её собственного рассказа об Инкиной семье, за него-то мать и зацепилась. Она находила уязвимое место, чтобы причинить боль – сестре, детям или подруге, по какой-то причине вышедшей из милости.

Первый в жизни вагон-ресторан остался в памяти жгучим вкусом солянки. Ложку обволокло рыжей плёнкой, во рту бушевал пожар. Блинчики после солянки показались пищей богов. За столом напротив шумела компания военных, они открыли шампанское. Лимонаду не удалось смыть вкус солянки, но шипел он не хуже шампанского.

Только чай помог избавиться от ядовитой солянки – или подействовала магия вагонного чая? Нику всё завораживало. Руки проводницы, униженные ручками подстаканников, брусочки рафинада в голубых обёртках, тощие пачпокалечуки печенья в особой железнодорожной упаковке – самого обыкновенного, такое продают в любой бакалее, но там печенье как печенье, неинтересное. Хозяйственная Антонина развязала баночку с вареньем.

Зато в туалете стало жутко: мокрый затоптанный пол с клочками газет, уходящий из-

под ног от качки, зловонный железный унитаз и волосы в раковине.

– На станции будет лучше, – неуверенно сказала мама.

На вчерашнего помощника делопроизводителя напала зевота. Ника боялась, что мама захочет спать на верхней полке, но та великодушно отказалась.

И во сне продолжался поезд: люди беспрестанно двигались по проходу, подстаканники дрожали на краю столика, жевал Эдик и лязгала дверь.

– Ли-и-да! – позвал кто-то громким голосом.

Они с Антониной, что ли, разговаривают? Ника свесила голову. Тётка спала, крепко прижав к себе сына. Мама читала «Литературную газету». Выглянув в окно, Ника увидела мамино имя на здании вокзала. В темноте под фонарями сновали люди. Поезд опять тронулся.

Нику растормошила мама.

– Скорее! На станции наверняка есть телефон.

Они вышли на пустой ночной перрон. Светились окна жёлтого здания и фонари.

– Двенадцать минут стоим, девочки, – крикнула проводница.

Ника нерешительно взглянула на маму. «Ничего-ничего, – успокоила та, – мы быстро. Одна нога здесь, другая там».

Они перешли параллельные рельсы и направились к зданию. Все они жёлтые, что ли, удивилась Ника. Внутри рядами стояли жёлтые деревянные скамейки, какая-то тётка дремала, держа рукой раздутый мешок. На другой скамейке спал мужчина, лицо было закрыто соломенной шляпой, сквозь дырку в носке виднелась оранжевая пятка. За единственным освещённым окошком сидела кассирша с усталым и жёлтым, вокзального цвета, лицом: «Нет у нас телефона, гражданочка. Напротив есть, на почте, но сейчас всё закрыто. Приходите с утречка».

– Да вот же у вас телефон! Я должна позвонить домой, понимаете?

Кассирша позвонить не разрешила: «Это служебный телефон, не имеем права».

– Ну и порядочки тут у них, – мама сердито хлопнула дверью. – «С утречка...» Мы далеко уже будем с утречка; шевелись давай, а то поезд упустим.

Перрон был пуст.

Как и предсказывала тётя Поля, когда маленький Алик уворачивался от поцелуев, у него начали расти усы. Вначале не поверил: над верхней губой словно мазнули грифелем, но мало-помалу «мазок» сделался густым и жёстким.

– Вот и мужчина вылупился, – сказала кому-то по телефону мать, – а давно ли с паровозиками возился.

Теми же словами сопровождала подарок: бритвенный станочек и пачку лезвий «Нева».

Алик часто пропускал уроки. На дружбу с Жоркой это не влияло. Тот исступлённо занимался в надежде на медаль и долбил свой английский. Они встречались в центре, дальше шли вместе.

Жорка с любопытством спросил: «Сколько твоей матери лет?» Услышав ответ, одобрительно присвистнул. Удивлялись многие, но Жоркина реакция польстила.

Сколько ей было тогда, сорок пять? Сорок шесть? И снова непроизвольно повернул голову к стене, к невидимым портретам.

Она дожила до восьмидесяти пяти. После похорон заплаканная Лера совала ему в руки карманный телефон, просила выбрать фотографию, тыча пальцем в мутное, захватанное оконце. Нет уж, спасибо. Алик упрямо перебирал фотокарточки в старой коробке, пока нашёл подходящую, с надписью «1973» на обороте, где мать улыбалась задорно и молодо. Увеличенная фотография превратилась в портрет, он повесил его над диваном. Она и сейчас улыбается – где-то на сетчатке чётко отпечатались оба лица, слепоте не подвластные.

Жорка сказал тогда: «Обаятельная женщина». Не слышал он, как обаятельная женщина кричала после очередного вызова в школу: «Твой друг в институт пойдёт, а ты пойдёшь к кочегару в ж<...>!»

Не свойственная ей грубость пришибла сильнее, чем идиотское пророчество.

Красивая. Обаятельная. Алику хотелось, чтобы она такой осталась на портрете, но дочке не объяснишь, она ведь не знала мать молодой и хотела видеть свою бабушку, а не сорокалетнюю красавицу; вот пусть и смотрит в телефон.

Ему было с кем сравнивать. К матери часто заходили подруги, приятельницы. С годами они раздавались в плечах и бёдрах, тяжелели телом, широкой одеждой скрывали расплывшуюся талию; на лицах появлялась растерянность или, наоборот, напускная молодцеватость. Не бодрость – бодрячество, особенно жалкое при седеющих волосах, которые загорались одолженным у хны пожаром. Даже записную красавицу тётю Музу не миновала чаша сия. Мать с удовольствием разоблачала бесхитростный маскарад. Скоро подруги приходить перестали – рядом с матерью все выглядели старше. Появились

новые: Надя-главбух – пухленькая, смешливая; Тамара Сергеевна, с низким прокуренным голосом и чёлкой, как у роковых красавиц тридцатых годов; всех и не вспомнить.

К Жоркиной матери слово «обаятельная» не подходило. К Алику она отнеслась приветливо: протянула квадратную шершавую ладонь и коротко улыбнулась: «Ты, наверное, вместе с Гошей собираешься в Москву?» Невинный вопрос его взбесил. Ни в какую не в Москву, а к кочегару в <...>, злился на лестнице.

«В Москву, в Москву!» – тоскливо неслось из телевизора. Мать морщилась и шла в ванную. Любовно перебирала баночки, тюбики и начинала «следить за собой»: втирать, мазать, вбивать, шлёпая себя ненастоящими пощёчинами. Руки, локти – для каждого участка тела свой крем, каждой грядке своё удобрение. Строго, требовательно смотрела в зеркало, надувая щёки, вытягивая губы трубочкой; сама себе подмигивала – или ему? «Запоминай, верста коломенская, жену научишь, – она

посмеивалась, встретившись с ним глазами в зеркале, – если кто-нибудь польстится на такого неуча. К контрольной подготовился?»

Все заодно: «в Москву с Гошей», «контрольная». Громко заорал, что ни к какой контрольной он готовиться не будет и в гробу он видел школу, всё!.. Орал, уже не слыша слов, а только собственный рвущийся голос.

– Ты моей смерти хочешь.

Горестный кроткий голос и безнадёжные слова. Мать ушла на кухню. Он стоял один в оглушительной тишине. Горло саднило от крика, но больше – от страха. *Ты моей смерти хочешь.* Опять, опять она. Пускай обзывает, лишь бы не говорила про старость, потому что на самом деле это означает смерть.

Вторая четверть окончилась пустым табелем: его не аттестовали, приговорив к дополнительным занятиям по математике и физике. «И не вздумай пропускать!» – рявкнула завуч, коротконогая, как бульдог, и с такими же вислыми щеками.

...По лестнице волокли коляску. Младенец громко плакал, колёса спотыкались о ступеньки. Если прислушаться, можно было уловить тяжёлое дыхание того, кто тащил коляску. Слух обострился не сразу. Постепенно открывалось множество звуков, однако он долго не мог научиться расшифровывать их. Упавший с потолка сухой кусочек извёстки – равномерное тихое постукивание – чуть слышное шуршание в углу... Мышь? Упавшая бумажка? Вода капает? Если бы мать сейчас была на кухне, он различил бы сухой звук оброненного кофейного зёрнышка.

Хорошо, что она не видит его таким, с невидящим, насторожённо приподнятым лицом. Шесть лет, как не слышно её быстрых шагов и хриповатого утреннего кашля. После семидесяти она впервые изменила дома каблукам, но тапкам не сдалась и носила лодочки на танкетке.

...Зрение начало падать у Алика незаметно, постепенно, как долгий летний день неохотно перетекает в сумерки, когда не верится, что скоро стемнеет, хотя птиц уже не слышно.

Не надо про это. Не надо.

Первое время, время паники и отчаяния, сменилось глухой безнадёгой, но тоже не сразу. Не надо. Лучше назад, когда глаза были живые, мать выглядела моложе всех своих подруг и даже с Жоркой говорила кокетливо: «Подтянул бы ты моего болвана – может, и школу окончит. Иначе будет всю жизнь болтаться без дела, как... цветок в проруби».

После дополнительных занятий, усталый и голодный, Алик слонялся по школе. Не обжитая, как новая необношенная одежда, чужая, вся прозрачная из-за огромных окон и потому вечно холодная, школа, тем не менее, давала ощущение безопасности. Слова «ты моей смерти хочешь» не отпускали, возвращаться домой было страшно: вдруг?.. Он звонил матери на работу, чтобы услышать её голос в трубке.

С Жоркой они виделись реже, тем более что вернулся из рейса капитан – «почти женатый», смеялся в трубку друг. И наступил Жоркин день рождения, который привычно праздновался в два этапа: один – с матерью и отчимом, второй – с отцом. Жорка пригласил Алика.

– Мара, – представилась новая хозяйка, протянув руку.

«Почти жена» была намного младше капитана. Гибкая змейка с узким личиком и густо накрашенными глазами, одетая во что-то блестящее, переливающееся, Мара плавно скользила по квартире. Тёмные волосы, закрученные узлом на затылке, делали голову маленькой. У неё были узкие плечи и тонкая талия, которая неожиданно перетекала в широкие тяжёлые бёдра, словно приставленные от чужой фигуры. Громоздкий зад не мешал её пластичным, изящным движениям и колыхался в такт. Алик старался в её сторону не смотреть, а женщина предлагала то одно, то другое блюдо:

«Попробуйте», благо пробовать было что: лоснилась под светом люстры неведомая оранжевая рыба, тускло поблескивал графитовый бисер икры, дразнил аромат копчёного мяса.

– Пап, а нам? – Жорка красноречиво кивнул на бутылку.

– Ну, по чуть-чуть, – неохотно согласился капитан и плеснул обоим ледяной водки. Наивный Эндрю не подозревал, что бухать они начали давно.

«Я тебе сделаю бутерброд». И не дожидаясь ответа, Мара ловко подцепила ножом нежный шарик масла, сверху добавила щедрую горку икры и положила на тарелку, слизнув икринку с выпуклого птичьего коготка.

Капитан Радомский женился «в ускоренном порядке» – в ближайшее время предстоял новый рейс. Брак уязвил Жоркину мать, она даже отвергла традиционную заграничную косметику. Более того: найдя нынешнюю ситуацию «неприемлемой для

ребёнка», она настояла, чтобы сын жил только у них.

– Фигня какая-то, – жаловался Жорка. – Мать зациклилась: мог бы себе получше найти. Конечно, Мара не доцент...

Мара была официанткой. Кто на кого положил глаз, уже не имело значения, но к официантке внезапно перестали приставать все кому не лень, а таких на судне несчитано. Теперь она зачастила с подносом в капитанскую каюту. О своём прошлом не говорила – этим занимались окружающие, сплетая правду с домыслами и сплетнями в затейливую паутину. Старший помощник не замедлил открыть капитану глаза («брось, Андрей, она же чьей только подстилкой не была») и за своё доброе деяние получил вспыльчивое напутствие пойти известно куда. Разговор случился незадолго до возвращения в родной порт. Отношения резко накалились, и старпом накатал в пароходство «телегу».

...За окном кричала птица. Не чирикала, а раздражённо и в то же время жалостно кричала. Алик никогда не обращал внимания на городской пейзаж, отличая разве что хвойные деревья от лиственных, а голубей от воробьёв; другие птицы оставались безымянными. Не знал и сейчас, что за птаха кричит на дереве, названия которого тоже не знал; что-то лиственное. Надо насыпать ей крошек от печенья на карниз. Если голодная, то вначале испугается, а потом прилетит и склюёт.

...Он был маленький, болел, и Ника читала ему книжку про птицу, которую звали Желтухин. Он запомнил и спрашивал каждый раз, увидев воробья: это Желтухин? У матери была стойкая нелюбовь к «животноводческой» литературе, как она ехидно выражалась, поэтому подаренные тёткой Полей книжки Бианки, Сетона-Томпсона и Пришвина в шкаф не попадали – то ли передаривались, то ли

отправлялись в библиотеку. Та же судьба постигла тоненького «Желтухина».

Женитьба капитана осложнила жизнь. У Жорки вынужденно прервался роман с рыженькой девушкой, одной из тех, которые прибегали за косметикой. Мара цепко прибрала к рукам и косметику, и джинсы, и жвачку с сигаретами, и невесомые, но дорогие клубки мохеровой шерсти. Привычный Жоркин «бизнес» оказался в когтистых Мариных руках – она сбывала дефицит своим знакомым. А неприятности продолжали сыпаться, как из дырявого мешка.

Звонок раздался откуда-то из-под стола. Алик шарил по полу, пока ладонь не нащупала телефон – маленький и скользкий, как обмылок.

– Что там у тебя скрипит? –
насторожилась Лера.

– Птица кричит. Это за окном.

– А почему ты хриплый, заболел?

Как объяснить, что голосом он ещё не пользовался, не с птицей же говорить?

– Я звоню-звоню, ты не отвечаешь. У тебя что, телефон разрядился?

Кто ж его знает, разрядился или нет. Он что-то хотел спросить у неё... Да!

– Слушай... Когда ты убирала, ты случайно не видела «ронсон»?

– Бабушкину зажигалку? Нет. У Зепа спрашивал?

Узнав, что тот несколько дней не появлялся, Лера вскипела. Зная собственную вспыльчивость, она в таких случаях замолкала, вот как сейчас.

– Папа. – Пауза. – Папа, скажи честно: ты давал ему деньги?

– Нет, конечно.

Не давал, ибо деньги кончились. А если б и не кончились, то будто Зеп не знает, где его бумажник, в данном случае пустой.

– Что ты ел?

Она всегда так. Я что, ребёнок? Сама же холодильник набила.

– Да там полно́. Твои пельмени ел.

– О господи! Сто лет этим пельменям. Я завтра привезу бульон, остальное закажем.

– Говорю же, полно́! В другой раз привезёшь.

– Какой другой раз, я тебе про завтра талдычу! – Лера сорвалась на крик. – Она же *завтра* приезжает! Алло, ты что, не въезжаешь? Завтра, говорю. Как кто?.. Твоя сестра, Вероника!.. Ты побрейся с утра, слышишь? И телефон заряжаться поставь. Я прямо из аэропорта приеду с ней. Что ты молчишь?

– Лера... Вспомни: вдруг тебе «ронсон» попадался?

Молчание. Рассердилась. «Алло» не подействовало – наверное, трубку положила. Хотя нет у этих карманных экранов никаких трубок.

Он захлопнул свой телефончик – игрушечный, по сравнению с дочкиным, зато с кнопками. Такой ему и нужен, чтобы набрать её номер. А больше звонить некому. К тому же удобно крутить его в руках, пока «ронсон» не найдётся.

Сколько можно торчать на пустом перроне... Он остался в прошлом веке, как и та девочка в сатиновом сарафанчике, с толстой книгой «Давид Копперфильд» под мышкой.

Интернет заверил: вылет по расписанию. Время растянулось и застыло, как шестьдесят лет назад они с мамой застыли под жёлтым вокзальным фонарём.

- Она же сказала, двадцать минут?
- Она сказала: двенадцать.
- А тебе лишь бы спорить с матерью!

Лидия бушевала: требовала начальника станции, грозила написать в министерство путей сообщения. Шквал обрушила сначала на кассиршу, потом на усатого дядьку в фуражке. Над вокзалом висела неподвижная ночь, и только зал ожидания светился. Всё пропало. Поезд ушёл, унося их чемодан, хлебосольную

Антонину с шоколадным Эдиком и чай в подстаканниках. Они с мамой никогда не доедут до Чёрного моря, навсегда останутся на вокзале с дурацким названием «Барановичи». Выпуклые гипсовые буквы дразнили, будто слепленные из разрезанных баранок.

Лидия предъявила усатому билеты, но следующего поезда ждали до утра на твёрдой жёлтой скамейке. В девять часов их посадили, наконец, и поезд, обшарпанный и закопчённый, потянулся к Одессе. Садись новые пассажиры, чаще звучала украинская речь. «Давид Копперфильд» быстро приближался к концу; поезд, наоборот, охотно и подолгу торчал на каждой станции, лениво снимаясь с места, чтобы тянуться дальше. Правильно украинцы называли поезд: *потяг*. Сонный, только и знает, что потягиваться. Смешные названия «Белокоровичи», «Гребёнка» больше не веселили.

В Киеве вышли, там должен был ждать их чемодан. Однако чемодана не было,

и снова мать отчитывала какого-то вокзального начальника, что срывает ей творческую командировку. Тот угрюмо смотрел на её пыльные босоножки, мятую блузку и повторял однообразно: «В общем порядке, гражданочка. Прибудет ваш багаж, никуда не денется».

Жёлтые деревянные скамейки. Жёлтый цвет ожидания, тревоги, тоски.

Наконец они встретились с чемоданом и в Одессу въехали третьим по счёту поездом. Прямо на вокзале мама сняла комнату. Гордая своей предприимчивостью, повторяла: «Теперь начинается настоящий отпуск! Завтра с утра – на пляж». Они долго шли, неся по очереди тяжёлый чемодан, «додому», как приговаривала толстая хозяйка в платке с яркими розами, пока не оказались в окружении нескольких домишек. «Ось тут я живу, – хозяйка отперла подвал, показала железную кровать с белоснежным бельём и пухлыми, как она сама, подушками: – Ось ваша ліжко, лягайте та спіть».

- А дочка где ляжет? – удивилась Лидия.
- Дайте хотя бы раскладушку!

Нимало не смутясь, тётка затараторила по-украински, но всё было понятно. Спорили они долго, но хозяйка повторяла твёрдо: «Навіще друге, вона ж дитина, хіба ж я не розумію; лягайте вдвох».

Одесса не жалела палящего солнца. На крупном грубом песке пляжа загорелые парни азартно играли в волейбол, и мама ловко перебросила мяч. Ника слонялась по пляжу, её ругали за неуклюжесть – то наступила на чужую подстилку, то споткнулась, обсыпав песком чью-то намазанную спину. Чёрное море оказалось мутно-коричневым и очень солёным. В довершение ко всему Ника вляпалась в мазутное пятно и долго пыталась смыть с купальника жирную грязь. Волейболисты перекидывали мяч.

- Мам!..

Обернувшись, Лидия засмеялась:

- Это что за чумичка?

Стараясь не испачкаться, потащила Нику в сторону, бросив парням: «Сестрёнка моя».

– Где ты так изгваздалась? И прекрати мамкать, ты не грудная! Здесь я тебе сестра, заруби это себе на носу.

Всё стало плохо. Захотелось уплыть в это чужое море, чтобы никто не нашёл. И пусть она бежит по берегу в поисках «сестрёнки», пусть врёт про свою творческую командировку – Ника будет далеко в открытом море, пока с проплывающего корабля не кинут ей спасательный круг, а юнга с открытым лицом Давида Копперфильда не бросится с палубы в волны ей навстречу. Корабль двинется в Турцию, где Вероника Подгурская останется жить навсегда, потому что мать от неё отказалась. Она напишет Инке письмо, и та разрыдается, как она сама ревёт, лёжа в тени скамейки на одесском пляже вместо того чтобы исчезнуть в море – ну его, там эта жирная гадость плавает. В тени было не так жарко, и девочка под пляжный гомон уплыла в дневную

дрёму, как в Турцию. Земле не было дела до глупых девчоночьих обид – она жила по своим извечным законам, не обращая внимания на копошащихся людей, и передвинула тень скамейки, так что Ника проснулась от пульсирующей головной боли, с тошнотой и обгоревшей кожей.

...и снова крутнули калейдоскоп, где фрагменты складываются в орнамент, никогда не повторяющийся. Чуть заметный поворот возвратил в комнату, где мама говорит спокойно, но голос её накалён непонятым напряжением. Одесса, Чёрное море, ребёнку нужен отдых. Это ей нужен был отдых, нужно было вздохнуть свободно, почувствовать себя молодой, потому и назвала себя сестрой. Молодой, сильной, спортивной, легко пасующей трудный мяч; молодой и желанной – парни забыли про мяч и потянулись за ней в море. С берега многие с удовольствием следили, как

свободно, легко, будто вальсируя, заплывла она за волнорез и повернувшись на спину, поплыла дальше уже одна, пока не скрылась её голубая шапочка. Так и до Турции добралась бы, как виделось её спящей в тени дочке, но вернулась не устав, а набравшись живительной свежести моря. На берегу перевела дыхание, сняла шапочку, потрянула намокшими волосами; улыбнулась всем сразу и никому в отдельности. Случился ли у неё курортный роман, и если да, то с кем, не с волейбольным же юнцом? Ясно было одно: Лидии захотелось *оттянуться*, как сейчас говорят, отсюда и «сестра», и «прекрати мамкать». И выбор Одессы стал понятен: шпилька мужу, который некогда обещал свозить её в Сочи.

Картинка сложилась в калейдоскопе сегодня, но тогда Нике стоило усилий выговаривать привычное слово *мама*. Нечего *мамкать*, не маленькая. А через год ушёл отец, оказавшийся обыкновенным Михайлецом, а не папой; Лидия не вставала с дивана (потом это

назовут депрессией) и в порыве искренности подарила Нике фотографию её настоящего отца. Незнакомый мужчина вполоборота смотрел не на фотографа, а в сторону; зимняя шапка скрывала волосы. На обороте материнским почерком написан был год её рождения и слово «конец», словно ребёнок не родился, а погиб. Или слово означало конец любви, а человек на фотографии не подозревал о рождении дочери? Вид у него был недовольный, губы плотно сжаты. Ника искала в зеркале сходства – и не находила; незнакомец, случайно ставший её отцом. Обыкновенная биология.

Отцы и дети... Полина любила и боготворила своего отца, который жил, почти не замечая её – всё внимание и нежность отдал Лидии. Почему? Не сумел (или не успел) за два года привязаться к старшей, а родившаяся малышка сразу пленила его – навсегда, до последних писем, адресованных не жене, а тоже ей?

«Опять я заехал в пункт, где стоит наша полевая почта, с трепетом перерыл всю корреспонденцию, но, к великому моему огорчению, не нашёл от моей Лидушки ни одного письма».

«...мне невыносимо тяжело не получать от тебя писем. Пиши, роднушка, чаще».

«...моё письмо дойдёт к вам к 1-му мая, поэтому, пользуясь случаем, поздравляю тебя, моя славная девочка, с праздником».

«Напиши, Лидусенька, видела ли ты картину «Разгром немецких войск под Москвой»? И напиши, с кем была в кино?»

«...Отослал маме деньги, чтобы купила тебе от меня подарок ко дню рождения. Я хочу, чтобы моя Лидуся была самая нарядная, самая счастливая...»

«Здравствуй, Вера!

Вчера получил ваше письмо, спасибо. А то начал волноваться, почему не пишет Лидочка? Дочка-дочка-Лидочка, радость моя...»

«Здравствуй, милая Лидусенька!

Вчера получил от мамы письмо, был несколько огорчён, что не было в нём ни строчки от тебя. Пиши, моя маленькая крошка».

Крошке Лидусе в 1942 году было пятнадцать лет. Что купила Вера на полученные деньги, хлеб или подарок Лидии? Ни в одном письме не упоминался день рождения Полины,

да и жену Донат Подгурский не поздравлял – или не все письма дошли.

Залюбленность одной дочки – и недолюбленность другой, ореол обаяния вокруг Лидии, её красота и всегдашняя уверенность в себе – и незаметность Полины. Неужели и Нике уготована тёткина судьба, днём уроки, а по вечерам тетради?

«Вот ещё, – возмутилась Инка, – залипнуть, как муха в янтаре? Что, мне тогда замазывать синяки, как моя мамаша, или спиться, как он? Я живу свою жизнь, а не их! Вот за Владьку боюсь – он не такой настырный, как я, вдруг свернёт на кривую дорожку». Этот разговор они вели, уже будучи студентками. Владик, Инкин брат, связался с тёмной компанией, и бабка вечерами раскидывала карты, «где малóго носит».

Поездка в Одессу оставила мутный осадок, вроде следов мазута на купальнике, но любовь к поездкам сохранилась навсегда. После защиты диплома они с Мишкой решили поехать

в «предсвадебное» путешествие. Денег было с гулькин нос, однако долго сидели в вагоне-ресторане над остывающим кофе, отламывая кусочки печенья. Вместо красавицы с косой их обслуживала, часто позёвывая, средних лет официантка с одутловатым пластилиновым лицом. Они доехали до Киева, где встретились с Мишкиными друзьями, и вместе направились в Анапу. В Анапе ловко «потерялись», отстав от ребят, и сняли комнатку в домике рядом с диким пляжем. Утром во дворе требовательно блеяла коза, хозяйка спешила к ней, приговаривая: «Зáраз, зáраз». «Зараза, конечно, – беззлобно ругался Мишка, – теперь не поспишь. Идём купаться».

Дикий пляж обескураживал камнями – попробуй ляг, – но вознаграждал малолюдностью: надёжно отделённый высоким крутым откосом, он отпугивал семьи с детьми. Загорали тут молодые ребята, такие же «дикари», да прибежали местные подростки,

лихо ныряли и уплывали далеко в море, не удостоивая вниманием приезжих.

«Предсвадебное» путешествие стало «вместосвадебным», однако никто из двоих об этом не подозревал, ибо Мишке ещё не пришла в голову роковая мысль познакомиться с будущей тещей. Любопытство сгубило не только кошку. Несостоявшаяся жизнь осталась весёлой и солнечной, как тот короткий век в Анапе.

...Всего половина шестого. Всё собрано, кроме компьютера. Фужеры для надёжности обёрнуты свитером. Искусственное лазурное окошко ярко светило на фоне серого настоящего окна. Глаза болели, как на пляже, когда волной унесло солнечные очки.

Мгновенно пролетевший золотой век, Анапа...

Мишка звонил и заклинал прийти, *ну последний раз, пожалуйста*, и Ника зачем-то соглашалась. Он говорил, настойчиво и безнадёжно, о *чистом листе*, с которого надо

начать, об их любви, и Ника ждала повторяющейся в каждом разговоре фразы: «я нисколько не верю в эту чушь...», и слова повисали в воздухе с едва слышным вопросительным знаком, умоляющим: *подтверди, подтверди же, что ты не... не то, что сказала твоя мать, что это неправда...* Ника молчала, злясь на собственное малодушие: зачем пришла? – и бездумно разглядывала пыльную шелуху осенних листьев. Уехать бы к чёрту на кулички, работать в сельской школе... Мысль была вялая, не настоящая – знала, что никуда не поедет; а к телефону подходить совсем ни к чему. Уходя уходи. Хватит душу рвать.

...Уходя уходи. Компьютер в сумку, телефон в карман. Кошелёк, билет. Улетишь, а пустая комната в полусне дождётся уборщицу и послушно замрёт под вой пылесоса, пока та ловко поменяет бельё, полотенца, смахнёт пыль – и уйдёт, стерев вместе с пылью все

незначительные следы пребывания транзитной пассажирки Вероники Подгурской.

...Завтра? Лера что-то напутала. Завтра ведь уже вот-вот, прямо завтра?..

Несколько раз он звонил. От волнения руки вспотели, пальцы тыкали не в те кнопки. Какой-то мужик его обматерил; следующий звонок отозвался старушечьим голосом, и Алик быстро захлопнул телефон. Он долго курил над раковиной и тёр влажные ладони о колени; набрал снова. Телефон ответил Лериным голосом, он часто слышал эту запись: «Оставьте, пожалуйста, ваш номер телефона, я вам перезвоню». Можно подумать, она не знает его номера. Торопливо заговорил: «Лера, ты проверь – по-моему, она только на следующей неде...» В этот момент раздался длинный гудок. Алик вспомнил, что говорить надо после гудка, но от растерянности нажал отбой.

Сестра поймёт. Или Лера предупредит её в машине: так и так, мол, у папы полная потеря зрения, он инвалид. И сестра увидит, каким он

стал, а он повернёт к ней лицо и улыбнётся, он всегда улыбается, как идиот, когда нечего сказать.

Но как же – завтра? По телефону они говорили неделю... нет, больше: недели две-три назад. Две или три, какая разница? Проспал, промечтал, локоть ушиб, обыскался зажигалки... Зепа ждал. О чёрт, надо принять, иначе не смогу.

К счастью, есть у него заначка, про которую никто не знает, если только Зеп не докопался. Но вряд ли, книжки его не интересуют. Это настоящий НЗ – как, бывало, ни тянуло, заначку не трогал. Но когда же, как не сейчас?

Осторожно, спешить некуда. Завтра ещё не сегодня, впереди целый день. Обогнуть столик, и рука касается книжной секции. Верхние полки застеклённые, а два нижних ряда за глухими дверцами. Нижние полки самые высокие, мать ставила туда большие, как ставни, книги. За книгами легко вставала бутылка, а в хорошие времена две. Пещера Али

Бабы, сезам-отворись, не-счесть-алмазов...
Пальцами он узнавал альбомы по искусству на
ощупь. Когда-то они с матерью вместе их
листали: Сурбаран, Босх, Дюрер, Уффици с
беззащитной Венерой на обложке, Суриков,
Брейгель. Дальше, левее; нетерпеливые пальцы
коснулись замшевого корешка с тиснением, это
«Витязь в тигровой шкуре». Рука застыла на
потёртом картонном корешке: любимая книга
детства, сколько раз она радовала его, смешила
до счастливых ребячьих и несолёных, как
дождевая вода, слёз, «книга про Адамчика». Что
бы не дал он, чтобы сейчас её полистать!
Ёлупень – ну что он может дать и кому? Там,
наверху взятки не берут.

...Сестра ведёт из садика домой мальчика
в рыжей цигейковой шубке, держит его ладошку.
Освобождённая варежка болтается на резинке,
другая плотно натянута. Ветер и сумерки – не то
ноябрь, не то февраль, но шубка защищает от
промозглого ветра, мальчику не холодно, вот
сейчас ка-а-ак прокатится по чёрной

раскатанной ледяной дорожке! Прокатился, но в потёмках не заметил горсть песка с солью, брошенную заботливым дворником, и споткнулся. Зачем он выпустил руку сестры, зачем?.. Она прикладывает твёрдый снег к его носу: *ну-ну, сейчас пройдёт, Алька, не реви*. Но он уже тихо плачет от обиды, слёзы текут и смешиваются с тающим в её руке снегом, она берёт новый ком снега – наверное, всё-таки февраль – и нос немеет от холода. *Сейчас, успокаивает она, сейчас пройдёт, вот увидишь. Считай: раз, два, три... Дойдёшь до десяти – сразу перестанет болеть. А дома ты сам выберешь книжку, давай? Например, братьев Гримм, а?* Мальчик считает: он может не только до десяти, до десяти каждый дурак умеет, и быстро выкрикивает: *книжку про Адамчика!*

...любимую настолько, что он часто засыпал, положив её рядом. На обложке Бог, о чём-то беседующий с голым мальчиком, «Адамчиком». Вся книжка – сплошные картинки, слов очень мало, но его не интересовали слова

– восхищала плавная линия. Повзрослев, он сформулирует иначе: художнику жалко было оторвать перо от бумаги, не закончив рисунок. Это были радостные и смешные картинки с бородатым озабоченным Богом в ночной рубашке, голым «Адамчиком», у которого сначала всё было видно, а потом откуда-то взялся листик, чтобы видно было не всё; да много чем ещё. Скоро он смог прочитать имя художника. При упоминании Парижа и Эйфелевой башни мальчик удивлялся: подумаешь, башня – посмотрели бы, как он рисовал! А когда понял свою ошибку, не огорчился. Что ценнее – создать железную громадину или рисовать чудесные картинки на тленной бумаге?

Помнит ли сестра «книгу про Адамчика»? Ничего ценнее он подарить не может.

Оторвавшись от потёртого корешка, рука двинулась дальше. Дореволюционный Пушкин с выпуклыми буквами на корешке в красном переплёте, но для Алика теперь все кошки серы,

как этот здоровенный серый Грибоедов, массивный, как бетонная плита. За Грибоедовым и стоит самое дорогое: *горе от ума*, бурбон, утеха одинокого сердца – прямоугольная, плоская бутылка, такие легче всего занывать.

Первый глоток, пауза. Второй. Внутренняя пружина чуть ослабла.

Он впервые попробовал виски, когда Жорка плеснул в два приземистых стакана из нарядной бутылки, плечистой, угловатой, и бросил в стаканы лёд. И правильно сделал – у легендарного бухла вкус оказался довольно противным, а лёд притуплял ощущение. Мары тогда и в помине не было.

Мать не понимала виски: «тривиальный самогон». Она любила, чтобы в доме водился коньяк, и хоть пила очень редко, плюхала на дно бокастого бокала всего ничего, крохотную лужицу на один глоток. Эти бокалы до сих пор

где-то стоят, только ему без надобности: лучше прямо из бутылки.

Если Лера увидит бутылку, можно сослаться на Зепа: забыл, мол.

Как будто такое возможно. Как будто она поверит.

...главное, завтра!! «Мы с тобой наговоримся, ты расскажешь о своём Жорке». Что он ей лепил? – память ни к чёрту. Всплыла Жоркина записная книжка: «библиотека», «Влад», «английский». Даже свиданья с Мусей проходили по расписанию. Жорка всё успевал. Эндрю гордился работоспособностью сына, хотя родители тревожились: не надорвись, у тебя все козыри. Козырей хватало: отличник, идёт на медаль, английский дай бог каждому, безукоризненная анкета. В школе Жорку действительно привлекали в комсомольский актив, но тот отговаривался большой нагрузкой по предметам.

Алик часто представлял, как его друг уверенно идёт по ковровой дорожке вождённого МГИМО, как его встречают с распростёртыми объятиями; жизнь, обречённая на успех. И придуманная ковровая дорожка выведет Георгия Радомского на другие, настоящие персидские ковры, без которых, казалось, немыслимы дипломатические переговоры.

В записной книжке всё чаще встречалось имя Влада со знаком вопроса в скобках. Объяснялось это просто: не кто иной, как Влад приносил «травку», за что ему бесплатно перепадало что-то из заграничных трофеев. Тот однообразно жаловался: «травка» дорожает, а за куртки “Wrangler” ему не отдали денег – самострока много, не берут. Жорка хмурился: «Травка дорожает, солнышко блестит... У тебя всегда так. А “Partagas” и шузы итальянские? А два пузыря бурбона?» Влад мялся, блеял: «нет спроса», но глаза вращали; вдруг исчез с горизонта. Вместе с «травкой». Оба ходили раздражённые,

угрюмые, растерянные. Как назло, настроение совпало с простудой: кашель, озноб и заложенный нос. «Гнилая температура, тридцать семь и три», – мать с досадой стряхнула градусник. Он валялся на диване – никакой математики! – читал и обрадовался Жорке. Торопливо сгрёб постельное бельё, подвинулся: «Садись!»

...Если б он сейчас вошёл, Алик проделал бы то же самое. Боль давней потери сдавила горло. Нет, сейчас не надо пить, нельзя. Первые глотки уняли дрожь в руках, а тут и Жорка подоспел – как тогда, войдя в его комнату. Вошёл, но не сел – уставился, как зачарованный, на лекарства: «Да тут прямо шведский стол!». Алик не понял. Капли в нос, сироп от кашля; какая Швеция?

То, что для него стало неожиданным открытием, у Жорки было продолжением. Эфедрин, кофеин, кодеин и чёрт знает что ещё приоткрыли безграничные возможности заурядной аптеки. Жорка настраивал себя, как

скрипку, чтобы балансировать между кайфом и предельной сосредоточенностью.

«Необыкновенная чёткость мысли, как у Шерлока Холмса, не зря он принимал опиум и кокаин. А мне достаточно грамотно *закинуться*, и я в дамках. Это же просто *колёса*, фигня. Вот уеду в Москву, поступлю – брошу. Но если отец узнает – ноги вырвет». Он говорил серьёзно, потому что *закидывались* именно на квартире капитана. Под кайфом они сочиняли стихи, Жорка рифмовал русские слова с английскими. Стихи не записывали – некогда было. Потом Алик подолгу не мог уснуть – была внутренняя дрожь, в голове гулко звучали чужие голоса. Помогал косяк, однако с исчезновением Влада всё поменялось, затормозиться стало нечем. Они пытались разжиться «травкой» у хиппующих, но дружинники и милиция разогнали всех, а парня с гитарой в назидание задержали. *Дети цветов* скрылись из города – временно или навсегда. Рыжая Муся, тоже любившая «травку», пропала – не звонила.

Жорка постоянно жил у матери, где у него была своя комната, но там не закинешься – отчим обыкновенно торчал дома, писал диссертацию по искусствоведению. «Давай ко мне?» – предложил Алик. Жорка безнадежно махнул рукой: далеко пилить.

... Алик отодвинул бутылку на край столика. Глоток бы... но сейчас нельзя.

Девятый класс Жорка окончил с одними пятёрками; Алика оставили на второй год. Мать была вне себя от ярости: «Бестолочь, в кого ты такой уродился?» Это говорилось не только ему, но и в телефонную трубку. Мать жаловалась, как ей *стыдно людям в глаза смотреть*, рассказывала про свой *красный диплом*. Алик слышал, не вникая, как не прислушиваются к бухтящему вхолостую телевизору, но телефонные разговоры повторялись, и «красный

диплом» осел в голове, хотя расшифровался не сразу. Всплыл университет в Ленинграде, мать его окончила с отличием и стала юристом. А как же конструкторское бюро, пухлая, похожая на пирог, кожаная дверь с табличкой, и Лидуся-секретарь в приёмной?

Телефон-автомат оказался свободен, и трубку взяла Ника. Встретились на набережной и пошли вдоль серой реки. В лицо дул ровный ветер. От неожиданного вопроса Ника даже остановилась.

– Алька... это бред, она даже школу не окончила. Какой красный диплом?!

– Откуда ты знаешь?

– Поля сказала.

– Поля просто не любит её!

Он сам удивился своей запальчивости. Дома не верил матери, а сейчас не верил Нике. Не хотел верить.

– Алька, Алька маленький... Знаю: большой. Алька, ты всё поставил с ног на

голову: это *tatan* не любит Полину. Потому что Поля не врёт.

– А если всё наоборот, если как раз тётя Поля врёт?

Разговор они продолжали в почти необитаемом кафе, где сидели друг против друга. К вечеру посвежело, кофе был жидкий, но горячий. Алик изо всех сил старался рассуждать спокойно.

– Тётя Поля может не знать об университете. Ты за неё, вот и всё. Может, мама (так у него и вырвалось) в самом деле юрист?

Ника устало покачала головой.

– Мы не в войну играем, красные против белых. Поля знает. Наша маменька бросила школу в девятом классе, потому что её на второй год оставили. Да, работала, но не училась – обиделась, что на второй год оставили. Через три года родила меня. Где здесь уместятся Ленинград, университет и диплом? Она не уезжала... Может, работала в юридической консультации, например, а там

интересных вещей наслушалась и примерила к себе, мысленно поиграла в адвоката... И врёт об этом подругам, как врала мне всю жизнь, а теперь и тебе.

Ни у кого не было такой разумной, логично мыслящей сестры. В тот день это дико злило – наверное, потому что чувствовал её правоту, но как же не хотелось её принимать. Его раздражало всё: собственное второгодничество (наследственность, что ли?), «красный диплом», существовавший в воображении матери, хвастовство и враньё, но больше всего раздражала сестра. Спелись они с тёткой. Строгая логика против изящной выдумки. Лучше б он был, этот красный диплом, что ли. Легенда заманчивей правды.

С тёткой он давно не виделся. Бывать у неё значило вызвать недовольство матери, хотя прямо не скажет. Раньше Полина сама приходила, ещё на старой квартире, в день рождения деда. Вдруг он обратил внимание на её безобразные ботинки – огромные, как у

клоуна на манеже. Полина сидела за столом прямо, не опираясь на спинку стула, а мать – чуть поодаль, ноги в узких лодочках. И рядом эти жуткие тёткины шузы. Почему она не может носить нормальные туфли? Наверное, вся школа над ней ржёт. А мать, элегантная как всегда, в модных туфлях... врёт? А как же «в человеке должно быть всё прекрасно», вот как у неё: и лицо, и одежда... Разве может она врать? Изнутри точило: Полина права, с её безобразными ботинками и ничем не примечательным костюмом – учительница как учительница, лицо как лицо: обыкновенное, родное; не прекрасное.

Не было у матери никакого диплома. Ни красного, ни... зелёного.

...Лера сказала: завтра.

Как это будет? Вот она войдёт, он услышит голос; а дальше? Лера вытащит стулья, не на диване же сидеть *гостье из Америки*. Зачем она

приедет и зачем он, идиот, согласился? Подумал – и ужаснулся: ведь это сестра, столько лет не виделись... И всё равно коряво как-то, неправильно. Не готов он. А завтра совсем близко. Спросит, конечно, как это с ним случилось; врать или сказать правду? После правды Ника отшатнётся. И не приедет больше. Лера будет торчать на кухне. Священный закон гостеприимства – принять, угостить, уставить стол закусками... К тому же заокеанская тётка. При том, что нормального стола нет, есть этот карлик с пепельницей и тарелкой с пряниками. На кухне тоже стола нет – узкий, как подоконник, прилавок и буфет с остатками посуды. Вот плита, раковина – чем богаты, тем и рады; не обессудь, американская сестра!

Рот наполнился слюной. Когда он ел в последний раз? О пельменях-то наврал, они так и сидят в якутской мерзлоте холодильника. Варёные, к счастью; плотная слежавшаяся масса, снизу круглая, по форме миски – пальцы узнают выпуклые крапинки на эмали, похожие

на присохший рис. Он кое-как разломал слипшуюся массу на комки и разогрел в микроволновке. Давно не чувствовал голод так остро, словно марихуаны накурился.

Стало легче. Можно сделать вид, что бутылки не существует – это особенно приятно, когда знаешь, где заначил. Он курил, изредка прислушиваясь к бормочущему радио. Новости тяготили, некоторые запоминались, как недавно горевший Нотр-Дам. Мать мечтала посмотреть мир, что для неё в первую очередь означало Париж.

Не посмотрела – и никогда не узнает про Нотр-Дам. И хорошо, что не узнает.

Новости топтались на месте, повторяли недавно сказанное. В Бразилии горели леса, в Афганистане люди – смертники взрывают себя на празднике. Станный, извращённый способ уйти из жизни, прихватив с собой сотни незнакомцев. На миру и смерть красна – своя, чужая. Странная планета, обречённая на вечные войны...

Но господи, придётся же разговаривать! О чём? О чём можно говорить с сестрой из-за океана, которую не видел десятки лет?! Однако говорили же по телефону, но насколько это проще – телефон. Был разговор об Афгане, был. Если спросит – его заранее коробило от участливого голоса: *как это случилось?* – он коротко кивнёт: Афган, сестрёнка. Пауза. Тема закрыта, занавес; антракт. И задать ей любой вопрос, не думать, как она смотрит на него. Потому что сказать правду нельзя.

...вот он маленький, в очередной простуде. Ника в школе, мама с папой на работе; бабушка ведёт его в поликлинику. Навстречу мелкими шажками двигается человек, его голова немного запрокинута, в руках тросточка, которой он постукивает перед собой по асфальту – так, наверное, Маленький Мук искал в земле клад, Алик даже рот открыл. Прохожий ничем, кроме тросточки, не был похож на сказочного карлика. Поровнявшись, он чуть повернул к Алику задранную голову так, что стали видны глаза:

запавшие глубоко под веки, они всё время мелко помаргивали. «Ну что ты пялишься», – тихо пробормотала бабушка. Постукивание тросточки отдалялось, и бабушка повернулась к нему: «Слепенький он, несчастный. Его пожалеть надо». Мальчика обуял ужас – не столько от первого столкновения со страшным увечьем, сколько от вида глаз с непрерывно трепещущими, как крылья мотылька, веками. Зачем он моргает, если ничего не видит?!

И на него теперь смотрят так же, как он пялился на того человека. Поднеся пальцы к глазам, он подержал их у век: дрожат? Ресницы щекотали кожу – живые бесполезные ресницы. К чёрту; выходить только в тёмных очках. И при Нике в очках, чтобы не пугать её мелким этим морганием. Будет доскрёбываться – поставить точки над «и»: контузия, травма. Война, сестрёнка.

Теперь можно глоток – один. Одного хватит, нужна ясная голова. И покурить.

Я тебе привезу фотографии. Знаешь, ведь в нашей семье...

Когда-то давно – он ещё в школу ходил – Ника впаривала ему байку про дом около Старого парка, где вроде жили дед и бабка. Да хоть бы и курочка Ряба – не знал он ни деда, ни бабки. Какое ему дело, кто они были, шведы или не шведы? Дичь, конечно, тем более что в тот день ему надо было разжиться дозой, но сначала с него хотели стрясти долг, шестнадцать евро... Хотя какие евро – советские рубли, конечно же, – но денег не было хоть убей. А принять очень надо было, руки дрожали. Ни о чём, кроме тех шестнадцати евро, он не мог думать, а сестра соловьём разливалась: я тебе покажу дом...

Он орал, как псих. И лил дождь, а если не принять, то хоть с моста в реку, потому что ну не было у него этих шестнадцати евро... рублей, в смысле, – а тогда что делать?.. Откуда-то

взялись деньги, Ника раздобыла. На следующий день он зачем-то пошёл к дому, про который она говорила. Дом как дом – высокий, этажа четыре, обшарпанный, перила шатаются. Лестница заплёвана, кругом окурки.

Какие шведы?!

Но пусть она рассказывает эти байки, можно даже напомнить. Хуже будет, если спросит о Марине, как уже пробовала по телефону: «Ты так и не рассказал о жене». Тут Афганистан не поможет; а выложить правду ему не под силу.

Не почувствовал, как сигарета выпала – вздрогнул, услышав шипение. Рука дрожит.

Хорошо верующим: иди в церковь, уткнись попу в пузо и колись, колись, пока полностью не опростаешься от всех грехов. Дескать, я пил, блудил, сквернословил (подумаешь, грех), а теперь – прости, святой отец! У того работа непыльная: сказать: «Бог простит», – и помахать этой блестящей хреновиной, дыму напустить. Алику плевать, простил бы его равнодушный

мужик в бороде поверх негнущейся блескучей робы, простит ли бог – нужно, чтобы Марина его простила. Только поезд ушёл. *Прости, сестрёнка, мне трудно об этом.*

Алик не заметил, что радио молчит, а сам он говорит вслух, и застонал от стыда. Стало тошно от собственных отрепетированных слов, от мужественного голоса.

Ни с кем он не мог говорить о жене, тем более не сможет с сестрой, которая ничего не знала о его взрослой жизни, но именно с ней завтра придётся говорить. Она дотошная, будет долбить вопросами.

Марина снилась ему редко, всегда одинаково: поворачивается к нему, рука на перилах моста: «Хочешь, я мальчика рожу? Будет похож на тебя». Смеётся; ветер сдувает пепел с её сигареты. Начиналось самое страшное: в голове закрутилась кассета, и нельзя шлёпнуть по кнопке «стоп» – есть только «пауза», когда кадр застывает, его можно увидеть изнутри, глазами памяти – застывшее

мгновение, – но неизбежно включится продолжение, плёнка будет крутиться долго, не отпуская даже ночью. И не вырубишь, пока сама не остановится.

Ему нравились совсем другие женщины – плотные, с крутыми выпуклостями; *корпулентные*, дразнил Жорка. Марина выглядела подростком – худая, с короткой стрижкой, блестящие чёрные волосы облегли голову плотно, как плавательная шапочка. Девушка листала журнал у библиотечной полки, куда занесло друзей. Алик скользнул по затянутой в «болоню» щуплой фигурке и толкнул друга локтем: «Давай поспорим: это мальчик или девочка?» К тому времени было уже выпито и принято достаточно, потому что игривый тон ему не был свойствен. Она повернула голову и посмотрела сочувственно. «Не обращайтесь внимания, мисс, он болеет, – Жорка повертел у виска пальцем, – хороший парень, но пижон».

...Один глоток; ещё один. Иначе ты не вынесешь эту пытку. Плёнка то шуршит, убаюкивающе шаркая, произвольно замедляя целые куски, где Марина с томительной неторопливостью расстёгивает молнию, курточка бесконечно долго распахивается, как двухстворчатая дверь, приводимая в движение дряхлым дворецким, и ты ждёшь с нетерпением, как с той же дразнящей медлительностью протянутся любимые руки. Тебе не остановить этот момент, ибо плёнка внезапно с лихим посвистыванием ускоряет ход, обрушивая каскад скачущих кадров, и сознание едва успевает поймать это мелькание: лицо Марины, затуманенное фатой, насупленная тёща, Марина с туго запелёнутой дочкой в тонких руках – озабоченное лицо, торжествующие глаза; сам он на пляже с удивлением наблюдает за толстой девочкой, которая возится в песке: моя дочка. Снова Марина, в чёрном платье: только что

похоронили тещу, – на лице напряжение, усталость; рядом уверенная, с уместно печальной улыбкой, мать.

Он долго избегал знакомить с нею Марину – не знал, почему, но чувствовал: не надо. К тому же помнил, как жених Ники нанёс будущей теще *визит доброй воли*, и мать его охмурила в два счёта своим обаянием, а разве могло быть иначе? Только про свадьбу не говорилось. Передумали?.. Сам он тоже не спешил и Марину привёл за неделю, что ли, до загса. Мать изобразила самую радушную улыбку: *мой сын такой скрытный, я вся извелась! Ну, дайте вас рассмотреть хорошенько...* Бедная девочка, с её-то застенчивостью, не знала, куда себя деть, пронзаемая рентгеновским взглядом будущей свекрови, под ласково журчащий ехидный голос.

– Я не понравилась твоей маме, – чуть не плакала Марина, когда он её провожал.

А кто бы ей понравился?..

«Циркуль, а не девица», – припечатала мать. Она нарочно выбрала слова: невозможно было не услышать этого презрительного цыканья.

...Только бы ночью не крутилась эта плёнка. Ночью стихают все звуки в доме, разве что где-то по трубе обрушится шквал воды, потом тишина притворится мёртвой, и Маринин голос раздастся особенно отчётливо: «Давай, я рожу мальчика? Только...». Неизбежно прозвучит «только», хоть плёнка пробежала вперёд, и Лерочка собирается в школу, – *но только не пей, Алик*. Они на даче, снятой на месяц, жена стоит на балконе, ветер перебирает отросшие волосы. Марина закалывала их на затылке, но шпильки не держались, выskalзывали, выпускали чёрные пряди на свободу. На ночь она заплетала косички – блестящие, непослушные, – и Алику казалось, он обнимает робкую школьницу, по какому-то

недоразумению очутившуюся в его постели, хотя поженились они рано, сорок лет на двоих, а главное, он ощущал себя сильным и мужественным.

...Глоток. Ещё один – и что-то вспыхнуло в голове, так что плёнка стала показывать одну из предыдущих серий, задолго до Марины, застряв на весеннем дне и вернув Алика прямо в скандал с матерью.

«Мальчишка, сопляк!» – орала мать. Он отказался возвращаться в школу второгодником. Ждала другая, новая жизнь, вместе с объявившимися в городе хиппи (Зои не было). Собирались автостопом ехать в Закарпатье, в Ужгород, и слово разбудило в сердце детскую тоску, до сих пор безымянную. Одна герла сплела ему нитяный браслетик. Алик раздобыл самоучитель игры на гитаре. Дело

было за гитарой. Самая дешёвая в магазине стоила четырнадцать рублей. Он подолгу торчал у витрины музыкальных инструментов в Старом городе. Дождавшись, когда внутри скапливался народ, проскальзывал внутрь, чтобы поближе рассмотреть предмет вожделений.

Выклянчиваемые у матери деньги на обед и несколько набегов на её сумку вскоре материализовались в уценённую за какие-то неуловимые изъяны широкобёдрую красавицу, которую предстояло поженить с самоучителем.

И наступило лето, снова собирался пипл – уже в другом месте, на отдалённой взморской станции, куда не всякий дачник забредёт, не то что дружинники. Постепенно Алик освоил уценённую гитару, выучил несколько простеньких аккордов и всякий раз испытывал откровенно чувственное наслаждение, беря её в руки. Здесь, в неподвижном и ласковом тепле леса, он почувствовал освобождение – от постылой школы, тряских автобусов, ехидных реплик и навязчивой заботы матери. Все были

рады ему, он любил всех. Ему протягивали косяк, он затягивался, мысленно считал до десяти и передавал следующему. Появлялись новые лица, среди которых вдруг мелькнуло знакомое: Владик, Инкин брат, как привет из детства. Мимолётно вспомнил Вовку – и скоро забыл, словно закрыл за собой дверь, оставив его сидеть на холодном чердаке.

Не хватало Жорки. Тот появлялся нерегулярно, и на нём уже проступала печать отстранённости. Про свои планы Джордж, как его здесь называли, никому, кроме Алика, не говорил, однако ребята откуда-то разузнали и называли его между собой Дипломатом – кто с завистью, кто иронически. Джордж улыбался, махал кому-то, находил место около костра, но не садился, как сидели вокруг остальные, а – присаживался, чтобы выкурить сигарету и незаметно скрыться. Как и раньше, он оставался самым по себе, отдельным, несмотря на то что охотно принимал косяк и бутылку дешёвого вина, плывущую по кругу. Вино здесь

не переводилось – простое, самое доступное, в той или иной степени сухое.

Каким-никаким слухом Алик обладал, особых вокальных данных не требовалось. Он разучил несколько битловских песен и пел, встряхивая волосами, а девушки раскачивались под “I Want to Hold Your Hand” – и тянули к нему руки.

Достаточно закрыть глаза, чтобы снова очутиться в том лесу, среди сосен, и чья-то рука передаст тебе бутылку с вином – этот глоток ты заслужил.

*I want to hold your hand,
I want to hold your hand...*

Мишка ушёл. На скамейке стало очень много места.

Ника встала. Со стороны мостика приближалась женская фигура. Поровнялись и разошлись; вдруг знакомый голос окликнул: «Кисонька?..»

Только тётя Лена так её называла. Знакомая улыбка, стрижка «под пажа». Они вернулись на ту же скамейку, парикмахерша закурила. Не зная, что сказать, Ника похвалила туфли.

– Жмут, сволочи. Я же целый день на ногах.

Обе рассмеялись, и Ника тоже вытащила сигареты.

– Мамка небось не знает, что смалишь.

– Она мало что про меня знает. Я давно живу с тётей Полиной.

Ника не сразу заметила чуть отяжелевшие веки и лёгкую припухлость под глазами – радостными, как улыбка. Непринуждённо потёк разговор.

– Работаю, жить-то надо, да и на людях веселей. Поменяла нашу с мамой комнату на однокомнатную квартирёшку. Приходи, я из тебя такую лялечку сделаю – парни буду в очередь становиться!

Ника помнила все слова наизусть и улыбнулась.

– Как там мой губошлёп? Сколько ему сейчас, пятнадцать?

– Шестнадцать. Длинный вымахал...

– А ты красивая... На отца похожа. Ямочка на подбородке, как у него.

Нику словно подкинуло.

– Вы его знали? Моего... настоящего отца?

Тётя Лена сосредоточенно рылась в сумке, не поднимая глаз. Знает. И не скажет.

А та выдохнула дым и невесело
усмехнулась:

– *Мы* знали.

И рассказала.

– Мы с первого класса вместе, и на каток,
и в кино – все знали: Лидочка с Ленкой. Она
всегда «Лидочка», я «Ленка». В шестой перешли
– и война началась. Ваши под Ярославль
эвакуировались, а мы с мамой попали в
Челябинскую область. Я в деревне сроду не
была. Послали косить тяжелой косой.
Сколько я там накосила... Может, потому мне
стричь нравится? Мама боялась, что я себя
покалечу. Все ждали почты с фронта, кроме нас
– мой папа до войны не дожил, умер в тридцать
девятом. Война войной, а в школу ходили,
диктанты писали. Чернил не было. Я химический
карандаш с собой привезла – втихаря от мамы
брови подводила; карандаш и пригодился, в

деревне для кого брови рисовать? Потом лазарет в школе разместили...

Не о том я...

Война четыре года шла. Весной в сельсовете учились. Кто постарше, работал наравне со взрослыми, не до школы. После войны мама домой рвалась, она в деревне тосковала: в городе только чистую работу работала, продавщицей в галантерейном, а там при скотине. Мы снимали угол, а в городе квартира.

Не о том я. Кому ж и сказать, как не тебе, а я про войну да про себя...

Ну, вот. Мы с мамой спали и во сне видели, как вернёмся, а приехали только в сорок шестом. И прямо с вокзала – домой, а в нашей квартире чужие живут. Мама туда, сюда; прописали нас в другом месте. Целую комнату дали, да в квартире, кроме нас, три семьи жили. Встретились мы с Лидусей – как не расставались! Совсем взрослые барышни, моя мама говорила. Меня в парикмахерской сразу

поставили в мужской зал: бритьё, стрижка. Ничего-то я не умела. Стригла, обмирая от страха, руки дрожат... Лидуся пошла в девятый класс, а как её на второй год оставили, бросила школу, хотя способная была. Заупрямилась: пойду работать. Не в парикмахерскую: *больно надо вшивые головы стричь*, так и выразилась. Устроилась в контору, при бумагах.

Работа работой, да мы же молодые! По вечерам на танцы бегали: нагладишь единственную шёлковую блузку, мамину юбку выходную довоенную, туфли чиненые-перечиненные – и на площадку. Меня в дамский зал перевели – я волосы научилась укладывать: сверху валик, а до плеч локоны. Все на танцы бегали: молодые женщины, девушки вроде нас, а то вообще школьницы. Больше негде было знакомиться. Парней на площадке мало, но Лидуська никогда стенку не подпирала – вокруг неё мужики так и вились. Она была красotka, а я – так, с боку припёка. Хотя молодая я тоже была хорошенькая, но куда мне до неё! Когда Лида

шла на свиданье, меня брала: учись, мол, как с ними надо. Мы тогда с Павликом познакомились, он только-только в армии отслужил. Пришёл бриться. Помню, как я тогда на подбородке ямочку заметила. Отца на фронте убили, мать – они в Мелекессе жили – ждала Пашку домой. Он был рукастый, работал в вагонном депо. Гуляли вместе: с Лидусей два кавалера, кто кого переговорит и выпихнет, а со мной Пашка. Пройдёмся, сядем на скамейку. Лида как королева, два валета по бокам. Она молчит – и вдруг: «Вот смотрю я на вас, мальчики, и думаю: кого я люблю больше, Володю или Юрика?» Те млеют, а Лида спокойно поворачивается к Пашке: «Может быть, тебя, Павлик?..» – и мне подмигивает. Она как-то пригласила его на белый танец. Он культурно танцевал, не как другие, а то придёшь, бывало, домой, блузку снимешь, а она вся залапана на спине, где лифчик застёгивается.

Зачем я тебе про такое, сама не знаю. Не то говорю.

Ника сидела неподвижно. Только бы досказала.

Тётя Лена помолчала, уставившись в гравий дорожки.

– Ну, что... Павлик мой мечтал на курсы пойти, чтобы работать в милиции. Милиция вроде армии: кормят сытно, дают форму, койку в общежитии; Пашка-то снимал угол. И собрался в свой Мелекесс, маму проводить. Отписал ей, что девушку встретил, Леной зовут. А тут Лидуся на танцы зовёт. Я не пошла – моя очередь была полы мыть в квартире. Пашка в дверь, а я на коленках ползаю, лицо красное, сама лохматая. *Лен, я попрощаться пришёл.* Оказалось, из-за Лидки. Подружка, с первого класса вместе, Павлика моего увела как нечего делать. И не нужен он ей был ни на вот столечко – за ней кто только не бегал! Чем-то Лидка парней приваживала... На танцах она сказала: *ты же не знаешь, какая я женщина...* Женщина? – да мы девчонки были! Сказала – тот и голову потерял.

Ушёл, а я так и стою на коленках на мокром полу.

Пауза. Вагонное депо обернулось Второй Вагонной улицей. Ирония сюжета.

– Так и жила – холодно, стыло: ни парня, только работа. Девчушка, что в мужской зал пришла, выскочила замуж за пожилого фронтовика. Мне на работе легче делалось: бабы приходят, у каждой своя печаль. Они думали, я заговоренная: всегда весёлая, смеюсь. А я тоску свою забалтывала. Почти год минул, а тут Лида заявляется: приходи, говорит, на крестницу свою посмотреть. Я знала, что она родила, мы же не виделись. А тебе в рожицу заглянула – вылитый Пашка! Лидуся сама выбрала имя: Вероника; вроде в честь тёти Веры, бабки твоей, но понаряднее. Ты, спрашиваю, замуж вышла? Лидка в ответ смеётся: больно надо! Что бы она сказала, если бы Паша вернулся?

В парикмахерской всякого наслушаешься: за одной московский артист ухаживает, другую

герой-лётчик охмуряет, аж с Любовью Орловой сравнил. А повернётся перед зеркалом – чулки штопаные да старая кофта растянутая; вот тебе и Любовь Орлова. Зачем, думаю, хвастаются, врут? А потом поняла: они мечтали. Как иначе выжить после войны?

Лидуся стала работать в исполкоме, там и комнату получила как мать-одиночка. Хорохорилась – вся жизнь, мол, впереди, – а жизнь её ждать не стала, ушла не догнать. Очередь за ней не стояла – кому нужна красotka с дитём, если вокруг девок полно? Денег не хватало – за погибшего отца по аттестату больше не платили, а Лидкина зарплата – кошкины слёзы, в парикмахерской хотя бы чаевые перепадут. Я к ней заходила – мы же с первого класса вместе, кто мне ближе? Зато у ней другие подруги завелись, я там ни пришей ни оторви, все культурные. По пути хотя бы килек куплю, она на одной жареной картошке сидела. Спасибо, моя клиентка когда-никогда вместо чаевых фрукты с базы приносила. Приду,

гляну на тебя – и жалею, что не я родила. Моя мама всё повторяла: *любовь отболит, а жизнь останется*; так и вылечила меня.

...Вспомнилось зимнее утро, когда тётя Лена несла её на руках в больницу – бегом, скорее! – на ходу поправляя сползавший плед. Как несла бы свою дочку. И в машине плакала – над своей дочкой.

День угасал.

– Потом она с Сергеем познакомилась. Он всё кругами ходил, ни бе ни ме, да Лидуся не торопила.

Ничего в лице тёти Лены не изменилось, голос тёк ровно.

– ...поняла, что испугнёт мужика.

Зачастила ко мне в парикмахерскую и выходила такой куколкой, загляденье! Вот он и загляделся. В гости ходил, звал в Сочи, на курорт. А Лидка возьми и скажи: не с того, мол, начинаешь, ты бы сначала в загс пригласил, а в Сочи я сама могу съездить в отпуск. И поженились; Алик родился. Я за неё радовалась:

мужик надёжный, при квартире, зарплату в дом – живи и радуйся, нет? А она за командировки сердилась. У меня мама болела, я после работы к ней в больницу бегала. Когда совсем ей плохо стало, я Лидусе звоню, а она как закричит: забудь сюда дорогу!.. Что, почему?! Так мне горько стало... Лидка порошок, я знаю; остынет – явится. Но нет, не пришла. Беру трубку звонить – и кладу, обида душит. Так она и не появилась, даже когда я маму хоронила. Словно дружбы не было.

Быстро темнело. Фонарь, наоборот, стал гореть ярче. Сумерки затушевали кусты.

– Так и живу, – грустно улыбнулась тётя Лена. – Три года назад познакомилась с одним, он у нашей витрины останавливался. Постоит и уходит. Он вдовый, моя любовь давно выгорела, другой не досталось. Два обломка – что он, что я. Расписываться не стали. Ну, да это тебе неинтересно. Ты приходи, киска, научу тебя волосы укладывать. Ну, дай бусю!..

Блики фонаря качались в тёмной воде канала.

Сейчас, много лет спустя, посмотреть с той скамейки – заурядная фабула для дамских романов: *он* плюс *она* плюс разлучница-подруга. Герой-любовник исчезает с горизонта, *она* стрищет чужие головы, а подруга остаётся с ребёнком на руках. Истасканный и вечный сюжет пронимает насквозь, если ты тот самый ребёнок, нетерпеливо ждущий, когда мама принесёт из кухни сковородку с жареной картошкой.

...тот самый ребёнок, у которого могла быть другая мама.

Проходили, виляя, полупустые трамваи, фонари на бульваре уходили вдаль, в перспективе выстраивая цепочку сливающихся огней.

Самое вкусное воспоминание детства: тонкие жёлтые полупрозрачные ломтики с поджаристой корочкой, обволакивающий сытный аромат подсолнечного масла, ласковый мамин голос: «Осторожно, горячо!» Вроде бы листаешь всё ту же книгу, но спутаны все сюжетные ходы, любовного треугольника нет – есть только мама и ты. Ты сидишь с полным ртом, болтая ногами, и перекатываешь во рту горячий ломтик картошки. Вредная Людка не высунулась ещё с ядовитыми словами, что у тебя нет папы, о чём ты вообще не задумывалась. Со временем у мамы появился муж, а у тебя папа – суррогат, заменитель, вроде кастрированного кофе без кофеина. Появился, а потом ушёл с портфелем, выплюнув ядовитые слова. Они долго мучили, но сегодня можно их забыть.

Когда лучшая подруга крадёт жениха, не станешь спасать ребёнка воровки или мстить через пятнадцать лет таким убогим способом.

Вероника пыталась представить ту, молодую, мать. Любая жизнь – роман, ибо судьба не скупа на фантазии. Лидия внимательно присматривалась к Сергею. Подрастала дочка, всех ухажёров давно сдуло, так что раздумья, кого из двоих или троих она любит больше, не посещали. Скоро стукнет тридцать, и молодость сменится молодостью. Подруга Муза который год уверяет: «Мне тридцать, как говорится, один». Это наводило на мысли семейного свойства. В доме нужен мужчина – повесить гардины, наколоть дров или покрасить подоконник. Не потому что сама не могла – в эвакуации многому научилась, разве что гардины не вешала – не было гардин. Их и сейчас нет: обязанности занавески на Второй Вагонной исполняла старая кружевная скатёрка, висеть ей и висеть, выглядело даже стильно. Но требовался настоящий муж. Ему не нужна твоя сноровка – ему хочется, чтобы ты была слабой женщиной, нуждающейся в его заботе, а не пильщиком и не маляром. И чтобы

была красивой. Михайлец немного старше, что хорошо – придаёт солидность, кого попало не стала бы приваживать. Есть устойчивая специальность и квартира, разве что фамилия подозрительно молодецкая, но что толку в её звучной фамилии Подгурская, коли она девичья, в двадцать семь-то лет? Пора, пора менять – статус, адрес, фамилию, лишь бы навсегда забыть о Второй Вагонной со скандальной соседкой. Замужем уютней.

Маленькая Ника помнила, как мать с улыбкой повторяла эту фразу – *замужем уютней* – и новой подруге Лизе, и не очень новой Музе, и любимой, тёте Лене. Лиза и Муза со своими зудящими именами незаметно пропали, зато тётя Лена была всегда.

Как-то раз она принесла первый в Никиной жизни апельсин. Ярко-оранжевая пористая кожура пахла свежим холодом и чем-то до сих пор неведомым. Тётя Лена простым ножиком превратила его не то в кувшинку, не то в раскрытый тюльпан, и девочка, затаив

дыхание, ждала, что сейчас оттуда встанет Дюймовочка, но внутри сидел раздетый лохматый шар: апельсин. Его разделили на дольки, и Ника медленно жевала, чтобы хватило на подольше. Мама с тётёй Леной не стали пробовать. Аромат апельсина долго жил во рту и почему-то в носу, ладошки пахли апельсином. Когда появилась книжка про Чиполлино, Никины симпатии были прочно отданы цитрусовым. В другой раз у тёти Лены в сумке оказался новый фрукт, расцветкой похожий на жирафа, жёлтый с коричневыми пятнами. *Это банан*, улыбнулась гостя, дёрнула за жирафовую шкурку и еле успела подхватить вяло свесившуюся сосиску, сладкую, как мёд.

Второй банан она попробовала в роддоме: соседка по палате угостила – муж из дальнего плавания привёз. Шкурка была ровного жёлтого цвета, без всяких пятен.

...а в Америке с изумлением узнала, что бананы с пятнами – попросту гнилые, их выбрасывают. Это удивило, но не так как знание, что в пятидесятые годы в Городе попадались экзотические фрукты. То ли хранить не умели, то ли продавать не успевали – не рассылать же в овощные магазины, в самом деле. Бананы портились, и тогда очередную партию распределяли среди избранных или сплавляли по-тихому, чтобы один очутился в сумке парикмахерши на радость маленькой девочке.

Девочка давно выросла, но только полчасика назад услышала живые слова о своём биологическом отце, которого любила не мама. И – что? Когда была подростком, хотела знать о нём как можно больше, разыскать, услышать голос, увидеть. Жадное детское любопытство давно погасло. Вагонное депо, мечта стать

милиционером, загадочный город Мелекесс и чужой человек, случайно ставший её отцом.

Любовь отболит, а жизнь останется. Чужие мудрые слова пришлись Нике точно по мерке. Только зачем ей жизнь без любви?

Oh, yesterday came suddenly... Жоркина любимая. *Yesterday*. Сегодняшний день вылупливается из вчерашнего – и сам, старея, становится вчерашним, *yesterday*, чтобы из его праха вырос день завтрашний. Жизнь складывается из бессчётных слоёв прожитых «вчера», поэтому сугроб по дороге в детский сад, отцовские руки, подбрасывающие его в воздух, холодный страшный март, жизнь с женой и дочкой, смерть матери – всё это одно многоликое вчера. Память снимает прожитое слой за слоем, будто капустные листья, и заставляет тебя проживать каждый из похороненных дней заново – заживо, как только что прошедший.

...Поездка в Закарпатье не состоялась. Мчащиеся машины насторожённо замедляли ход, но не останавливались – пёстрая толпа

юнцов не внушала доверия. Щедрое тёплое лето, дойдя до августа, внезапно передумало, зарядило дождями. Мокрый лес сделался хмурым, неприветливым, и Алику казалось, что кончилась увлекательная игра; гитара рядом с диваном осталась единственным напоминанием. *Пойдёшь работать*, объявила мать.

Она нашла для него тихую нишу в молодёжной газете, где влачил сонное существование «Клуб юных журналистов» – своего рода почтовый ящик. Анкета Олега Волгина благополучно прошла чистилище отдела кадров. Ему выделили корявый письменный стол и зарплату в сорок рублей. «Юные журналисты» присылали стихи, рассказы вроде школьных сочинений на свободную тему и задавали пытливый вопрос: *как стать настоящим журналистом?* От Алика не требовалось отвечать, его работой была сортировка писем – «сортир», как шутили штатные сотрудники. На «сортир» он не

обижался, в журналисты не стремился, даже если бы знал, как это сделать, однако хотелось быть похожим на них. В свитере и джинсах, с густой вздыбленной шевелюрой, он чувствовал некую причастность к этим людям и боялся, что его не принимают всерьёз. «Не курите эту отраву, деточка», – хрипло бросила пожилая замредакторша, увидев у него пачку «Примы». Курили в редакции все, кроме уборщицы, курили и пили. Малолетке из «сортира» не наливали, но потом усовестились – именно Алика посылали за вином и сигаретами. Мелочи вроде отнести-принести гранки, смотаться в типографию или поточить карандаши подразумевались сами собой – он был юнгой на корабле, мальчиком для битья.

Как же давно это было, хотя всего-навсего вчера, *yesterday*.

Now I long for yesterday... Он тосковал по несостоявшемуся. Хотел рисовать, но желание не передавалось руке; на гитаре наловчился бренчать, но до настоящей игры не дотянул. Пипл в парке поредел, что-то кончилось: одни отпали, как осенние листья, другие образумились и готовились к экзаменам, а самые фанатичные снялись с места, подавшись на поиски загадочной «Системы». Мать убрала гитару в шкаф. Если её случайно задевали, струны отзывались придушенным стоном.

Сильно не хватало Жорки. Жизнь, обречённая на успех, ковровая дорожка, по которой он уверенно отправился покорять столицу... Правда, случилась неожиданность: Георгий Радомский блестяще окончил школу, но медаль ему не досталась – «не проявлял надлежащей активности в комсомольской работе». Комсомольская работа не входила в число школьных предметов, зато входила физкультура; по этой-то важной дисциплине оценка была снижена на балл, из-за «четвёрки»

медаль укатилась в другом направлении. Едва заметная щербинка на стекле, лёгкое облачко в ясном небе, крохотная складка на расстеленном ковре, и одним козырем стало меньше. Жорке предстояло сдавать вступительные экзамены, с чем он и отбыл в Москву.

...тем удивительнее было столкнуться с ним в городе в середине октября, когда он, вместо того чтобы сидеть на лекциях в МГИМО, стоял в киоске в очереди за сигаретами.

Жорка не поступил в институт. Ошеломлённо слонялся по Москве, снова и снова прокручивая в голове вопросы каждого экзамена, пока решился позвонить отцу. «Отыгрались, с-суки, – выругался тот. – Приезжай домой».

Капитан Радомский быстро связал недавние события: появление в его жизни Мары, миротворческую миссию старпома, ссору. Не известно, воспользовался ли тот адресом, по которому капитан его послал, но рапорт отправил в пароходство незамедлительно. Пока

там из скупых строчек выжимали сочные детали, капитан ждал решения на берегу, просчитывая возможные сценарии. В самом скверном случае могут закрыть визу на год... или больше. Вызванный на ковёр, он получил длинное внушение, чем распиналовка и ограничилась – скоропалительная женитьба спасла его от более жёстких санкций. И тут позвонил из Москвы Гоша. Даже в зрелом возрасте сорока шести лет нелегко принять, что если отцу шьют аморалку, то сын обречён на недобор баллов в МГИМО; сообщающиеся сосуды. «Возвращайся, – повторил Эндрю, – деньги-то есть?»

Деньги были, поэтому возвращение затянулось, а как он оказался на Казанском вокзале, откуда никогда не ходили поезда западного направления, и как шился с чужой подозрительной компанией, отцу не рассказал – это грозило «вырванными ногами». Зато Жорка разжился анашой.

Это сестре не нужно знать. Один глоток – в память о той встрече, один глоток.

В Старом парке Жорка рассказал о своей московской эпопее. Про фиаско с институтом ограничился фразой: «Москва бьёт с носка» – бросил легко, словно ничего такого не произошло. Москва нанесла удар с оттяжкой.

Родительских денег Жорке хватило не только на «травку». Погуляв по городу и поездив в электричках по Подмосковию, он отдал должное не только памятным местам, но и аптекам: чем дальше от центра, тем более беззаботными оказывались продавцы.

Покупаемые для отвода глаз марганцовку, пипетки и прочую дешёвку Жорка выбрасывал или «забывал» в электричке. Пакет с «колёсами» он отдал Алику на хранение – мать работала в институте фармакологии, вдруг что-то

заподозрит? Он напрасно волновался. Мать одолевали другие заботы: в лаборатории неприятности, возраст изводил перепадами настроения (пришлось даже прибегнуть к транквилизаторам), а тут ещё мезальянс Андрея, совсем уж оскорбительный. А сын измучен экзаменами, бесплодной гонкой, и теперь ему необходимы отдых и внимание, мальчик очень исхудал. Бывший муж не делился с нею догадкой о причине недобора, но согласился: Гоше необходим отдых, а в следующем году непременно поступит. И кстати, дипломатия да политика дело не безобидное, пусть идёт в медицинский.

Жорка заявил о готовности стать врачом и записался на подготовительные курсы.

Во рту стояла сухая горечь от сигарет, и всё же Алик закурил новую. Редактировать своё прошлое на шестьдесят третьем году жизни –

дело противное, нечистое; но не этим ли ты занимался раньше?

Первый опыт он приобрёл на первой своей работе. Та самая тётка с хриплым голосом и предложила «маленький оживляж» – поручить Алику «причёсывать» письма юных дарований для публикации. Счастливые авторы, зачарованные собственным именем на газетной странице, не замечали лёгкой правки, как и сам он не заметил десятирублёвой прибавки к зарплате – вино было дешёвым, но и покупал он его чаще. Мать, надо отдать ей должное, спокойно приняла его курение, но об остальном не догадывалась, ибо кому же придёт в голову, что можно *закидываться колёсами* и запивать *бухлом*. А запах объяснял легко: день рождения сотрудника («неудобно было отказаться, мам») или День печати; да мало ли? Ложь – это тоже редактирование, поэтому спустя сорок пять лет ты куришь над раковиной, тщательно «причёсывая» своё вчера для грядущего завтра.

Рано, хмурилась мать, щёлкая зажигалкой; *смотри, сопьёшься*. Такое говорят для остротки, не всерьёз; если боялась по-настоящему – промолчала бы. Вскоре ему стукнуло восемнадцать, и хоть он давно перестал горевать о серебристой стрелочке, праздник есть праздник. А когда военкомат его «поздравил» повесткой, матери стало не до нотаций. Жорке вызов в это заведение пока не грозил – он был на год младше.

Что-то тяжело загрохотало на лестнице, женский голос взвизгнул: «Осторожно!» Купили мебель. Или холодильник. Идиотка; раньше надо было кричать «осторожно», теперь-то что. Слышалось кряхтенье, гулкий выдох и мат. Хоть бы выше, хоть бы не надо мной. Сильно хлопнула дверь наверху, что-то тяжело и тупо стукнуло в потолок – и поехало, поехало: волокут. О чёрт, за что?! Глотнуть – и срочно вернуться в *yesterday*, где смеялся Жорка, но

Марина пока не появилась. Жорка смеялся и не мог перестать – он придумал новый «коктейль» из целой горсти таблеток («я записал, я помню!»), голова у Алика приятно кружилась, ему тоже было смешно – нипочему, просто так, это кайф от очередного глотка – в голове начиналась такая карусель, что хотелось лечь на прошлогоднюю траву, лечь и не вставать.

...уснул, что ли? Как он добрался до дивана, не споткнувшись? Очень мучила жажда. Встав, Алик осторожно двинулся на кухню, пальцами касаясь стены. Вдруг рука вошла во что-то лёгкое, невесомое, страшное своей непонятностью, и он отшатнулся, с трудом удержавшись на ногах. По спине тёк пот. Дунуло влажно, свежо –

...ветер. Занавеска. Ну и болван же я. Сердце колотилось в ушах.

Раньше, в одном из многодневных *вчера*, так бывало с Жоркой. Правда, тот и

закидывался серьезнее, все «коктейли» проверяя на себе, поэтому вдруг оказывался в дальнем районе, или в загородной электричке, или в кино с девушкой, не помня ни кинотеатра, ни фильма, ни имени спутницы. Пустота, прочерк. Ощущение было знакомо, сколько раз Алик его переживал: заднее сиденье троллейбуса, незнакомая улица за окном и чьё-то бледное лицо маячит на стекле – это я, моё лицо, снаружи темно, поздно.

Куда я еду, где Жорка? И где я сам? Однажды уснул, скрючившись, в телефонной будке – спасибо, какие-то проходившие работяги растолкали: пить не умеешь, парень; однако до автобуса проводили. Провал, другой... Его оберегала давняя, с раннего детства, аллергия – выворачивала наизнанку, заставляла извергать экспериментальные «коктейли». В первое время после того как оба начали ширяться, аллергия, казалось, отступилась, однако чем мощнее и прекраснее был кайф, тем мучительнее травил он потом.

Аллергия, как требовательная нянька, продолжала беречь его – не для того ли, чтобы в его жизни случилась Марина, чтобы он мог смотреть, как толстая девочка с густой чёлкой ест клубнику, запретную радость его детства, смотреть и удивляться: моя дочка. Наша дочка.

Сестра спрашивала о Марине; рассказать нелегко. Ника всегда угадывала, когда он врал. И не проколоться бы насчёт Жорки. Как Алика в редакции учил тот усатый, он вечно курил дешёвку, «Памир» или «Шахтёрские», вялый окурок прочно приклеивался к углу рта, пепел сыпался на рукав: не рассусоливай, возьми несколько похожих писем и спрессуй, дай выжимку на пятнадцать-двадцать строк, не больше. Собственных его «выжимок» только и хватало, что на «Шахтёрские».

Жоркина жизнь плохо поддавалась этому приёму. Он едва не вылетел со второго курса мединститута за «систематическую непосещаемость», и мать с огромным трудом добилась академического отпуска: у мальчика

нервный срыв. Вряд ли она знала, что творится с «мальчиком» – вернее, что сын творит с собой, – хотя при ней из его кармана выпал шприц. Не придавала значения – для неё шприц являлся привычным атрибутом медицины, символом вроде змеи над чашей. Кто бы заподозрил наркотики у мальчика из хорошей семьи в застойные семидесятые годы?

Вместо того чтобы торчать на лекциях, он стал давать уроки школьникам по всем предметам. Урок стоил пять рублей, на «травку» хватало; вечерами Жорка крутился в порту, где раздобывал разноцветные колёса причудливой формы – «экстази». За мелкие услуги – подсказать приличный бар или места прогулки нетребовательных девочек – добывал и другое. К тому времени Алика выперли из редакции по странному стечению обстоятельств, а именно: возник откуда-то плечистый парень с коротким «ёжиком», окончивший, на Аликову беду, полиграфический институт, по каковой причине и был зачислен в газету по распределению.

Матери не признался – посыпались бы упрёки, трескотня про красный диплом... Утром пил кофе и уходил – якобы на работу.

Работал в газете, сестрёнка, скажет он с достоинством. И газету назвать, она наверняка помнит. Лишь бы обойти расспросы про Жорку, потому что никому невозможно рассказать о нём.

...О второй больнице – у мальчика что-то с печенью, твердила мать, откуда ей было знать о ломке (только те знали, кто её испытал). Или о Жоркиной ссоре с отцом – она бы не случилась, если бы в один несчастливый день ему не понадобился какой-то словарь. Эндрю был в море, Мара не сняла трубку. Дома нет, подумал он с облегчением, поднялся по лестнице и отпер дверь. Первое, что бросилось в глаза, был огромный голый зад, ритмично вздымавшийся и оседавший над низкой тахтой. После секундного замешательства Жорка бросился вон, и Мара повернула голову.

«Только бы папа не узнал, – повторял Жорка на скамейке, как ребёнок, разбивший дорогую вазу, – только бы не узнал, он через три недели вернётся». У него дрожали руки, дёргалось лицо.

Через три недели Мара встретила мужа и в первый же вечер, захлёбываясь рыданиями, рассказала, как приходил Гоша, но дальше говорить не смогла – мешали слёзы. Всхлипывая, с опущенными глазами, она скормила капитану древний и потому безотказный сюжет об Иосифе и жене Потифара, по невежеству не подозревая о плагиате. Вспыльчивый Эндрю сына выслушивать отказался, да и что тот мог ему рассказать о Маре такого, о чём не предупреждал старпом?

После того эпизода в Жорке что-то потухло. Он по-прежнему давал уроки, мотаясь по городу, и родители двоечников не могли

нарадоваться на «культурного и знающего молодого человека». Во внутреннем кармане плаща всегда сидела бутылка портвейна, с которым он теперь не расставался, зажёвывая кофейными зёрнами, чтобы скрыть запах, и с улыбкой выпивал принесённый хозяйкой кофе. Обида на отца не отпускала. Словно в отместку за то, что тот женился на молодой профуре и поверил ей, а его даже не выслушал, предав их дружбу, Жорка сошёлся с продавщицей из бакалейного магазина. Валюха была старше его на шестнадцать лет, одна растила двух сыновей-школьников и, убедившись, что Жорка не претендует на прописку, уверовала в своё женское счастье. В самом деле, не многие могут похвастаться молодым интеллигентным мужиком, которого не надо кормить да обстирывать и бояться колотушек. Её немного задевало, что любовник редко остаётся ночевать, однако бдительная мысль о прописке отрезвляла. Валюха заботилась, чтобы в доме не переводился портвейн. О том, что Жорка

появлялся уже «задвинутый», она понятия не имела.

С подоконника затрезвонил телефон; как он там очутился? Алик чудом успел ткнуть в нужную кнопку.

– Па-ап! Их самолёт задержался. Туман, что ли. Не знаю... Ты слышишь меня? Буду звонить, чтобы зря не ехать. Ну как зачем, не торчать же в аэропорту целый день! Ладно, всё; давай.

Телефон онемел. Алик держал его открытым, едва веря в сказанное дочкой. Нахлынуло чувство освобождения – могучее, радостное. Не надо будет врать и глупо улыбаться; ещё не завтра. Туман подарил отсрочку.

– Не хочу, – произнёс он вслух. – Я не хочу. Ну, не надо. Пускай туман.

Утренний аэропорт обдал никаким воздухом. Пожилой азиат-уборщик провёз на тележке квадратное ведро со шваброй. За стеклянными стенами стояло сплошное серое небо – то ли начало дня, то ли сумерки.

Слишком рано. *Совершенно замечательно подремала бы*, зазвучал голос свекрови, у той всё выражалось превосходной степенью. Привычка появляться задолго до рейса наверняка брала начало на ночном перроне далёкой станции Барановичи, как и нервный озноб от долгого тоскливого ожидания такси, поезда или самолёта. Муж посмеивался: «Живёшь в новом веке, летаешь «боингом», а ведёшь себя, как на заплёванном вокзале в ожидании теплушки, не хватает чайника с бренчащей крышкой». Он подтрунивал, провожая её, но всегда ждал, пока самолёт вырулит на взлётную полосу.

Рассказать свою жизнь нельзя – человек услышит не твои слова, а что-то близкое себе. Бóльшая часть останется непонятой, как титры в кино на незнакомом языке. Когда Ника сообщила детям, что нашёлся брат, они засыпали её вопросами.

– Он тебе half-brother. Как это по-русски, полубрат?

Слова *единоутробный* оба не знали. Валерка спросил:

– Он тебя тоже искал?

Сам того не подозревая, сын попал в болевую точку: если б искал, нашёл. Ника сохранила девичью фамилию, чтоб избежать возни с документами: предстояло менять диплом, паспорт, что-то ещё... К тому же привычная, как собственная рука, фамилия оставалась единственной ниточкой, связывавшей её с тётёй Полей, с бабушкой (её облик уже размыло временем, оставив в памяти пышные волосы и фигуру, почти слившуюся со

старым креслом) и дедом. Вернее, его портретом на стене и фронтовыми письмами.

Для детей Алик был чужим, и мысль о том, что в Европе живут их дядя и кузина (half-cousin, уточнила Наташка), вызвала недоумение – к ней надо было привыкнуть.

Тётка Поля... Совместная жизнь опасна: накапливается раздражение по мелочам, и свалившаяся со стола ложечка чревата не неожиданной гостьей, а неожиданным выплеском ярости – беспредметной, с горьким послевкусием стыда. Тому способствовало долгое и болезненное расставание с Мишкой. Полина называла его «такой славный увалень» – кто, кроме учительницы литературы, назвал бы так? А слово подходило Мишке как никакое другое. Словно предугадывая Никину вспышку, тётка бросала:

– Встретила сегодня Алика: штаны, как у революционных матросов в семнадцатом году. Как он ездит на велосипеде?

Сравнение смешило, а смех и раздражение несовместимы. Обе знали, что Алик всегда шарахался от спорта, футбол это или коньки, что уж говорить о велосипеде.

К ним он заходил редко, вёл себя скованно; за столом ел с аппетитом, Полина радовалась. На уговоры пойти в вечернюю школу отнекивался, но гордостью рассказывал о редакции. Настроение бывало то подавленное, когда он смотрел в одну точку, то весёлое, приподнятое: часто вскакивал и шагал по комнате. Как-то, проводив его, тётка вдруг остановилась озадаченно, шаря по ящикам и карманам.

– Забыла в учительской кошелёк. Или потеряла. Склероз; пора на пенсию.

Махнула рукой.

– Найдётся. Выйду на пенсию, хоть ноги отдохнут. И сделаю, наконец, операцию.

В описании хирурга процедура выглядела устрашающей: отпиливание больных косточек, долгое восстановление, зато радужные

перспективы: лёгкая походка, нормальные туфли вместо нынешних колодок... Полина не решалась, время шло в привычной колее: мучительное выстаивание на уроках и немудрящее блаженство вечерних ножных ванночек. Ника пылко уговаривала перетерпеть эту чёртову операцию, зажить по-человечески: сможешь гулять, ты посмотри, какая красота за окном! Тётка мечтательно смотрела на рдеющие листья, или набухшие почки, или снежные хлопья; кивала, соглашалась и подливала в тазик горячую воду.

Кошелёк – пустой, если не считать нескольких троллейбусных талонов, – обнаружился во время весенней уборки на шкафу, где никому не пришло бы в голову искать его.

Люди в соседнем загончике один за другим начали вставать. До рейса на Хельсинки оставалось полтора часа.

– Вероничка... Как я буду жить, если ходить не смогу?

«Жить» для Полины означало приходить в класс. Она раньше Ники представила себя, неумело лавирующую по квартире в инвалидном кресле с огромными велосипедными колёсами, под тиканье часов: это второй урок в шестом «Б» («Мцыри», «Беглец»), после этого к восьмиклассникам («все мы вышли из гоголевской “Шинели”»), затем «окно», проверка тетрадей в пустой учительской. Смотреть на часы не нужно, как не нужны станут и сами часы – вся жизнь её станет бездейственной, *вневременной*, и послушно хранимое в памяти расписание неизбежно перейдёт в сослагательное наклонение. Раз она не сможет ходить, то случись что, кто будет ходить за ней (о, бесконечно богатый мой язык!), *полуживого забавлять, ему подушки поправлять...* Отодвинув тазик, она вытирала распаренные

ноги, смазывала косточки очередным бесполезным снадобьем, осторожно натягивала носки, с неизменным: *так вот где таилась гибель моя... мне смертию кость угрожала.* Разговоры о склерозе, как и о пенсии, были бессознательным кокетством: из этого бормотанья множество стихов осели в голове Вероники навсегда, но «Песнь о вещем Олеге» и сейчас трогает особой печалью.

Год от году ноги мучили тётку сильнее, мысль об операции делалась более желанной, но и пугала сильнее, став чем-то вроде мечты, постоянно отодвигаемой: ею можно было тешиться, мысленно примерять недостижимые лодочки, дальние прогулки и сожалеть о собственном малодушии. Ника к тому времени познакомилась с Романом. Он

обладал хорошим чувством юмора и был влюблён в Нику. Поженились без свадьбы – никто из двоих не придавал этому значения.

Все, включая родителей, называли его полным именем. Ни «Рома», ни тем более

«Ромка» не подходили к его серьёзному лицу и спокойной манере поведения. Мать, с которой он был очень близок, говорила про него: самодостаточный. Отец жил с новой семьёй в другом городе, поэтому его мнение в расчёт не бралось. Роман ограничился телеграммой – и тем же способом получил ответное поздравление. Будущая свекровь отнеслась к Нике благосклонно; Полина безоговорочно приняла Романа, как приняла бы любой выбор племянницы. «С матерью не вижусь и не разговариваю, так что не знакомлю», пояснила Ника. Роман улыбнулся: «Поговоришь с моей...». Судя по тому, что Алиса Марковна не задавала вопросов, он поделился скудной информацией, и та не комментировала: чужая семья – потёмки.

Познакомились они необычным способом...

...Лицо парня из троллейбуса казалось знакомым. Оно мелькало перед Вероникой часто, потом ещё чаще и наконец ежедневно. *Парень из троллейбуса* – без имени, биографии,

общих друзей; *пробейте талончик, пожалуйста.* Никогда пристально не пялился, но смотрел узнавательно-приветливо. На какой остановке выходил, она не замечала, свою бы не проехать.

...и продралась к выходу, выскочила, зацепившись за подножку и чудом не грохнувшись на асфальт. Идти почему-то стало неудобно. Чёрт... сломала каблук. Опираясь на носок, она дошла до скамейки и стянула туфлю.

– Чёрт!.. – повторила с досадой.

Вот тут откуда-то взялся рядом он, «парень из троллейбуса».

– Идти далеко? – спросил деловито.

– Два квартала.

Только сочувствующих не хватало. Но куда умчаться на одном каблуке?

– Альма матер, – угадал он. – Как же мне повезло! Я давно хотел с вами познакомиться, а тут такая удача!

Действительно, вот уж удача. Она сняла левую лодочку, приложила к покалеченной.

– Как ни крути, одной мало... – задумчиво протянул парень.

Они засмеялись одновременно и долго не могли остановиться.

– А я-то, – проговорил он сквозь смех, – ломал голову, как познакомиться. Мечтал, чтобы вы забыли зонтик, выронили проездной или кошелёк. А вы сами... выпали.

Продолжение следовало. Утренний троллейбус, вечерние прогулки или кино, лыжные вылазки в лес, а значит, самое малое полгода незаметно миновало со злополучного каблука. Стало известно, что Роман химик, как его мать, недавно защитился и работает в лаборатории того же института.

Раньше время делилось на «Мишка» и «после Мишки». Любая мелочь – обрывок записки с его почерком, автобусный билет с побледневшими буквами «Анапа», ни в чём не виноватая подаренная книга – мучили, начинало саднить в груди.

Предложение застало Веронику врасплох.

«Но почему?..»

«Потому что я тебя давно ищу...»

«Меня?»

«Сначала – такую, как ты. Но нашёл тебя. Ты лучше»

«Чем? Почему?»

«Потому что с тобой мне легко молчать»

«Откуда ты знаешь, какая я?»

«Немножко знаю»

«Немножко – это мало. Давай лучше останемся друзьями?»

«...и проверим свои чувства? Но что мешает нам остаться друзьями после загса?»

Нике нужно было время – много, много времени, чтобы решиться сказать «да»; чтобы сказать «нет», достаточно просто не брать трубку, «пропасть с радаров», он поймёт.

– Вероничка... Ты разве не чувствовала?

Тётка была права: чувствовала, но страх держал крепко: хватит с неё певчих цикад.

– Подумай, золотко. Никто тебя в загс не гонит.

– А как же защита?

Самый беспомощный аргумент.

Диссертация и судьба понятия неравноценные.

Мучила неуверенность – в себе, не в Романе. В то же время Мишка, с его обвиняющим недоумением в глазах всё реже появлялся в мыслях. Наверное, Роман видел по ней, когда это случалось. Как раз осенью на море встала картинка из прожитой любви. «Поедем обратно», – бросила коротко. В поезде молчала; молчал и Роман. Оказалось, можно молчать и не мучиться неловкостью.

В другой раз они вдвоём пили чай на кухне. Ника представила, что вот так же сидел Мишка за столом у обаятельной Лидии Донатовны; настроение упало. Повисло напряжённое молчание. «Я сейчас уйду, потерпи немного», – произнёс Роман.

Он не торопил. Уехал по своим полимерным делам на неделю. Звонками не донимал. Прислал открытку с видом города – какого, забыла. Почему-то немного уязвило, что

обыкновенная открытка, не письмо. Когда вернувшись позвонил, она обрадовалась.

...Роман за годы мало изменился. Черные волосы стали пепельными от седины, худое лицо суховатым, будто время стянуло кожу, походка такая же лёгкая.

Расскажи о своей жизни, сестрёнка! – Рассказать про сломанный каблук, про молчание вдвоём? И с какого места начать, со встречи в парке? Кажется, тогда брат называл мужа Мишкой. Прозвучало странно, не более; подумаешь, оговорился. Про семейную жизнь, про детей, про отъезд? И про жизнь в новой стране, в чужом языке, про неизбежную американизацию детей – она не сумеет про это рассказать. И не понадобится, скорее всего: первая встреча, знакомство с семьёй, *садимся, в ногах правды нет...* Неизбежные объятия, которые Ника терпеть не могла, на щеке чужая помада поцелуев. И радушное застолье, переход с женой на *ты*, все говорят одновременно. Можно будет откинуться на спинку стула,

молчать и улыбаться. Хозяева будут задавать вопросы из любопытства к заокеанской жизни или из вежливости, какая разница? *Всех сфотографируй*, бдительно напутствовали дети. Забыть не получится: рядом с тарелкой у каждого лежит смартфон, как матовая шоколадка.

Объявили рейс на Париж, и самые нетерпеливые подхватили вещи и заторопились к стойке.

...Незадолго до загса Роман спросил: куда бы ты хотела поехать в свадебное путешествие? В Париж, выпалила Ника не колеблясь. Это было вроде игры – поехать можно было в экскурсию по Золотому кольцу или на Кавказ, например. Я когда-то чуть не женился, продолжал он. И рассказал о своей школьной любви: записки, свидания, неизбежная ревность.

– Представь, какой из меня был Отелло. Провожу её – и мчусь домой, хватаю трубку, будто не всё сказал. Мечтали вслух, как

поженимся, но тут вступительные начались, а потом...

Он замолчал.

– А потом?..

– Потом я поступил на химфак, а моя любовь вышла замуж... без объявления войны. Москвич, хороший парень. Она всегда хотела в Москве жить. А с тобой мы когда-нибудь поедem в Париж. Обязательно.

Через двадцать пять лет такая же школьная любовь случится у сына. Генетика?

После замужества Ника часто бывала у тётки. Разговоры, даже когда неизбежно доходило до больных косточек, не раздражали, а наоборот, снимали накопившееся напряжение – не всегда просто было принять сплочённое единство мужа со свекровью, с их привычными, понятными только обоим, паузами, цитатами, намёками на общих знакомых. А тёткина рутина не менялась: тетради, чаепитие, фраза: «Надо бы Алису Марковну пригласить... как-нибудь». Это сказанное вдогонку «как-нибудь» отодвигало

встречу на безопасное расстояние. Ника легко дорисовывала остаток её вечера: книга на ночь выбрана, включён свет, и горячая вода льётся в таз.

«Скорая» привезла Полину в больницу прямо из учительской. Половина тетрадей остались непроверенными. Больную Подгурскую П. Д., 1925 г. р., хирург осмотрел в приёмном отделении и поставил диагноз: неоперабельный рак кишечника, о чём и сообщил Нике: в восемьдесят втором о болезнях откровенно говорили только с родными.

– Тётя никогда не жаловалась...

– Это не значит, что она не болела, – отрезал хирург. – Рак не болит – он убивает.

В палате мест не было. Тётка лежала в коридоре, её тошнило. Ника металась в поисках санитарки. Мимо деловито проходили медсёстры. На стене висел телефон.

Инка примчалась сразу.

– Этому (она назвала фамилию хирурга) никто не возразит: авторитет.

Единственное, чего удалось добиться – Полину перевели в палату. Через неделю место освободилось.

...До рейса всего сорок минут. Ушло нетерпение, торопливость, но сосредоточиться на чтении не удавалось – она завязла в той больнице, которую оставила почти сорок лет назад, и не могла уйти. Боль накатывала с такой силой, что Полина теряла сознание. Ставили капельницу, делали какие-то уколы... Ника не могла поверить в происходившее. Если *рак не болит*, то почему ей так больно?

...Телефон брата не отвечал, автоответчик не включался. Длинные монотонные гудки. Забыл телефон? Дети почти одновременно выстрелили вопросами: *кто тебя встречает? Тебя*

встретят? Рядом устроилась пожилая пара. Женщина вяло листала журнал. Мужчина неловко развалился в кресле, прикрыв глаза.

Встретят, конечно. Сам брат и встретит. А как иначе?

...Серо-зелёные стены, тумбочка, кровать. У тётки мокрый лоб, сжатые губы подрагивают, глаза закрыты. В капельнице перевёрнутая бутылка, что-то спасительное перетекает в вену. На тумбочке два румяных яблока, банка сока. Полина открывает глаза, безуспешно пробует улыбнуться. Протягивает горячую руку, что-то шепчет сухими губами. «Забери... детям», – выдыхает она с перерывами. Яблоки такие спелые, здоровые, что за них неловко; Ника суёт их в сумку. Саднит от бессилия сердце – нечем помочь, но и уйти невозможно: дома будет стоять перед глазами палата во всех подробностях, которые для чего-то застряли в памяти: две белые полосы на сером одеяле,

гамаком провисшая сетка кровати и газета на соседней тумбочке.

На кладбище собрались учителя, разновозрастные ученики, незнакомые знакомые. Сбоку за деревом маячила высокая тощая фигура брата. Наверняка пришла мать, но в плотной толпе провожавших её не было видно. Роман и Инка стояли рядом, свекровь осталась с детьми. Тётка нежно любила обоих, и Валерка с Наткой должны были быть здесь – от детей нельзя скрывать уход любимых и любящих. «Зачем их травмировать в таком возрасте, – свекровь не спрашивала, а утверждала, – жизнь ещё преподнесёт им сюрпризы, и не всегда приятные». Роман деликатно молчал, он всегда был солидарен с матерью. Спорить не было сил. Инка настояла на встрече с патологоанатомом. Не поднимая глаз на Веронику, врач выдал письменное заключение. В графе «причина смерти» значилось: *intestin. obstr.* Стыдливо сокращённая латынь означала кишечную непроходимость. И не было неоперабельного

рака, и вообще никакого, тётку можно было спасти. Вылечили бы, появившись в приёмном отделении другой врач; жизнь и смерть Полины попали в зависимость от случайных обстоятельств. «Врачебная ошибка. Ты не в Чикаго, моя дорогая», – жёстко, без обычной плавности, заметила свекровь.

За врачебные ошибки расплачиваются больные, а платят врачи; не там, а в условном Чикаго, на Западе. Никакие деньги не примирят с утратой, но справедливость и осознание того, что врач вспомнит заповедь Гиппократову «*не навреди*», облегчают боль.

Заманчиво было бы предположить, что именно тогда появилась идея отъезда, но это складно для романа, а жизнь шла по другому сценарию, и неведомый режиссёр продержал их ещё десять лет, несколько не приблизив к Чикаго или к другому заокеанью.

...В самолёте было чисто и душно.
Вентиляцию включают во время полёта.

В неподвижной квартире плед свисал с пустого кресла, в окне остывало сентябрьское солнце. С портрета требовательно смотрел дед, на столе ждала пачка тетрадей. Что с ними делать, отнести в школу?.. На кухне недовольно забурчал холодильник и смолк. Из крана капала вода в переполнившуюся чашку. Лежала открытая пачка с анальгином.

Никуда не хотелось идти. Ника села в кресло и замороженно наблюдала, как по едва видимой нитке, протянувшейся от абажура к углу портрета, продвигается паучок-канатоходец; успел за три дня... Покой, щемящая печаль и тишина. Хотелось говорить о Полине. С кем говорить и о чём?

Если бы нашёлся такой слушатель, чтобы в глазах жил неподдельный интерес, а не вежливость, Ника могла бы рассказать про ту

жизнь. Эвакуация, жизнь в закопчённой избе бок о бок с хозяевами, чужими людьми, для которых они, пришлые, были чужими, незваными и нежеланными. Деревня Глуховка (или Глухово?) – настоящая глушь; у матери больное сердце, не допускавшее никаких нагрузок, а работать приходилось и лопатой и вилами, без деревенской сноровки. Сколько тяжестей перетаскала... Тяготы непривычного быта легли на дочерей, и письма с фронта были праздником. Когда их приносили, люди собирались и читали вслух, иногда по несколько раз. От эвакуированных ожидали того же, и Полина с гордостью прочитала письмо (мать не догадалась остановить, а надо было) – прочитала как есть, без купюр, и собравшиеся бабы молча, с враждебным любопытством услышали про флакон одеколона, так необходимого в окопах, и требование сшить на заказ пальто для сестры этой соплячки. Надо же, приехали незнамо откуда, живут по чужим углам, и – нате вам, одеколон! Одеколон

возмутил едва ли не сильнее, чем пальто. Не скрывали злорадства: ну, поди закажи-то, полюбуемся! Неприязнь и враждебность постепенно рассосались, но как же больно было встречать эти злорадные взгляды. Всех уравнил голод: одеколон если не был забыт, то оставлен до более благоприятного времени. Деревенские видели, как Вера «рвёт пуп», а девчонки, хоть и неумехи, кое-как латают тряпье, и мало у кого поворачивался язык упоминать пальто на заказ. И вши, которых эти пришлые сроду не видели: чесалось под мышками, чесались бока. Мать успокоила: ты растёшь, платье стало тесно. *Тут какие-то червячки*, растерялась Лидия. «Червячки, – передразнила хозяйка, – то ж воши! У меня печку стоплено, *помошса*».

Помощница? Чем девочка-подросток могла помочь сердитой тётке, которая заставила её вывернуть на левую сторону и *выволокли вещи* к сараю, оставив на всю ночь на морозе? Говорит непонятно, ругается... Кто знал, что хозяйка предлагает *помыться*, к тому

же в печке, если к словам привыкли не сразу? Каждый вечер она строго кричала на свою старшую дочку: «А блинок-то, блинок закрыла?» Блины, тускло лоснящиеся от масла, с кружевными краями, которые можно было свернуть рулетиком и макать в сметану или в варенье; отец густо намазывал икрой и сворачивал аккуратным роликом, отрезая кусочки блинной колбаски. Мать их часто пекла дома: Поля с Лидой съели бы блинок и без сметаны, без ничего, только дожждаться бы... Но как можно *закрыть блинок*?!

Оказалось, блинком в этих краях называли печную вьюшку.

Зазвучал тёткин голос – глубокий, спокойный.

– Мы с Лидусей боялись в печку лезть: а ну как сгорим? Ох, и смеялись над нами! Мне-то что, а она обижалась. У мамы другая забота была – мыло давно кончилось, а купить негде. Глафиру – так звали нашу хозяйку, потом уж она Глашей для мамы стала, – спросить стеснялась,

а вши замучили, деваться было некуда... Так и так, говорит мама, вы не могли бы нам одолжить мыла кусочек?.. Та даже не сразу поняла – стоит насупившись; а потом как расхохочется! Дочка тоже смеётся, рот прикрывает. *Како ж тебе мыла надо, вон его полна печка, только грёби, кабы столько хлеба было, как мыла!*

– Да-да, – улыбалась Полина, – так они говорили, это называется ёканьем. Глафира про золу сказала: *грёби да бёри, всем хватит.* Насыпала золу в чугунок, залила водой – хоть мойся, хоть бельё стирай. Жидкое мыло, щёлок: опустишь руку в чугунок, а вода скользкая, как кисель. Я не знали, что за щёлок такой, а ведь «Робинзона» читала, он у себя на острове делал такое мыло...

То, что раздражало раньше, когда тётка пускалась в воспоминания, сейчас оживало, вот как эта строгая Глафира, обучавшая городских невежд деревенским премудростям. Окреп и продолжал звучать Полинин глубокий голос,

повествующий о непривычном житье. Как по дороге в школу мечтали согреться, а в школе мёрзли ещё сильнее, стараясь не смотреть на стены, где на потемневших брёвнах блестели иней. Рукавицы снимали, когда надо было писать. У сестёр Подгурских были кожаные перчатки – городские модницы! Проклятые перчатки, как безжалостно в них промерзали руки, до полного бесчувствия, и приходилось их стаскивать, чтобы согреть дыханием распухшие красные пальцы, – зато на уроках они держали карандаши, не снимая перчаток. Из-за перчаток кто-то называл их буржуйками. Поля плакала от обиды.

Глафира была неразговорчива – не было сил и времени ни у неё, ни у Веры. Муж и братóвья воевали, письма приходили редко. Дочка, ровесница Поли, держалась в стороне, дичилась. Лидия с любопытством глядела, как та по-взрослому хозяйничала в доме: колола мёрзлые суковатые поленья, приносила их в избу и так, с охапкой дров в руках, сбрасывала

валенки у порога, не уронив ни единого полешка. Потом затапливала печь, огромную как дом, и споро шуровала чугунами, редко наполненными чем-то, кроме картошки или запаренного ячменя.

Тётка помнила Глафирины словечки – та часто говорила про Лидию *«эка девка беспрóкая»*. К Поле она была более снисходительна, потому что та помогала дочке с уроками.

– Я корову боялась, а Глафира – *за корову*: как весной пахать начнут, отберут – трактора с начала войны понадобились на фронте, лошади тоже. Правильно боялась: на быках да на коровах пришлось вспахивать... А тут маме похоронка пришла.

Вот тогда жёсткая равнодушная Глафира превратилась в заботливую Глашу. Вера, не дочитав казённую бумагу, сразу всё поняла. Свет померк в глазах – упала где стояла. Громко рыдала Лидия. *Что ж голосить, омморок у ней. Воду-то нёси*, но Полина уже протягивала

ковшик. *В церкву бы, да церква далёко;
помолиться надо за раба Божия.*

...Миновало время ритуала, когда тётка приносила и читала пожелтевшие письма деда. Ника с Аликом выучили письма наизусть, тётка с матерью ещё раньше, но поддерживали установленный обряд.

– А помнишь, как тётя Глаша за мамой ухаживала?

– Нашла что вспоминать, – недовольным голосом отзывалась мать. – Безграмотная деревенщина твоя тётя Глаша... «Бёри вёдро, нёси воду», – передразнивала она.

– Лидуся, диалектология изучает областные говоры.

– Значит, диалектология – адвокат безграмотной речи!

– Напрасно ты так, – увещевала тётка, – филологи специально записывают...

– И филологи – дармоеды. «Церква», «пекчи хлиб»... Зачем изучать ахинею? Мы же с тобой грамотно говорим?

– Мы говорим литературным языком, а диалекты речь устная, это ценность...

– Избавь меня от лекции, будь любезна. Ты же не болтаешься по деревням с братóвьями-филологами, а сидишь в школе. Чушь, ахинея твои диалекты! Вот и мама там нахваталась: кипячёную воду называет «кипяток». Кипяток должен быть кипящим!

Полина с готовностью меняла тему.

– Мама нездорова. Ты бы зашла, Лидуша.

– Как-нибудь загляну. Что с ней?

– Живот... обычное. То болит, то отпустит.

И так происходило всегда: чтение, чуть срывающийся голос Полины, слёзы, диалог и нарастающее раздражение Лидии. Ника не помнила мать плачущей – ни тогда, ни позднее, когда Михайлец ушёл. Но что-то должно было излиться, иначе она сгорела бы изнутри. Может, и плакала в пустой квартире, лёжа в ещё не освободившейся от строгого названия «папин кабинет» комнате.

Интересно, что сёстры по-разному вспоминали прошлое. Полина всегда начинала с эвакуации: она детально помнила события скудной и малопонятной для Ники жизни: промёрзлую школу с самодельными чернилами, курсы трактористов, собираемые колоски – из них, часто втоптаных в землю, вылущивали зёрна и толкли... Тётка говорила о каких-то военных займах – учебники истории молчали. Государство брало у людей в долг деньги в обмен на облигации, объяснила Полина. Там же, в альбоме, нашлись и две облигации, похожие на деньги. Нет, купить на них ничего было нельзя; сейчас тоже нельзя. Понимания не прибавилось: покупать облигации было не обязательно, но покупали, *потому что все хотели приблизить победу над фашистами*. Но если не хватало денег? – *Всё равно должны были покупать*. Инкина бабка подтвердила: попробуй не купи. Сам зубы на полку, а денежки выкладывай. Выходила несуразица: *покупать не обязательно, но покупать должны*.

Ника задала вопрос учительнице после звонка. Поговорим об этом в десятом классе, Подгурская, а сейчас мы проходим Великую Французскую революцию, ответила завуч. Поправила белый воротничок на чёрном атласном халате – стандартная спецовка учительниц – и снизошла: военные займы были сугубо добровольным делом, если тебе так уж интересно.

Мать никогда не рассказывала об эвакуации. Не верилось, что война не оставила у неё никаких впечатлений – запомнила же ярославские словечки! – но никогда не упоминала ни о мытье в печке, ни о трудном быте и деревенской работе. Забыла или не хотела помнить, а хранила совсем другое? «Помнишь моё платье с матросским воротником, – она оживлённо поворачивалась к сестре, – мама удлиняла два раза... Папа сердился: надо новое заказать! А потом его вызвали в военкомат, и всё полетело в тартарары. Конечно, будь он жив...». Сохранилась фотография, там Лидия в знаменитом платье с матросским воротником, а

Полина в тёмном, закрытом, со строгим светлым передником поверх наподобие тех, которые носили сёстры милосердия; пышные волосы стянуты широкой лентой. Всего год до войны; матери тринадцать лет, Поле пятнадцать.

Не верилось, что мать помнила довоенное платье – и забыла, как жили в войну?

Фотографии – как эта, так и множество других, – ох, сколько их было... Бабушка брала альбом, усаживала маленькую Нику на диван и садилась рядом. Обложка распахивала дверь в другой мир, где жили фанерной твёрдости карточки. Бабушка называла имена: *Мартын, Елизавета, Родион, Игнатий, Стефания, Мария, Дмитрий...* Имена принадлежали стоящим и сидящим незнакомым родственникам, чьим-то двоюродным и троюродным тёткам, дядьям, племянникам и запоминались от частого повторения. На женщинах были в блузки с пышными рукавами и длинные юбки, делавшие их стройными; на головах вычурные причёски либо шляпки – лёгкие, как бабочки.

Бабушка переворачивала твёрдую страницу, словно медленно закрывала одну дверь и открывала следующую, с теми же или неотличимо другими дамами и мужчинами в элегантных костюмах, воротники рубашек так же, как у деда, «прибиты» к шее, в нагрудном кармане виден угол платка, в руках изящные ненужные трости; мужчины выглядели беззаботными, но загадочными. С кривоногих кушеток и кресел пялились трогательно кудрявые детишки в кружевных платьицах – испуганные, пучеглазые, серьёзные. Поворот страницы сопровождался перечнем: *Артемий, Мария, Владислав...*

Становясь старше, Ника замечала, как облик людей в альбоме менялся. Военная форма лишила мужчин элегантной беззаботности, перчаток и вычурных тростей. Теперь они фотографировались группами – форма объединяла, стирала различия. пышные рукава дамских блузок опали, шляпки взлетели, чтобы скрыться навсегда, причёски стали

проще: прямой пробор, узел или непривычная стрижка; платья стали короче. Дети подросли: девочки теперь носили платья с оборками или бантами, локоны до плеч, мальчики гимназическую форму. Не менялись, иногда перетасовываясь, только имена: *Родион, Игнатий, Стефания, Мартын, Владислав, Мария...*

Где Родион и Владислав, где женщина с нерусским именем Стефания и другая, с простым – Мария?

– Мария, – ожил тёткин голос, – это же Маня, разве бабушка тебе не рассказывала?

Рассказывала, конечно, да так, словно говорила об очень близком и любимом человеке, но близкие для бабушки были чужими маленькой Нике, впоследствии же имя «Маня» было прочно привязано к няньке Алика и потому вытеснило ту, другую Марию, хотя для бабушки была главной именно она. Мария, Маня заменила Вере родителей, хотя была всего-то на четыре года старше.

...Шла осень, германская война взорвалась в России гражданской. Их отец, скромный комиссионер по торговле мануфактурой, из последней поездки вернулся мрачным, озабоченным – деньги потеряли цену, прежние контракты потеряли силу, заключать новые было не с кем. Он добирался трудно, с долгими пересадками, ибо даже поезда не подчинялись отныне расписанию. Поездка оказалась последней во всех отношениях – отец заразился холерой. Мать не позволяла Вере подходить к нему, сама была постоянно рядом и только чудом могла не заразиться. Чуда не случилось. Их похоронили в одной могиле, на скромной плите выбили фамилию: **СТРЕЛЬЦОВЫ** и даты.

Жизнь не давала возможности долго скорбеть, как ни цинично это звучит. Девятнадцатилетняя Маня после курсов сестёр милосердия работала в больнице, Вера едва не бросила гимназию, но сестра не позволила. *Ты должна стать учительницей*, убеждала она. Начальнице гимназии Маня принесла

свидетельства о смерти родителей и подала прошение на бесплатное обучение для сестры; прошение удовлетворили.

Маниного жалованья хватало на еду. Платья штопали, перелицовывали. В две комнаты пустили жильцов, чтобы вносить плату за квартиру; сервиз и пианино продали.

Семейная фотография была сделана несколько раньше чёрного 1919 года. Отец с матерью, между ними дочери: хрупкая пышноволосая Вера в гимназическом платье с кружевным воротником и Маня – крепкая, со спокойной улыбкой, белые пуговицы взбегают по корсажу до шеи. На лице – весёлая уверенность. Она выглядит намного взрослее сестры, полное имя ей подошло бы больше, но глядя на фотографию, Ника слышит бабушкин голос, с невыразимой нежностью произносящий: *Маня, моя Маня...* Мария – одно из имён длинного списка.

Снимки были вставлены углами в косые прорези. Самые крупные, размером в целую

страницу и такие же плотные, жили сами по себе и временами с глухим стуком выпадали. На задней обложке был глубокий карман – его нужно было придерживать, чтобы фотографии – случайные, беспризорные – не выскользнули; до них обычно дело не доходило. Запомнился портрет деда – не тот, что висел на стене, а другой, где он был снят в военной форме, со значками на воротнике гимнастёрки и звёздочкой на фуражке. Значки были нечёткими, как и звёздочка; бабушка объяснила, что сама фотокарточка была маленькой, и в фотомастерской её увеличили. Вторая карточка – самая большая, пожалуй – состояла из мелких, мельче почтовых марок, фотографий мужчин в военной форме, каждая в аккуратной прямоугольной рамочке. Лица были удивительно чёткими. «Смотри, а вот и дедушка!» – обрадовалась Ника.

Бабушка покачала головой:

– Это Мика.

Женщина в соседнем кресле захлопнула книжку и толкнула спутника. Оба подхватили сумки и пошли туда, где стягивалась очередь на посадку.

– Не хочу!

Странно слышать свой голос в пустой квартире. Сам виноват, идиот: разнежился, повёлся на голос в телефоне. Ника, сестрёнка... Где же ты была, сестрёнка, когда мать болела? Когда умерла? Не нашла меня, не спросила, может, помощь нужна? Даже на похороны не приехала из своих небоскрёбов! А теперь «расскажи, как жил».

И вдруг стало стыдно: ведь он хотел, чтобы приехала! Ника сказала: хочу тебя повидать – интересно же, какими мы стали. И он чуть не разревелся, как маленький, да маленьким себя и почувствовал. Вот приедет старшая сестра...

Как она сказала? Хочешь, я приеду? Давай, я приеду? Нет, иначе: я приеду, хочешь?

И как можно ответить, не хочу?

Он был слишком ошарашен и не успел опомниться. Разве можно было сказать «не

приезжай, не надо»? Перед голосом в телефоне не было стыдно за переполненную мерзостью раковину, за свою майку с засохшими кляксами йогурта или яичницы, за убогую нору, в которой жил. Если называть это жизнью. Так, доживание.

Дурак, болван. Ёлупень, как мать его называла. Приедет... Зачем она приедет, посмотреть ему в глаза, в бывшие глаза? Но ведь хотел, но – ждал, ещё вчера ждал. Именно что вчера. *Yesterday*. Сегодня дошло: так и будет, она появится – живая, настоящая. Благополучная сестра из Америки. Водевиль: «Здравствуйте, я ваша тётя».

Я без тебя жил, сестрёнка. Проживу и дальше; напрасно ты это затеяла.

Мы с тобой наговоримся. Расскажешь, как ты жил.

И что он расскажет?

Рассказывать тоже надо уметь, спасибо усатому репортёру. Репортёр и репортёр: то заметочка о новостройке, то «Вчера наши

дружинники...». Все звали его «шахтёром» – то ли действительно раньше на шахте работал, то ли за дрянные сигареты, которые курил. Было ему лет пятьдесят от силы, но для Алика, в его в девятнадцать, он казался старцем.

Останавливался, кивал на газету, качал головой и зажигал мятую сигаретку: «Такая шелупонь... Откуда их набирают? Я поговорил...». Для Шахтёра «поговорить» означало «расколоть». Он умел задавать вопросы – человек и не подозревал, что его раскалывают, отвечал уверенно, с подробностями и не замечал, что выкладывает именно то, что старательно скрывал. Говорили, что Шахтёр был одним из лучших ленинградских журналистов, и стать героем его материала считалось большой честью. После одного из своих знаменитых интервью он и вылетел из седла: копнул глубже, чем позволялось, а выпускающий глянул по диагонали, подмахнул, за что поплатился должностью; серьёзное вышло дело. Шахтёр уволился, несколько раз переезжал, устроился

внештатником, перебиваясь мелкой хроникой, пока не осел наконец в молодёжной газете. К интервью, понятно, его не допускали. «Ты, главное, слушай, людям это лестно. Сами всё выложат как на духу и не заметят. Слушай и запоминай; а запишешь дома – блокнот отпугивает, человек захлопывается».

Не пришлось Алику ни слушать, ни записывать – роман с газетой внезапно и бесславно кончился. Что имеем, не храним – потерявши, плачем, как сказал герой непродолжительного романа матери (туфли на коврике, басистое пенье). Прав оказался мужик с Волги: жалко стало привычных коридоров, убогого письменного стола, самого себя жалко, но особенно перекуров с Шахтёром – к нему особенно тянуло, хотя слышал неприятные слова: «дремучий ты, парень, как все вы» или «долго тебя мамка у сиськи держала». Вспыхивала обида, но быстро опадала, как шипучая лимонадная пена – несмотря на

«дремучесть», он чувствовал, что старый газетчик прав. Алик

слонялся вблизи редакции, надеясь, вдруг он снова понадобится, но чуда не произошло. Зато мать доскреблась-таки: позвонила в редакцию, как он не просчитал этот момент... И снова он клянчил у матери деньги, пока не устроился в книжный магазин – грузчиком.

Об этом он скажет Нике: мол, никакой работой не брезговал, сестрёнка, деньги были нужны.

...Деньги были нужны позарез, а заведующая не торопилась, оценивающе оглядывала его: пачки тяжёлые, справитесь? Уроните – книги придётся браковать или уценивать, из зарплаты вычтем. Алик внимательно слушал, смотрел в глаза, но видел обтянутые платьем круглые налитые плечи, мощную грудь и бока. Пожал плечами: «Постараюсь не ронять», а потом ляпнул зачем-то: «Бусы у вас красивые». Женщина скептически хмыкнула и отвела его в

просторный подвал. Уже рисовались сгорбленные люди, придавленные тяжёлыми тюками, но встретил его дядька в очках и выцветшем синем халате, и дал ножик – обыкновенный кухонный нож. Дядька научил правильно вскрывать упаковку из обёрточной бумаги, чтобы не повредить книги. Платили на десятку больше, чем в редакции. Разгружать Алику не приходилось. Дешёвый комплимент о бусах он забыл, конечно, и не видел, как женщина, глядя в треснутое зеркало в подсобке, распрямила плечи, поправила бусы и тщательно подкрасила губы, хмыкнув: молокосос, а разбирается.

Молокосос аккуратно вспарывал тяжёлые пачки и носил книги наверх. Скоро ему поручили расставлять их на полках по тематике. Некоторые книги ставить не давали – они оседали глубоко под прилавками, а также в шкафу, неотличимом от стены: нажмёшь рукой, и створка распахивалась. Раскладка товара проходила по утрам, до открытия.

– Не всё же лоботрясничать. Он на дефиците сидит, – хвастала по телефону мать.

Алик освобождённо вздохнул и откинулся на спинку дивана. Как удачно, что туман отодвинул *завтра* в следующий день! Если он обречён на встречу, то хоть отодвинуть её на день. Он опасался бессонной ночи, но спал нормально – сюжет Жоркиной жизни был отредактирован. Как сказал бы Шахтёр, *развесистая клюква в сахарной пудре*. Непременно так и сказал бы, шевеля прилипшим к губе окурком. Он иногда заходил в книжный и направлялся к отделу военной литературы, где подолгу листал скучные книги.

Хорошо бы выпить кофе здесь, за столиком, и спокойно, как бывало раньше, покурить, однако страшно порушить устоявшийся невидимый порядок; однажды чуть не устроил пожар. Он привычно провёл рукой по столешнице. Пальцы задержались на мелких

вмятинах; а не клади сигарету мимо пепельницы. Раковина надёжнее; чашку можно поставить справа, на буфет, а бутылку спрятать.

Несколько затяжек помогли сосредоточиться. Главное, не сбиться в разговоре. Начать неохотно: мол, сама знаешь: Афганистан, ограниченный контингент. И мы в этот самый ограниченный угодили, мой кореш Жорка Радомский и я. Там и припухали... Хорошо бы скормить этот протухший, сорокалетней давности сюжет, пока Лера будет на кухне. Не буду тебя грузить подробностями – война не для женских ушей; да ты наверняка читала – в Перестройку начали рассказывать, писали. Нам втемяшили, что мы выполняем наш интернациональный долг. Обыкновенные ребята – из Новосибирска, Харькова, Таллинна... Мне повезло: контузило через год с небольшим... Нет, это не пойдёт; надо правдоподобнее: через год и полтора месяца.

...контузило через год и полтора месяца. Лежал в госпитале и радовался: наконец-то солнце зашло, там солнце мучительное, глаза как бритвой режет. Сразу после заката – тьма, сплошная чёрная стена; зато глазам отдых. А

солнце-то для меня навсегда зашло...

Комиссовали вчистую.

Вешать лапшу на уши противно, но много легче, когда не видишь лица человека, как было с Зепом. Но твоё-то лицо она увидит – и поймёт, что врёшь; а ты кожей почувствуешь: поняла.

Уйти от опасной темы, вскользь упомянуть Афган, не рассусоливая: *друга потерял.*

Крупнца правды помогает лжи как ничто другое: действительно, потерял друга. Где, при каких обстоятельствах и когда, не имеет значения, потому что смерть перевешивает всё. Правда, растворённая в лжи, превращает её в правду.

Рассказать о Жорке, не ныряя в спасительное враньё, не получится. Как объяснить, что он был и сильным и слабым одновременно? Давно миновало время, когда Жорка был хозяином положения, мог настроить себя, как скрипку, добиться сверхъестественной работоспособности, декламировать стихи, цитировать длинные куски на английском,

шутить... Всё поменялось: он слабел, усталость мешала связной речи, Жорка замирал в недоумении: «Где я?». Пугливо обводил взглядом собственную комнату. *Где я? – Дома,* недоумевал Алик. Нет, он спрашивал о другом и раздражался, что друг не понимает. И деньги, которых вечно не хватало. Сами по себе деньги Жорку не интересовали. Быт налажен: у него есть светлая комната, модные тряпки, вкусная еда. Мать из кожи вон лезла, чтобы накормить, ублажить, удержать рядом; уберечь от неизбежного.

Деньги нужны были для другого. Добывали их по-разному... лучше не ворошить. Алик вспомнил их летние поездки на взморье. Самые урожайные дни – суббота и воскресенье, когда, вволю позагорав и накупавшись, люди расходились и пляж пустел, разве что проедет велосипедист или поздний купальщик, замотанный в полотенце, торопливо переодевается, прыгая на песке.

Те, кто ушёл раньше, забывали в спешке кто детскую панамку, кто солнечные очки, кто плавки. В дюнах валялись пустые бутылки, которые можно было сдать; как-то попался перочинный нож. Алик набрёл на женский нейлоновый халатик. В поисках помогал ветер. Он разглаживал смятый песок, как добросовестная хозяйка застилает постель, разглаживая складки. Становились видны монеты, выпавшие из карманов, они ребром торчали в песке, только подбирай. Бумажные деньги встречались реже. Жорка нагнулся и поднял раздутый бумажник, припорошённый песком. Открыв, обнаружили толстую кипу порнографических снимков – и ни одной купюры. Раскалённый апельсин на глазах закатывался за море...

Как-то зайдя, Алик застал друга за странным занятием: тот чертыхаясь прокалывал дырку в ремне, джинсы не держались на тощих бедрах. Из-за стены доносились невнятные голоса: Жоркина мать о

чём-то спорила с отчимом. Жорка крутил острие ножа, лезвие соскальзывало, на ремне оставались светлые полосы. Голос отчима звучал громко, возмущённо.

– Тогда кто, скажи?

– Никого здесь не было, не пори горячку.

– Но куда-то же они подевались?

Дематериализовались, растворились в воздухе?

– Повторяю: никого. Найдутся. Были только маляры, но ты же не...

– Маляры закончили в четверг, а деньги я принёс в пятницу!

– Сантехник в пятницу проверял батареи.

– Ну какой сантехник интересуется Кантом? Покажи мне такого сантехника!

– Что ты хочешь этим сказать?

– Только то, что сказал. Тю-тю денежки. В четвёртом томе лежали.

Жена что-то ответила, понизив голос, но Алик уже вспомнил. Не день – все дни слиплись, как страницы промокшей книги, и в один из них,

не дозвонившись по телефону, он пришёл к Жорке. Тот открыл, сонный: проходи. Из ванной слышался плеск воды. Друзья курили, ломая голову, где раздобыть денег. Жорка смотрел на часы и сосредоточенно прислушивался к звукам за закрытой дверью. Воду выключили, стало тихо, но вскоре скрипнула дверца, что-то со стуком упало. Жорка снова глянул на часы, зажёг новую сигарету. По коридору протопали торопливые шаги. Распахнулась и стукнула входная дверь, и по лестнице застучали шаги. Стало тихо. «Свалил», – Жорка глубоко затянулся. Рука у него дрожала, пепел упал на пол.

– Я пойду?

– Ты тут при чём... Он свалил, но может вернуться, забывчивый наш.

Жорка говорил об отчине вежливо-иронически: *чуткий наш, рассеянный наш.*

– А теперь можно.

Жорка направился в соседнюю комнату, Алик нерешительно встал в дверях. Его поразил

письменный стол в виде подковы. *Рассеянный наш* был очень аккуратен: бумаги и журналы лежали ровными стопками, из книг выглядывали закладки. Видел бы он отцовского «мастодонта», который Алик почти забыл. Элегантный стол-подкова нипочём не мог бы содержать в себе презервативы.

Жорка, чутко прислушиваясь, одновременно быстро просматривал книги: брал за обложку, наполовину раскрывал и встряхивал. Книги были серьёзные, будто специально подобранные к высоким полкам тёмного дерева, на корешках имена, которые могли быть названиями (или наоборот), русские перемежались с иностранными: Тэн, The PRADO, Фейербах, Vasari, Vasari, Vasari... Многотомник Алика развеселил – почти так же называлась станция на взморье, захотелось отправиться туда прямо сейчас, из редакции всё равно попёрли, денег ни фига нет...

– Есть!!

Из чёрного неприметного тома выпали новенькие десятки, много розовых десятков.

– Это и есть *категорический императив*, – улыбаясь, Жорка выровнял книги и сунул добычу в карман.

Алик не помнил, сколько было тех десятков и надолго ли их хватило – время измерялось не часами, не днями, не поступками, а дозами, подвалами, чердаками, где сидели, лежали, делились шприцами люди разного пола и возраста, приведённые сюда общей целью. Картинки всплывали тусклые, до того похожие одна на другую, что это могла быть одна картинка, как один чердак или подвал. Это называлось *категорический императив*. Алик не понял, что это значит, и втайне был разочарован, что с императором слова не связаны. *Это когда очень надо*, пояснил Жорка. Руки у него больше не дрожали, глаза весело блестели. *Зацепило*, блаженно улыбался прежний – почти прежний – Жорка; на следующий день – или вечером того же дня, или

послезавтра? – ничего не помнил, лежал тряпочкой. Добирались до Жоркиного дома, Алик нажимал звонок и плёлся вниз.

Сам он отрубался реже – балансировал где-то на грани, расплачиваясь за *категорический императив* разрывающей головной болью и горящим от рвоты горлом. Ненавистное утро наступало, не спросив, готовы ли к нему Алик, и надо было стаскивать себя с дивана; то был его собственный *категорический императив*.

Спасибо тётке в бусах: в книжном какая-никакая, но зарплата. К Жорке забежал реже, потому нечаянно подслушанный разговор супругов обрёл смысл намного позже.

Сестре ни к чему знать об этом. Чердачно-подвальную тему, как и Канта с высыпающимися десятками, трогать нельзя.

...За стеной слева включили дрель. Она противно визжала, стенка за диваном начала вибрировать. Или кажется? *Ваш отец очень медленно адаптируется*, говорили Лере врачи.

Портреты родителей висят напротив входной двери, сестра сразу заметит. И с этих безопасных воспоминаний можно начать: вечер встречи считаем открытым.

А помнит ли Ника, как они встретились у киоска с мороженым? Она держала за руку сынишку лет пяти, в джинсовом комбинезончике и панамке. Мальчик вслух считал, сколько человек в очереди. Ника выглядела копией матери, только улыбка была другой. Приглашала в гости, записала в блокноте адрес. И вдруг рассмеялась: *я балда, будто ты Полиного адреса не знаешь! И телефон тот же.* Потом они гуляли по парку, мальчик был поглощён мороженым, как только дети умеют; вспомнились отпечатки зубов на сладком игрушечном Памире. Алик растрогался, заговорил о Марине, о дочке. *Вот и приходите вместе,* повторяла сестра. Действительно, почему бы не прийти? Захлестнула давно забытая нежность. *Это моя сестра.* Что бы ни случилось, у меня есть старшая сестра, хотя в

тот яркий день он ощущал себя не младшим, а равным ей: мы взрослые, мы – родители, и мальчик со стаканчиком мороженого в руке – мой племянник. Малыш лизал медленно, время от времени втягивая сладкую жижу; разбухшая вафля предательски рухнула на сандалики вместе с мягкой блямбой растаявшего мороженого. Ребёнок обескураженно поднял глаза. *Подожди*, крикнул Алик, я сейчас! – и бросился к киоску. Мороженое кончилось; он перебежал в магазин напротив и купил бутылку лимонада. Мальчик восхищённо смотрел, как бутылка, ловко открытая Аликом о край скамейки, выплонула пену.

Ника держала бутылку, сынишка глотал, прикрыв лот наслаждения глаза.

Что бы ни случилось, у меня есть сестра.

К тому времени в его двадцатилетней жизни случилось многое: Марина – женитьба – рождение дочки.

...Лерочке только-только исполнился год, она косолапо топала по комнате и с

готовностью тянулась к нему на руки. Дочка повернула – перевернула – его жизнь: год назад, вернувшись из роддома, Марина протянула ему ребёнка: «Поклянись её жизнью, что ты больше никогда...». Марина знала про него всё – не потому что он исповедовался в каждом шаге, нет: она научилась угадывать его состояние.

...Тёща не знала ничего, да и не могла знать – ненависть к Алику душила её, задавливая все остальные чувства, с первого дня знакомства, когда Марина привела его в дом. Алик приготовился встретить такую же милую женщину, только пожилую – могла ли Маринина мама быть другой? Для храбрости всё же *вмазался, задул*, но самую капельку, для раскованности. Напряг и в самом деле исчез, и теперь Алик был готов говорить, говорить о чём угодно – хоть о философии Гегеля, хоть о выращивании риса или вымирающих видах животных; правильно вмазался, самое то.

При виде будущей тёщи оторопел от её несходства с дочерью. Вспомнилось сравнение:

как гвоздь на панихиду. Плотная кургузая фигура без шеи, глубоко утопленные глаза, короткие, даже на вид жёсткие волосы с проседью. Рот стянут щёпотью, никакая улыбка не просочится. «Мама, – Марина положила руку ему на плечо, – мы с Аликом решили пожениться, сегодня он переезжает к нам, ладно?»

Неужели эта колода – её мать?! Он улыбнулся, протянул руку и галантно шаркнул кедами. Марина прыснула, за ней он сам, всё ещё с протянутой рукой.

– Сначала переедет, а потом женится?

Говорила она скрипучим голосом, обращаясь к дочери, словно Алика не было. Марина смущённо замолчала.

– Что, ему жить негде? Так у меня не постоянный двор.

Чтобы как-то распорядиться протянутой рукой, Алик поправил пачку сигарет в кармане рубашки и вмешался в беседу.

– Вы, главное, не переживайте. Мы с Мариной уже подали заявление. Пока проживём у нас, моя мама будет рада.

...в чём он отнюдь не был уверен. Но тогда, под окрыляющим кайфом, ему казалось: обрадуется, конечно. В отличие от тебя, мымра. Стало весело. Не всё ли равно, где жить, если с Мариной? И не всё ли равно, рада будет его мать или нет, кто её спросит.

Женщина скептически взглянула на него.

– Жених... А как я знаю, вдруг он не женится?

Ничто не могло испортить Алику кайф – он был на подъёме, каждая частичка тела ликовала.

– В залог серьёзности моих намерений я вам оставляю свои парадные носки, – он с готовностью наклонился развязать кеды.

Лица мымры не видел. Услышал только: «Смотри, Мариша, наплачешься». Сняв кеды, он сидел на тёплом полу, вытянув босые ноги – ни «парадных», ни других носков не обнаружилось.

Он ослабел от смеха и долго не мог встать; оба хохотали.

Никому из двоих не могло прийти в голову, что слова обернутся пророчеством.

Он хотел рассказать сестре про Марину, про дочку, но смотрел и смотрел, как серьёзный малыш на скамейке, его племянник, пил лимонад, а Ника придерживала бутылку.

Помнит ли она тот ослепительный день встречи, день мороженого?

В тот день он рассказал бы ей всё, ничего не скрывая, чтобы ложь – умелая, стыдная, ненужная – не стояла между ними теперь, когда оба стали взрослыми. Готов был распахнуться полностью – Ника поймёт, она всегда его понимала. Пускай она знает: он – *чистый*, вот уже год и два месяца не кололся и не закидывался, как обещал жене, вены показал бы – ни единой точки. Косячок – это да, это святое.

Не распахнулся, не рассказал: сестра повела мальчика за дерево, на ходу расстёгивая

комбинезончик. Алик закурил в ожидании. Солнце прищурилось, и тень от скамейки побледнела, почти слилась с песком.

– Алька, нам пора, – торопливо проговорила Ника. – Попрощайся с дядей Аликом, – это уже сынишке, который вцепился в неё руками и спрятал голову.

Сестра улыбнулась.

– Ужасно застенчивый. Звони, придёте в гости. Буду ждать!

...может, и ждала, кто знает? Однако не позвонил – ни на следующий день, ни потом. Собирался, но что-то удерживало: то ли долгий пробел в их отношениях, то ли вечная его нерешительность. И чем дольше откладывал, тем более ненужным стал казаться звонок, так и не воплотившийся.

...Где давний яркий день и радостное чувство: *моя сестра*? Ту счастливую жизнь жил кто-то другой – вон он сидит на скамейке и всё ещё улыбается, провожая взглядом уходящие фигурки, большую и маленькую, а слепой старик в давно не стиранном спортивном костюме наблюдает за ними с дивана – не глазами, а памятью, – или тем, что от неё сохранилось.

– Это Мика, – повторила бабушка.

Мартын, Елизавета, Родион, Игнатий, Стефания, Мария, Дмитрий... Никакого Мики. Так можно называть ребёнка или игрушку. И почему «Мика», если на фотографии дедушка?

Имена звучали непривычно для слуха – в классном журнале преобладали Тани, Володи, Серёжи. Единственная Мария наотрез отказывалась от своего имени и требовала, чтобы её называли Мариной. Позднее в моду войдут экзотические имена: Эдуард, Регина, Злата – для того, чтобы лет через тридцать смениться Иванами, Дарьями... Мода повторяется: прилив – отлив.

Ника забегала к бабушке после школы, сбрасывала ранец. Делать уроки не хотелось. *А подай мне, золотко...* Альбомы стали тяжелыми для её рук. Куда-то подевалась и потому забылась большая фотография с загадочным Микой. Ника путала многие лица. Кто здесь

Артемий? Где Мартын и где Родион? Если бы можно было надписать имена, как на тех бумажных куклах, которые она в детстве вырезала из бумаги! *Владислав, Игнатий, Мария*, медленно перечисляла бабушка, но Ника торопилась увидеть знаменитое платье, о котором рассказывала мама; дальше, дальше! Вот: Лидия стоит рядом с отцом, их головы почти соприкасаются, матросский воротник немного съехал в сторону. Снова мама, на этот раз в расклешённом пальто, на шее светлый шарф. Она же на велосипеде, в клетчатом плаще и сдвинутом набок берете. Лидия с кошкой на руках, а мама не хочет ни кошку ни собаку. Высокая девочка-подросток в полосатом купальнике – тоже мама; мама... мама... Сёстры вдвоём: одинаковые тёмные платья, стянутые ремнями, галстуки со значками, высокие зашнурованные ботинки; на головах пилотки. Мама с Полей – пионерки? Инка не удивилась: а что такого, мы же пионерки.

Второй альбом, в кожаной обложке с полысевшими вытертыми углами и тусклой позолотой обреза, лежал в самом низу. Многие страницы пустовали. Судя по неровным клочкам, некоторые карточки приклеивали для надёжности, а потом выдирали, оставив пустые места. На первой странице красовалась церковь: одинокая, с высоким острым шпилем и строгим крестом. Ни подписи, ни года; церковь и церковь.

– Кирха, – поправила бабушка, – кирха, где Мику крестили.

Незнакомое хриплое слово Ника пропустила, потому что всплыл таинственный Мика, подтвердивший себя на следующей странице светлоглазым малышом, воткнутым в пышное белое платье. Малыша держала на коленях женщина со вздёрнутым носом, тоже светлоглазая и светловолосая. Та же курносая женщина запечатлена на свадебной фотокарточке – длинное белое платье, фата до пола, букет в руке. Рядом и жених – чёрный

костюм с бутоньеркой, гладко выбритое лицо под волосами, разделёнными прямым пробором. Старомодные дядька и тётка интереса не вызывали, зато в карточку с ребёнком всматривалась долго. Такие же пухлые ножки маленький Алик просовывал сквозь прутья детской кроватки. Впоследствии Ника узнаёт этот обнимающий жест у Мадонны на музейных полотнах, открытках, узнаёт оберегающие руки, словно они могут защитить и спасти дитя.

– Кирха, – повторила бабушка, словно откашлялась, – свекровь моя чухонка была.

Вон та остроконечная церковь – кирха; а чухонка кто, неряха? Мама ругала: где ты так *зачухалась*, опять за сараями? Когда играли в прятки, то первым делом за сараями прятались: там узкий проход и почти вплотную проходит забор, однако можно вляпаться в кучу. Когда братишка приходил с чердака, где они торчали с Вовкой, *зачуханным*, она снимала паутину с его

пальтишка, а он дрожал от страха: боялся пауков.

Чухонка оказалась самой настоящей финкой, которая носила марсианское имя Улла, а в альбом попала по уважительной причине, поскольку была матерью деда, Доната Подгурского, и Мики. Вернее, сначала – Мики, Донат родился спустя два года.

– Свекруха моя покойная. Твоя прабабка, – добавила бабушка.

Старомодный дядька рядом со «свекрухой» был не кто иной, как Матвей Подгурский, Никин прадед.

– Финляндия же за границей? И прадедушка чухонец?

То, что для бабушки было кристально ясно, Нике только приоткрывалось, порождая путаницу в голове. Сначала Финляндия никакой за границей не считалась, а потом вдруг стала, вот и пойми. Финны жили в России, как и вся Финляндия, но в учебнике истории про это ничего не говорилось – там изнурённые рабы

строили в Египте пирамиды под палящим солнцем, им было не до Финляндии. Старинная фотография позволяла рассмотреть витиеватую вышивку на платье чухонки, с от воротника донизу.

– ...первым делом утром ставит кофейник на плиту и знай дует кофий весь день, как у них заведено. Мельница своя была... Насыплет зёрна, сядет и давай ручку крутить. Кофейный дух идёт по всей квартире; и не захочешь, а выпьешь чашечку.

– Your breakfast, madam.

Подносик, синий форменный рукав; в чашку льётся горячая струя. Так выглядит улыбка судьбы: финка наливает кофе правнучке своей неизвестной и давно покойной соотечественницы.

Стюардесса с готовностью ответила на улыбку, не зная, что Ника улыбнулась девочке, которая разглядывала старинные

фотокарточки. Девочка задавала бездумные вопросы.

Почему так звали – Мика?

Где они жили, в Финляндии?

Дедушку тоже крестили в кирхе?

Выборг – это где?

Бабуль, а почему нет фотографии с твоей свадьбы?

...Не так скоро, золотко, я за тобой не поспеваю. Мику называли в честь свекровкиного отца, чухонское имя. Дом они купили на Малой Портовой, её в советское время как-то иначе называли... вертится на языке... Неподалёку медицинское училище. Дом знатный; они жили в бельэтаже.

Загадочные слова, выслушанные вполуха, по дороге домой начинали жить отдельной жизнью. Жили в бельэтаже, потому что часто стирали бельё – целый этаж натянутых верёвок, звенящий таз и связка прищепок на шее курносой блондинки. Наверное, двор был

маленький или тёмный. А бабушка, что чухонка зажиточная...

Наступал следующий раз, и накапливались новые вопросы, прежние отступали, забывались, и бабушка перебирала знакомые имена незнакомцев из альбома, нет-нет да и вставляя новые.

Красивая карточка, смотри! Вячеслав прислал из Варшавы, он мануфактурой торговал. Нет, на карточке не Варшава – Париж, там должно быть мелкими буквами напечатано, прочитай, а то я без очков не вижу.

Деда? Нет, его в кирхе не... не крестили. Ты погоди: давай, я тебе гренки поджарю, как ты любишь, а то в школьной столовке вас бог знает чем кормят... За дом просили дорого. Царские деньги дорогие были, не то что нынешние. Ты кушай, я чайку заварю. Я со слов свекровки знаю, это было до того как мы с Донатом поженились. Отец её приехал из Выборга и настоял, чтобы купить. Может, сам и купил? Он лесом торговал, у него своя лесопилка была, хозяйство богатое.

Что карточки нету, так мы с дедом твоим и не венчались, не хотел он в церковь идти.

Расписались в ратуше, это вроде теперешнего загса. Сниматься на карточку я сама не хотела – одета была не по-свадебному, в простое платье да жакетку, к тому же ноги промочила, как сейчас помню.

Вот те на! Чухонка вон в каком роскошном платье – небось они на машине с шарами и куклой приехали, не шлёпали пешком под дождём.

Упоительно пахли гренки, на кухне было тепло. Бабушка смеялась и качала головой.

Ну, ты выдумщица! Машина, шары... В то время карету с лошадьми нанимали, а зимой сани. Свадебный поезд нарядно украшали, чтобы люди видели!

– Какой поезд – ты же говорила, сани?!

И снова бабушка смеётся, а гренки ловко соскальзывают со сковородки на тарелку, как сани с горки.

Ты меня уморишь, золотко... Кушай, кушай...

У бабушки можно было засесть с ногами на диван и читать, отмахиваясь от напоминания об уроках, и разговаривать. Эти разговоры начинались с неповоротливых альбомов, усыпальниц кем-то запечатлённой прежней жизни, и сворачивали на малозначительные, но любопытные подробности, уводя от человека с игрушечным именем Мика, тем более что пропала большая фотография с рядами крохотных лиц под одинаковыми фуражками. Пропала, а потом нашлась: оказывается, выскользнула из альбома и лежала на дне шкафа обратной стороной, притворившись обыкновенной картонкой, – но бабушке нездоровилось, и смеялась она реже.

...вот она; спасибо, золотко. Я вздремну немножко, ты сама посмотри. Хотя ты сколько раз уж видела... Полное имя? Не знаю; Мика и Мика, в честь его финского деда, тот ему наследство отписал. Да какое там наследство, Мика и не дожил... Я не говорила? Принеси-ка мне стакан и таблетки, на столе в кухне лежат. Мика

на войне сгинул. Да, за родину. Как и твой дед. Убили.

...спасибо, золотко; скоро помогут, не сразу. Горькие, конечно; только горькое лекарство на пользу, сладкое никуда не годится.

Вот и Доната моего убили, бумагу прислали из военкомата. А где похоронили, не написано. Письма вот остались. Не надо мне очки, я на память знаю.

Таблетки ли так действовали или сама болезнь, но голос начинал прерываться паузами, затихал и смолкал. Ника подхватывала: «...Мы, красноармейцы, выполняем великую освободительную миссию – очистить все города и веси, временно захваченные врагом. Очищая от озверелых фашистов Украину и Донбасс, мы видим следы их неслыханного зверства. Всюду, где они хозяйничали, оставался кровавый след. Вот тебе дикие звери в облике человека! С каждым городом, селом, населённым пунктом, отнятым у немцев, возвращается жизнь сотням тысячам украинцев, проживавших на родной земле тысячелетиями. Украина, где даже воздух пел гимн радости, временно одета в траур, а

великий украинский народ, народ труда, составляющий единое целое с народом Советского Союза, с помощью своей освободительницы Красной армии, прилагает все усилия, чтобы в самое ближайшее время раз и навсегда уничтожить и изгнать из своей священной земли всю фашистскую нечисть и затем снова зажить счастливой и радостной жизнью в семье народов СССР».

Бабушка незаметно засыпала. Подхватив ранец, Ника на цыпочках шла к двери.

Когда бабушки не стало, её кресло пугало непривычной пустотой. Полина набросила на него старый плед, но плед не скрыл пустоту. Несколько раз кресло переставляли. Наконец его задвинули в угол к окну, чтобы не терзало взгляд.

О, пугающая долговечность –
долговещность – предметов по сравнению с
кратким человеческим веком! Останавливаются
незаведённые часы, годами тикавшие на руке;

пылится мебель, история приобретения которой ещё помнится, но с уходом потомков умирает, ибо новый владелец о ней не ведаёт, да и к чему? Вот осиротевшие книги; стоящими заинтересуется букинист, обведёт притворно равнодушным взглядом корешки, смахнёт лохматую пыль особой метёлочкой и заберёт в свой магазин, а через некоторое время сбросит цену для покупателя, придравшегося к едва заметным карандашным пометам на полях. И ни продавец ни покупатель не знают, что в этих тоненьких карандашных буквах бьётся мысль человека, чьё сердце давно остановилось, как его часы. Другие книги, многожды читанные, потёртые, с отставшими корешками сдадут в утиль или швырнут в раззявленный вонючий мусорный бак. Чашка, любимая тем, кого больше нет – и пить из неё неловко, и выбросить невозможно. Когда душа истерзана болью потери, то хранят и выгоревшую от времени бумагу, как Полина хранила отцовские письма, а потом передала Нике. Любовь не

передалась – нельзя любить фантом: дед оставался двухмерным, будь это портрет на стене или пачка шершавых листков.

Сын и дочка уважительно слушали, когда Ника цитировала наизусть отрывки, но что значило для них, выросших из одной страны и вросших в другую, слово «Сталинград»? Оба неплохо знали историю Второй мировой войны, но Великой Отечественной она для них не была, историю учили по другим учебникам.

Какая судьба ждёт письма потом, когда некому станет хранить их? Перечитывая, сканируя, Вероника старалась не думать, зачем это делает, но мысль оставалась – навязчивая, как случайный знакомый, с которым столкнёшься в автобусе и вынуждена поддерживать ненужный, вялый разговор. И не выскочишь на остановке, торопливо попрощавшись; изволь ответить. И что ответить, что нужно сохранить их как документальное свидетельство? Но ни один историк не заинтересуется письмами без конкретных

сведений о войне: боях, освобождаемых территориях. Информации, увы, мало.

«7/XII – 41 г.

Здравствуй, Вера.

Пишу прямо с передовых позиций, до сих пор не имел возможности. Заняли Ростов и движемся к Таганрогу. По прибытии в Таганрог дам телеграмму.

Жив, здоров, обо мне не беспокойся. Единственное, чего мне не хватает, это известий от вас. Удивляюсь, что от вас нет писем. На мою полевую почту и следует писать. Пиши всё подробно: как дети, как учеба Лидочки, как твоя работа и вообще как жизнь. Получила ли 400 р. которые я перевёл 16/ XI и получаешь ли по аттестату из военкомата деньги».

Названы были Таганрог и Ростов в ещё одном письме. С именами труднее: вскользь говорилось о бойцах – безымянных, за исключением единственного, младшего лейтенанта Чебаненко. Успел ли дед написать

семье Чебаненко, как собирался? И как он это сделал – «был убит, место захоронения не установлено»? Дед уцелел во время бомбёжки, а Чебаненко погиб вместе с именем, остались фамилия и звание. Не может быть, чтобы Донат сообщил семье тем казённым языком, которым писали похоронки. Если бы письма были опубликованы, потомки Чебаненко нашли бы бабушку, Полину... Существуют же сообщества ветеранов, соцсети, наконец; однако участников войны всё меньше, а письма одного из них лежат у Ники невесомым грузом. Может, стоило в своё время прислушаться к словам Алика, какими бы бредовыми они ни казались, выяснить, о каком издании он говорил?..

Письма пережили деда, фотографические склепы – бабушку. Перейдя жить к тётке, Ника укладывала учебники в ящик шкафа, где наткнулась на старые альбомы. От нежелания готовиться к экзамену вытащила их на белый свет – любопытно стало, что же так пленяло в детстве, неужто нелепые старинные моды?

Теперь она разглядывала снимки более пристально, находила надписи на обороте, вспоминала имена. Наткнулась на пионерскую фотографию матери с тёткой, вспомнила разговор с Инкой и только сейчас увидела внизу крохотные цифры «1938».

– Пионеры появились при советской власти, а мы с Лидой были скаутами. – Полина была сбита с толку.

– Но вы в пионерских галстуках?..

– В скаутских. Скауты носили синие галстуки.

На чёрно-белом снимке они выглядели серыми.

В Америке скаутские клубы – часть повседневности. Существует ли у них официальная форма и если да, то какого цвета галстуки они носят, Вероника не знала; слово «пионер» имело совсем иной смысл, нежели

привычный образ красного галстука и вскинутой в салюте руки во время линейки.

...Альбомы были забыты, как за ненужностью забываются многие вещи, пока кто-то не извлечёт их на свет. Вернувшись домой в один из осенних вечеров, Ника застала тётку в бабушкином кресле с толстым альбомом на коленях и долго, палец за пальцем, стаскивала перчатки. Видя человека изо дня в день, его старения не замечаешь, но сейчас, когда свет лампы падал на страницы, а на стене дыбилась тень кресла, сходство тётки с бабушкой поразило.

«Принеси мне, золотко, очки...»

Тётка обходилась без очков.

– Давно хотела посмотреть, а всё руки не доходили. Думала: выйду на пенсию, тогда; но зачем ждать? Этак и перезабуду всех. *Елизавета, Родион, Игнатий, Мартын, Стефания, Мария, Дмитрий...*

– Мика. Ты забыла Мику.

...Ничего и никого Полина не забыла. Её рассказы были похожи на раскрашивание контурной карты, кошмара Никиного школьного детства – распластанный на парте лист с огромной, в трещинах, льдиной с голубыми водами вокруг, и ты безнадёжно теряешься в белом безмолвии бумаги, соскальзывая в анонимное море.

Надо было учиться жить без Мишки, и кто бы подумал, что старые фотографии могут отвлечь. Альбомы со стола не убирали. Вечером пили чай, и Полина продолжала своё повествование. В её рассказах не было скрытой неприязни к «чухонке» – была бабушка-финка, приветливая, ласковая, смешливая. Матвея, деда, вспоминала как человека нелёгкого, требовательного и подчас вздорного.

В Библии стройная система родства: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и далее по нисходящей. Матвей, прадед, рос сиротой. И всё же: кем и откуда были его

родители, прежде чем он осиротел? Альбом молчит, и получается, весь их род пошёл от Матвея Подгурского, а до него – пустота, длинный прочерк, тянущийся разве что к Аврааму, родившему Исаака...

Матвей Подгурский гордился, что на казённый кошт окончил городское уездное училище, где преуспел в математике настолько, что мог бы поступить в гимназию, но вместо этого определился счетоводом на джутовую мануфактуру. Упорство, честолюбие и способности открывали перед ним обширные горизонты бухгалтерии. По счетоводческим делам ему приходилось ездить в Санкт-Петербург, в акционерное общество, коему и принадлежала джутовая мануфактура. Как он познакомился с Уллой, барышней на выданье из семьи Выборгского предпринимателя, дед умалчивал, и его крутой нрав не располагал к расспросам. Улла, финская бабка, оказалась более словоохотливой. Она гостила зимой у родственников в Санкт-Петербурге и в

сопровождении старшего брата и кузена отправилась на каток, где к ним лихо подкатил незнакомый молодой человек и представился Матвеем Подгурским, представителем акционерного общества, что в некотором роде соответствовало действительности. Новый знакомец превосходно катался, ловко поднял уроненную на лёд муфту и вручил с восхищённым комплиментом: «Прелестная белочка». Неуклюжий, к тому же дерзкий комплимент – муфта, пелерина и шапочка барышни были оторочены соболем – Уллу не рассердил, а рассмешил.

– По-моему, бабушка решила, что слова относятся не к муфте, а к ней, из-за светлых волос, – предположила Полина.

Как бы то ни было, знакомство состоялось и продолжилось: Матвей Подгурский нанёс визит Санкт-Петербургским родственникам Уллы, а ещё через недолгое время, будучи в Выборге, представился семье: шаг более дерзкий, чем комплимент на льду. Назвать

семью благополучной было бы оскорблением: отец Уллы был успешным лесопромышленником (в интерпретации бабушки Веры – «владелец лесопилки»). Сын должен был со временем унаследовать предприятие, дочке подыскивали достойную партию, и появление на горизонте православного почти-бухгалтера без роду без племени никто не принял всерьёз, ибо родительским планам оно не могло воспрепятствовать.

Улла решила по-своему, выдернув из букета женихов (изысканного, за исключением единственного, по недоразумению там оказавшегося) – как раз это *недоразумение* по имени Матвей Подгурский; выбрала не иначе как от его непохожести на привычное окружение. Гнев отца никогда не распространялся на любимицу – вспыхнул было и погас, не разгоревшись. Не последнюю роль играло сиротство жениха: коли смог в люди выбиться, будет толк.

...к чему эти подробности, тем более что Ника не обладала тёткиным талантом рассказчика. Что́ из своего повествования Полина помнила сама, что додумала (и насколько верно), не известно. В памяти жил её голос – глубокий, тёплый, увлечённый. И в классе литературные герои, вместо того чтобы смиренно занять нишу «лишних людей», облекались плотью, превращаясь в любящих и жестоких, щедрых и скупых, ограниченных, смешных, хвастливых, но понятных и живых людей. Точно так же оживали старые сепии: застывшие лица меняли выражения, дамы переглядывались и поправляли шляпки, мужчины с облегчением откашливались, меняли позы, улыбались, закуривали, и невеста подносила к лицу букет. *Елизавета, Родион, Игнатий, Мартын, Стефания, Мария, Дмитрий* и другие, давно ушедшие в небытие, обретали голоса, но для этого нужен был дар извлекать из картонок живых людей особыми, свойственными только тётке, словами.

Ника не умела. Для её детей все имена навсегда останутся чужим мартирологом, а файл со снимками и скупыми жизнеописаниями повиснет в компьютере, чтобы кого-нибудь озадачить, например, строчкой: «Итак, мезальянс состоялся. Через год, в 1902, родился Мика, через три года Донат».

Если б он знал, что обречён на тьму, копил бы солнечные дни, запомнил бы каждый блик, каждый солнечный зайчик, прыгавший по стене, чтобы доставать их из памяти, как из кошелька, перебирать по одному, пересыпать из ладони в ладонь, словно согретые монетки; подставлял бы бесконечному свету лицо вместо того чтобы торчать в постылой тени. Правда, каждый обречён на тьму – Жорка давно там; а тебе выпала возможность примерить эту тьму заранее.

Родителей Жорки, включая отчима, сблизила беда. Главной задачей маленького «родительского комитета» стало постоянное наблюдение, навязчивая опека, спастись от которой было нелегко. Жена Эндрю сгинула, как Шамаханская царица.

Жорка ускользал от пристального надзора родных. Он вызывался сбегать за молоком, брал авоську и пропадал. Продавщица, давно

знакомая с семьёй, клялась, что купил два пакета, беременную вперёд себя пропустил, такой вежливый! А молоко свежее, с утра завезли... В другой раз он собирался на концерт с девушкой и советовался с матерью, какие цветы купить; вместе с советом получил пятирублёвку. Появился под утро с кровоточащей губой и стеклянным взглядом; его раздели и уложили в постель, как ребёнка. Такие исчезновения происходили постоянно.

Когда мать с отчимом, издёрганные постоянным бдением, уехали на несколько дней, все заботы легли на капитана. Ранний звонок из милиции сдёрнул Эндрю с кровати. Жорку нашли в огромной куче мусора позади больницы – без сознания, но живого, в крови и грязи. Знал Алик эту яму за больницей – огромную раззявленную в жёлтом песке челюсть, полную медицинских отходов. Тогда, в конце семидесятых, не существовало специальных контейнеров, и в яму сбрасывали всё, отработанное больницей: стеклянные пробирки

от анализов, мерзкие, страшные комья окровавленной ваты, бинтов и тряпок, разбитые шприцы... Санитарка, тащившая в яму таз из операционной, заметила шевеление; позвонили в милицию. Сам ли Жорка туда упал или кто-то столкнул, спросить было не у кого, да и какой смысл? Весь в мелких порезах от стекла, но живой, Господи!.. В другой раз его нашли зимой в отдалённом районе, сплошь производственном, на автобусной остановке, в беспомощности и полураздетого.

Валентина в Жоркиной жизни появилась вовремя: мать была на грани нервного срыва. Битая жизнью, жох-баба Валюха держалась за Жорку и держала его самого на зыбкой грани между жизнью и падением в очередную яму, держала сколько могла.

Да и сам Алик мог очутиться в той гнусной яме или заснуть ночью на остановке, разве нет? Он избегал таблеточных «коктейлей», потому что с «травкой» и бухлом аллергия смирилась.

Однако сильнее аллергии держала Марина, добрый ангел его нелепой жизни.

Сколько раз он репетировал, что было бы, войди сейчас Жорка сюда! Как он сбросил бы небрежно куртку, присел на диван и вытащил пачку сигарет, как щёлкнула бы зажигалка (чёрт, где «ронсон», где?), как он заговорил бы, продолжая собственный монолог, оборванный смертью, продолжал бы как ни в чём не бывало: о Валюхиных сыновьях (он ехидно называл их «Никеша и Владя»), о прерафаэлитах («у тебя классный альбом где-то был»), об отце...

Алик спохватился: не то репетируешь, надо готовиться к встрече с сестрой. Провёл рукой по лицу. Подбородок и щёки – как металлическая щётка. Помыться бы... Раньше помогал Зеп. Не вздумай сам, предупреждала Лера, загремишь так, что костей не соберёшь. Алик и сам опасался. Дочка собирала какие-то справки, возила его к врачу, ещё в какую-то

контору. «Ваш отец медленно адаптируется», – говорили недовольно и приводили примеры успешной адаптации. По словам говорящего невидимки, мир был полон счастливых слепых, ведущих полноценную, насыщенную жизнь. «Чем вы раньше занимались? Работа, хобби, спорт?». *Если я тебе расскажу, ты со стула свалишься и спать не сможешь.* Покурить бы... По старой проклятой привычке зашевелил пальцами; сунул руку в карман. А тот, узнав, что Алик любил читать, уже разливался соловьём и вкручивал Лере про специальную азбуку для слепых, «у нас есть отличная библиотека». Руку из кармана пришлось вытащить, и в неё сунули плотный лист, корявый, будто сплошь покрытый прыщами. Книжки такими не бывают, угрюмо подумал Алик и отказался.

Нужно было привыкнуть к быту, который стал чужим и опасным. От социальной службы прислали помощника – инвалидам полагается. Социальный работник (Алик называл его про себя «помойный мужик») вёл

его в ванную, где добросовестно тёр мочалкой, потом вытирал. Чувство чистоты, запах шампуня, приятная испарина и прикосновение свежего белья доставляло неопишуемое наслаждение, даже курить не хотелось. Увы, скоро «помойный мужик» уехал на хутор, о котором с упоением рассказывал, помогая Алику натянуть чистую майку: *яблоки – с кулак*, убеждал азартно, майка застревала на полпути, прилипала к влажной спине, *а к Рождеству кабанчика заколем...* Его голос делался мечтательным, он был уже на хуторе.

Вместо него прислали бабу. «*Мушшины* в социалку не идут, чего ты стесняешься, ты ж меня не видишь?»

Зато ты меня видишь. Что тут непонятного?..

«Подбери свои *костыши*, – приказала тётка, – пылесосить буду. Ноги подбери, говорю!». Прошлась ураганом по комнате, со стуком тыкаясь в мебель; наконец адская машина смолкла. Посуду мыла с грохотом и

ворчаньем: «Я не нанималась твои окурки выгребать». Прорезался утробный звук стекающей воды – раковина опустела. Шаги приблизились, и уже не ворчащим, а самым обыкновенным голосом она продолжила: «А то смотри, я мóю всех клиентов, мне что *женшшина*, что *мушшина*; может, надумал?».

– Не надо, спасибо. Сын обещал, он и помоеет.

Ложь выскочила легко – и так же легко представилось, как ёрзает в замке ключ, открывается дверь: «Привет, пап!»

А давай, я рожу тебе мальчика?

Заглушить голос Марины могла только водка.

Пару раз он не успевал спрятать бутылку, и как-то казённая тётка застала его – ну, не пьяным, нет, однако ж и не вполне трезвым. А что такого – он у себя дома, по месту прописки, так и доложите своему начальству!..

Доложила-таки.

Больше не гревели тарелки, не выл пылесос. А потом пришла совсем другая женщина: я ваш социальный работник. От социального работника пахло чем-то приятным, хорошим мылом или духами; она говорила негромко, мелодичным голосом и, казалось, улыбалась. Принесла из кухни табуретку, зашуршала бумагами.

– Вы член общества слепых?

– Нет.

– Хотите вступить?

– Зачем?

Единственный раз в жизни он вступил – в пионеры.

– Во-первых, вы сможете работать.

– Кем? Как?..

Улыбчивый голос. Он наслаждался звучанием речи, смысл её слов ускользал.

– ...индивидуальный подход. У нас все слепые и слабовидящие профессионально заняты.

Какие скучные вещи она говорит своим тёплым голосом.

– И на работу ходят?

– Это по желанию, многие работают из дому. Координатор всё вам расскажет, я назначу встречу.

Неожиданное предложение застало его врасплох. А женщина продолжала:

– Вам будет начисляться зарплата. Деньги не помешают, правда?

В его пальцах очутилась невесомая пластмассовая ручка. Прикосновение её руки почти обожгло, когда женщина направила его неумелую кисть к бумаге:

– Вот здесь подпишите.

Подписал размашисто, клювик ручки ткнулся в стол.

Она ушла не сразу, всё продолжала говорить о всяких диковинных вещах. Алик опять узнал про азбуку и специальные книги для «таких, как вы». Алик недоверчиво качал

головой – помнил корявую бумагу. Поверить было трудно. Как читать пальцами, его грубыми, бесчувственными пальцами?

После её ухода долго курил и улыбался. Вдохновлённый встречей с милой невидимкой, на ощупь вымыл чашку и две тарелки, отсрочив потоп.

А вскоре в дверь позвонил координатор и заговорил быстро и деловито:

– Значит, так: одна плотная, другая тонкая. Берёшь по одной из каждой пачки и суёшь в конверт. Откладываешь в сторону; повторяешь. Упакуешь, скажем, десять конвертов – или двадцать, или сто, сколько хочешь, – влажной губкой проводишь по клапану, где клей, и плотно закрываешь. Оплата сдельная: сто конвертов –

...и назвал смешную сумму, скрипуче хохотнув: на курево хватит.

– А набьёшь руку, будешь заколачивать неслабые бабки. Только не лижи конверты – порежешь язык, я серьёзно. Губку в банке оставляю, воду сам нальёшь. М-м? В каком

смысле «что»? Тебе без разницы что. Сегодня евроремонт и реклама стирального порошка, завтра недвижимостъ или женские прокладки. Лови момент, эта работа на дороге не валяется – сейчас вся реклама на интернете. Рассылка делается для лохов, которые компьютер от утюга не отличают. И типографии тоже кушать хотят.

Ушёл, оставив три коробки с конвертами и рекламными вкладышами. Остро пахнуло свежей типографской краской: ни с чем не сравнимый запах, от которого веяло тревожной грустью. Была в Аликовой жизни пора благоденствия, была...

Работая в книжном, он впервые почувствовал магию новых книг. Вскрытая пачка выпускала на свободу едкий и волнующий запах свежего клея, бумаги и типографской краски. Он витал какое-то время, постепенно выветриваясь, но никогда до конца.

Жили в то время с Мариной и Лерочкой на две зарплаты, обе пустяковые. Жена работала в

сберкассе, принимала и выдавала в окошко вклады, больше всего боясь ошибиться.

«Сиденье на дефиците» не спасало: ну, купил книгу, а дальше что, на базар с ней идти? Он обеспечил несколькими вожаделенными книжками подруг матери, но не брать же наценку... Продавцам было проще: у каждого были свои – блатные – покупатели; а грузчику что делать?

И тут объявился Влад – Влад из давно прошедшего времени бестолковой и счастливой юности, когда Жорка собирался учиться в Москве, загорелый капитан угощал бананами, а над Аликом висела переэкзаменовка, нислао его не печалившая. Вновь возникший Влад мало отличался от себя прежнего, разве что вместо раздутого портфеля в руке на его плече болталась сумка на молниях, явно с очередным дефицитом внутри, да прибавилась скудная борода. Был он одет в чёрную кожаную куртку – по тем временам знак не только процветания, но и некоей клановости. Алик видел, как он

шнырял цепкими глазами по полкам, и подошёл первым.

Сговорились быстро. «Товар – деньги, – Влад ковырнул бородку, – тебе пятьдесят процентов». И доходчиво объяснил расчёт. Дефицитная книга – десять номиналов; если продажная цена рубль восемьдесят (он понизил голос, пробормотав: «руп-восемьсьт»), она уходит за восемнадцать. «Делим на два; идёт?»

Ещё бы! На базаре молодая редиска, привозные мандарины, зелень, а в детском саду макароны с бледной сосиской и кисель.

Изменилась их жизнь. «Открываю кошелёк, а там деньги; непривычно», – призналась Марина.

Горбачёв объявил гласность. Утром у газетных киосков толпились очереди. Вместе с гласностью провозгласили трезвость. Этого не поняли. Задолго до двух часов у гастрономов собирались угрюмые люди, в единомышленном и неистовом ожидании заветного часа кляня

генсека, красноречиво потягивающего молоко на телеэкране.

«Норма жизни», держи карман!.. Обе очереди, перед киосками и у гастрономов, объединяла целеустремлённость, а более ничего.

В магазин привозили книги с новыми для Алика именами: Дудинцев, Айтматов, Гроссман... Их рвали из рук, не глядя на содержание; люди напирали, грозя снести прилавок. Исчезла скука на лицах продавщиц, теперь они выглядели исполненными достоинства, словно отмеченные знаком избранности. К самому закрытию появлялись *свои* покупатели – привилегированный контингент; для них извлекались из-под прилавка или из стенного шкафа припрятанные экземпляры. Формула «товар – деньги» украшалась орнаментом из одних и тех же фраз: *очень вам благодарна; в любое время, без очереди; это вам, от чистого сердца; спасибо, заходите...* Товар – деньги.

«Раз он такой богатый, пускай квартиру купит». Тёща никогда не обращалась к нему напрямую. Несмотря на мольбы дочери, она наотрез отказывалась разменивать свою двухкомнатную квартирёнку. Алик с Мариной кочевали: неделю-другую у матери, потом у тёщи. Лидия встречала приветливо, готовила ужин, не позволяя Марине участвовать. «Живу я скромно, чем бог послал, угощайтесь. Ешьте, ешьте, вы такая... хрупкая». Алик был уверен, что пауза не случайна – мать заменила слово на более милосердное. После еды Марина мыла посуду. «Как у вас ловко получается!» – засучив рукава, Лидия становилась к раковине и с кротким, почти святым, лицом аккуратно перемывала тарелки... Тёща смотрела исподлобья, когда пройдя пытки ехидной материнской доброжелательностью, они возвращались. Стискивали зубы: тёща не вступала в открытые конфликты, но непрерывно душила, мешала жить под видом ежедневной

помощи, с жертвенным лицом и не щадя живота своего.

Как перед шкафчиком с ядами: выбираешь, каким отравиться, думал Алик. После рождения дочки кочевать стало трудно. Некоторое время жили в коммуналке – Маринин одноклассник, геолог, уехал «в поле» и великодушно разрешил пожить у него.

Появление лысого Влада принесло деньги. Про покупку квартиры речи пока не шло, нашли съёмную – полуподвальную, хоть и свежотремонтированную. Марина радовалась и снова заговаривала о мальчике: давай, я рожу?.. Алик растерянно улыбался, не в состоянии стряхнуть ощущение много раз виденного и пережитого: сколько подвалов, полуподвалов и чужих чердаков он перевидал, когда они с Жоркой искали место для «вмазки»! Были привычные, обжитые, где встречались знакомые лица, но насиженное место запирали, всех оттуда прогоняли и спасибо, если можно было уйти на своих ногах. У Алика не лежала

душа к этой квартире, но радость жены, но доступная цена, но послать к чёртовой матери тещу... Про второго ребёнка думать не хотел (почему она решила, что непременно будет мальчик?) – намыкались с безденежьем, только-только забрезжил свет. На миг оттаяла теща и даже сострочила «клетчатые» сатиновые занавески.

Он рассказал Жорке про Влада, тот махнул рукой: «Напрасно ты с ним связался, кинет он тебя». Руки у него дрожали, когда вводил шприц в вену на кисти, между пальцами. Потом дрожание исчезало, Жорка блаженно откидывался на спинку кресла. «Валька догадывается, по-моему», – но голос уплывал. Он давно не давал уроки – слабость, тошнота и вот эти трясущиеся руки могли выдать его. Мать и отец ещё подкидывали деньги, мгновенно уплывавшие в чужие руки в обмен на вожделенный пакетик или ампулу. В вынужденном перерыве между дозами пил – Валюха исправно приносила портвейн и

дефицитную водку. Когда спадал хмель, он на трясущихся ногах становился под душ, одевался, и тщательно замазав следы уколов Валькиным тональным кремом, отправлялся к родителям, чередуя визиты.

Давай, я рожу мальчика? Перед возвращением домой Алик старательно жевал кофейные зёрна, чтобы замаскировать перегар.

– Да, пил! Но не ширялся, – с вызовом сказал он, повернувшись к окну. Почти не ширялся, поправил он уже про себя, и «коктейлями» не баловался. Забегал с очередной книжкой к матери не совсем бескорыстно: пока она суежилась над кофе, отсыпал в карман транквилизаторы – понемножку, чтобы не вызвать подозрений. Она радовалась его приходу. Сидели на кухне, как раньше, курили; мать говорила о прочитанном.

– Из него хороший писатель получился, хоть не обошлось без колхоза, – говорила

уверенно. – «Плаха» – новое слово в литературе! От нас *такое* далеко, к счастью...

Что ты знаешь о *таком*. Алик промолчал. В сигаретной пачке лежали свёрнутые косяки, в кармане «колёса».

«Плаха» вызвала огромный ажиотаж. Влад от нетерпения звонил каждый день: есть? Привезли?

Книги были напечатаны торопливо, на желтоватой шершавой бумаге, но люди продолжали расхватывать. И тут потекла батарея, так что целая пачка подмокла. Вскрыв, Алик увидел сероватые глянцевые переплёты: Андрей Платонов, «Одухотворённые люди». Выспреннее название, но это были рассказы о войне, а значит, надо звонить Шахтёру. Страстный интерес усатого журналиста к военной теме подтолкнул Алика:

– Мой дед на войне погиб, остались письма. – Он процитировал наизусть одно, где

про весеннее пальто для матери; даже не верилось, что помнит. И зачем-то добавил: – Патриот, а писал о какой-то ерунде.

Шахтёр насмешливо посоветовал:

– А ты бы научил его, как надо писать.

Дескать, наши войска после длительных кровопролитных боёв оставили город Харьков и отступили на заранее подготовленные позиции. Как Левитан и говорил из каждой тарелки... Да не художник, а диктор Левитан. Что «из какой тарелки»? А впрочем, откуда тебе знать... Так называли репродукторы. Лапоть ты: разве кто-то мог писать о том, что на самом деле творится на войне? Письма проверяла цензура, могучая команда недремлющих дармоедов. А то и до цензуры бы не дошло, политрук на что? Пустил бы твоего деда в расход ни за понюшку табака, и все дела. Что-то помнишь ещё?

Слушал жадно, сосредоточенно; потом кивнул.

– Мечтатель. Романтик. В грязи, в крови, в окопной вони страстно ждал, как вернётся

домой и ему навстречу выбежит твоя мамка – нарядная, радостная, в тех самых туфельках, которые он ей намечтал и мысленно видел их, эти туфли, вдыхал запах кожи, из которой сапожник их стачал. А ты ни хрена не понял...

Безнадёжно испорченного Платонова списали. Книжки, набухшие от воды, пошли волнами, глянцевые обложки вспучились. Алику удалось спасти несколько нетронутых экземпляров. Остальные вынесли во двор, и они исчезли с необъяснимой быстротой.

Как часто он вспоминал, уже на ощупь, те книги времён перестройки! Вспоминал, механически засовывая в конверты начинку (плотный, тонкий), потому что некоторые тонкие напечатаны были на такой же шершавой бумаге, как и те книги, но моментально раскупались, несмотря на хлипкие распадавшиеся страницы.

Ногтем отгибал клапан конверта, другая рука тянулась к стопкам рекламок – одна плотная, одна тонкая; конверт – плотная, тонкая...

Шахтёр унёс подмокшего Платонова и появился снова чуть ли не на следующий день. Они закурили на скамейке напротив.

– Есть идея. – Шахтёр привычно сощурился от дыма. – Письма можно издать: сначала в журнале, с продолжением из номера в номер, а потом отдельным сборником.

Ушлый Шахтёр уже договорился с редактором нового журнала.

– Кореш мой старый. Он знает: я что попало не предложу. Приноси письма.

От такой перспективы захватывало дух. Предстояло заручиться официальным согласием на публикацию от наследников. Алику понравилось весомое слово *наследники*, серьёзное отношение к затёртым бумажкам, но простая мысль отрезвила: письма хранила тётка, которая несколько лет лежала на кладбище; где письма, и кого считать

наследниками? Сдуру сунулся к матери, слишком поздно осознав ошибку.

– Что за вопрос? Я наследница, конечно, мне и решать.

...о чём она с обаятельной улыбкой сообщила Шахтёру, которого привёл Алик. Последовал неизбежный кофе, тоненькие ломтики лимона на блюде, нарядно зашуршала фольга разворачиваемого шоколада. «Может быть, хотите чего-то покрепче?» – «Спасибо, кофе достаточно крепкий». Чувствовалось, что ему хотелось поскорее приступить к делу, но приходилось считаться с болтовнёй хозяйки.

Завидую вам, журналистам, у вас такая интересная работа... Знаете, я тоже могла бы писать – в жизни случаются яркие моменты, память инструмент ненадёжный... Конечно, профессионал – это иначе... Расскажите о своей работе!

Шахтёр подцепил прозрачное колёсико лимона и опустил его в чашку. Вопреки привычке, сигарету держал в пальцах и вовремя

страхивал пепел. Алику хотелось «чего-то покрепче», но мать не повторяла предложения.

– Могу я взглянуть на письма?

Лидия замялась. Письма, видите ли, хранятся – в смысле, хранились – у моей покойной сестры. Не могу смириться с потерей, до сих пор беру трубку, чтобы позвонить – и вспоминаю... Мы были очень преданы отцу... преданы до исступления.

– Сочувствую, – вставил Шахтёр. – А где же письма теперь?

Лидия растерялась. Она приготовилась к долгой уютной беседе (подведённые глаза, старательная укладка), чтобы блистать остроумными репликами, и недоверчиво всматривалась в хладнокровное усатое лицо: неужели ничего, кроме писем, его действительно не интересует?

– Откровенно говоря, затрудняюсь... возможно, сестра передала письма моей дочери, хотя сомнительно...

– Подскажите, пожалуйста, как мне связаться с вашей дочерью?

Лидия закурила. Скорбная морщинка легла на переносицу.

– Я, собственно, предвидела, что дорогие для меня письма могут пропасть, поэтому мы с сыном (кивок в сторону Алика) их выучили наизусть. У вас есть магнитофон?

– Я звукозаписями не занимаюсь. К тому же любую запись можно оспорить – ни вы ни я не сможем доказать, что это не художественный вымысел. Я надеялся, что вы располагаете документальным материалом. Очень жаль. Я хотел бы поговорить с вашей дочерью, вдруг письма у неё?

– Не думаю, – мать покачала головой. – Она наверняка выбросила. Будь они у меня, я помогла бы вам в работе – отец писал в окопе, там ошибки, запятые пропущены ...

– Письма должны быть аутентичными. Материал принято публиковать в оригинальном виде. Таковы правила.

Шахтёр встал. Его сигарка привычно повисла на губе. Он поблагодарил за кофе, попрощался и направился к двери.

Она всё врёт, Ника не выбросила, она никогда бы... Почему он не сказал это вслух, не вышел с ним, ведь уже двинулся было, но оклик матери и дверной щелчок совпали, тот уже спускался по лестнице.

– Тоже мне, журналист. – Зажигалка полыхнула пламенем, мать закурила. – Ни за что не доверю ему папины письма!

Конечно, не доверишь – их у тебя нет.

Конверт – плотная, тонкая... Конверт – плотная, тонкая...

...На телефонный звонок никто не ответил. Едва он положил трубку, телефон затрещал. Громко, панически закричала Валюха: «Не просыпается!.. Всю бутылку вылакал, я вчера

принесла...» Такое бывало: Жорка вошёл в глухой торчок, и чем он закинулся перед Валюхиной бутылкой, можно было только гадать. Мать устраивала его в одну и ту же камерную неприметную больничку, где он подолгу лежал под капельницей, с измученным и чужим грязно-гипсовым лицом, медленно оживая.

Так начался субботний день в том августе – проклятый день в проклятом августе. Капельница Жорке не понадобилась. Алик не мог смотреть на его мать, а ей было безразлично, смотрит кто-то на неё или нет. Валя принесла стакан с водой, так и оставшийся невостребованным. Жоркиного лица не было видно, словно человек отвернулся к стене и уснул, протянув руку к подушке – безвольную неживую руку с одинаковыми тёмными точками, похожими на укусы насекомых.

Только рука запомнилась.

Жизнь, обречённая на успех – жизнь обречённая. Жизнь длиною в двадцать восемь лет.

Конверт – плотная, тонкая... Конверт – плотная, тонкая... Плотная, тонкая. Тонкая рука в тёмных точках. И худая рука матери, собирающая тонкие острые тёмно-жёлтые осколки.

Глоток. И снова: конверт – плотная, тонкая...

Для сестры Жорка не вернулся из Афгана – здесь не туманное многоточие, а жирная точка, скорбная пауза; в самый раз закурить. И не циклиться на провалах во времени, это не что-где-когда: *пойми, сестрёнка, память уже подводит...* Главное (маленький глоток – и хватит), нельзя застревать на одной теме, надо, как в интервью, быстро переключать с вопроса на вопрос, использовать паузы для прыжка к следующему, и важно ли, что перепрыгиваешь

через годы? Спросить, ненавязчиво так: «Я говорил про свой бизнес?»

И рассказать.

От солидного слова «бизнес» приятно кружилась голова. Влад убеждал, что от него требуется только составлять списки самых дефицитных книг, а типография будет оформлена на другого человека. «С твоим нюхом на книги это серьёзные бабки. Всё на кооперативных началах. А что не на твоё имя, так скажи мне спасибо: там одни налоги весь навар съедят, оно тебе надо?»

По словам ушедшего Влада, всё складывалось идеально: помещение снято, оборудование закуплено, люди хотели подработать. «Сбыт я беру на себя, всё законно. Твоё дело добывать товар и налом бабки получать».

Жоркины слова, что Влад *кинет*, Алик помнил, однако придраться вроде было не к

чему. Влад привёл его в типографию – хорошо знакомое место, Алика не раз бывал здесь, работая в газете. Закупленное оборудование ничем не отличалось от прежнего, но в этом он ничего не понимал, а когда Влад показал стопки отпечатанных книг, от знакомого острого запаха закружилась голова, Алик узнал бы его под любым кайфом. «Астрология» – Гумилёв – «Исцели себя сам» – «История Отчизны» – гороскопы с разноцветными кругами на обложках – разные «Воспоминания», чьи-то «Записки», календари. На титульном листе мелкими буквами было напечатано непонятное слово: «Параллакс». Оказалось, название кооператива.

– А гороскопы зачем? – удивился Алик.

– Спрос, – объяснил Влад. – Буфетчица тётя Дуся не кинется читать мемуары, зато два гороскопа купит и спасибо скажет, а мужу детектив принесёт, чтобы меньше водки жрал. Рыночная экономика, что тут непонятного?

Непонятного было много, но Влад каждый месяц отслюнивал по несколько тысяч. От таких сумм перехватывало дыхание, невозможно было отделаться от ощущения, что «Параллакс» вместе с гороскопами печатает деньги. Марина больше не говорила о мальчике, но задавала вопросы, на которые муж не мог ответить. Ведомости, договоры, финансовая отчётность, дебит-кредит... Да не ломай голову, Влад это взял на себя.

– Так не бывает, – уверяла Марина.

Бывает – не бывает, иди знай. У него самого кошки на душе скребли, что-то здесь не вязалось. Он подписывал разграфлённые листы с цифрами, ничего в них не понимая. После водки делалось легче. Пил каждый день.

Два раза в неделю Влад ездил с ним от одной «торговой точки» к другой. «Точки» размещались в подвальчиках и старых киосках, где совсем недавно, при советской власти, продавали газеты, а теперь на откидывающихся прилавках лежали яркие джемпера,

американские сигареты, кожаные кепки, книги, книги... Продавцы «точек» часто менялись. На вопросы Влад хмуро бросал: один слинял, не сдав кассу, другой обсчитался; в подробности не входил, а спрашивать Алик не решался.

Неожиданно умерла тёща, так и не примирившись с существованием Алика в жизни дочери. Лера – в каком она классе была, в шестом? – не отходила от Марины. Сам Алик жил в абстрактной реальности непонятного бизнеса, пьяный наполовину от обрушившегося на них денежного благополучия, наполовину от водки, помогавшей принять это благополучие. Запомнились похороны тёщи, неизвестные тётки – соседки, родственницы? – чей-то шёпот о «богатых поминках» – и жена, неподвижно сидевшая перед пустой тарелкой. Кто-то протянул ему стопку, предупредил: не чокаемся; кто-то выпил с ним, потом ещё.

...глоток. Ещё.

Бывшее бабушкино кресло, ставшее – а теперь бывшее – тёткиным. Остались книги да кофты с юбками, похожие друг на друга. Соседка с благодарностью избавила Нику от вороха одежды. Жуткие ботинки больше не выглядели ни жуткими, ни уродливыми. Выбросить не поднялась рука: поставила обе пары рядом с мусорником. Утром их уже не было. В тумбочке Ника нашла пачку писем без конвертов. Сверху была записка с чётким учительским почерком: «После меня уничтожить». Предстояло уничтожить свидетельство тёткиной личной жизни. Ни развернуть, ни прочитать или хотя бы глянуть бегло Ника не смогла. Только мёртвые сраму не имут. Живые подчиняются и делают как велено. Иначе... *Как тебе нету стыдно, девочка.*

Надо было учиться жить без Полины.

Свекровь одобрила переезд: «Совершенно разумно, Вероника, пока на квартиру не

наложили лапу». Надо отдать ей должное: в их с Романом жизнь она не вклинивалась, но часто хотелось отдельности. Роман обронил: «Теперь Илья Борисович...» – и не договорил. Подразумевалось, что одиночество матери кончится.

Илья Борисович был для Ники фантомом, иногда воплощавшимся голосом в телефонной трубке. Бывший однокурсник и давний поклонник Алисы Марковны, в удобном статусе бездетного вдовца, он присутствовал в её жизни всегда, но ненавязчиво, где-то за кулисами основного действия, время от времени оставляя незначительные вещественные доказательства своего существования: сложенную программку концерта, театральные билеты, вежливое покашливание в телефоне, короткий звонок в дверь и негромкий баритон в прихожей. Увидеть его во плоти Нике не удавалось – когда появлялся таинственный Илья Борисович, она купала детей или бегала в гастроном, и можно было только вообразить, как должен выглядеть

спутник Алисы Марковны – женственной, элегантной, в неуязвимом для моды чёрном платье и на высоких каблуках, подчёркивающих стройные, совсем молодые ноги. Только лицо – тонкогубое, в мелких морщинах, с увядшими веками – разоблачало возраст. Застегнув на шее тонкую золотую цепочку и выпятив губы поцелуйчиком, Алиса Марковна требовала у зеркала подтверждения своей неотразимости. Серые глаза под опавшими веками блестели капельками ртути, вглядывались – и оставались довольны виденным. Её уверенность в себе была непоколебима, как лёгкость походки и гордая осанка; Илья Борисович обязан был соответствовать. Негласно подразумевалось, что один переезд повлечёт за собой второй, и фраза, начатая Романом, получит грамматическое и логическое завершение.

Миновали сорок дней после тёткиной смерти. Листья бесшумно опускались на траву, могилу и кусты. пышные букеты и венки пожухли. Загадочную цифру сорок растолковала

Инкина бабка: на сороковой день душа отлетает. Объяснение запомнилось навсегда: сорок недель ты вынашиваешь ребёнка, живую душу, а сорока дней достаточно, чтобы душа рассталась с телом.

Когда похоронный мусор убрали, на кладбище стало просторнее, строже. На расчищенную могилу насторожённо, как живой, лёг рыжий кленовый лист. Он слетел с дерева, за которым на похоронах стоял Алик. Говорить о Полине хотелось только с ним.

Что-то застучало внизу, под ногами. Ника перехватила несколько встревоженных взглядов. Так уже случалось в полётах, и накатывал страх, от которого избавляла настоящая тряска, при посадке. Тогда можно было перевести дух и расслабиться. Сказывается возраст. Она скользнула глазами по рядам. Профили выстраивались, как на советских плакатах.

Вспомнились старые, тоже советского времени, поезда с тягостной вагонной обязанностью поддерживать общение. Ника никогда не откровенничала с посторонними – не было потребности примыкать к беседующим («а вы, девушка, что думаете?..»). Ника поднимала от книги затуманенные глаза – это могло пресечь бесцеремонные попытки. Чаше протягивали стакан и радушно приглашали: присоединяйтесь, посидите с нами!..

Хватит, что я с вами торчу в этом купе. Вслух отвечала вежливо: «Спасибо, не пью». Можно было придумать головную боль, желание поспать (и то и другое воспринималось недоверчиво, с обидой, а то и попросту враждебно). Переждать бурное гостеприимство можно было в проходе – встать у окна и пялиться в собственное лицо, а за стеклом одно тёмное пятно сменялось другим со скоростью сумасшедшей киноленты. Голова начинала болеть по-настоящему. В купе шло братание, вразнобой говорили, смеялись, и вот один голос

доминировал, а другие внимали, признав лидера. Ритмично стучали колёса, не в такт им постукивали подстаканники под какофонию реплик: *а вот у нас в роте был один чмо... моя всегда говорит, что... тут я смотрю – а он уже...*

Спасибо самолётам – истребителям этого феномена.

Ни в Америке, ни в Европе не встретишь такого попутчика-эксгибициониста, подсаживающегося с бутылкой пива, бутербродами и готовностью распахнуть душу, пиджак или биографию; то, что было неизбежной повинностью пассажира, осталось позади, как и попытки осмыслить природу явления. Проще всего списать на загадочную русскую душу – никем ещё не расколотый орешек, ибо кто поручится, что он не пуст?

Движения не ощущалось – самолёт словно завис в ослепительном небе. Вероника сидела в проходе, сосед милосердно задёрнул шторку иллюминатора. Какая, в сущности, разница, над землёй летим или над морем?

Хельсинки, бывший Гельсингфорс, всегда был привычным мостиком по пути к Городу. Ника сделала когда-то схематичный рисунок, подобие чахлого генеалогического древа, где некий финский Авраам родил финского Исаака и далее по классической схеме, где одна из веточек привела бы к Улле, но не хватало фамилии, девичьей фамилии Уллы, и беспомощное древо засохло без корней. Если б отыскать незримые ниточки, найти кого-то из родных финской прабабки по городу и фамилии, но фамилии-то финского Авраама не было. Сохранились только фотографии, как иллюстрации к мифу. Фотографии со временем становились твёрже, костенели. Не случайно ведь скелеты подолгу сохраняются в напластованиях земли, и кто знает, какому времени принадлежал череп Йорика в руке мятущегося принца?.. Без фамилии получался поиск вслепую, блуждание в неосязаемой и могучей паутине, как этот самолёт.

У Вероники был опыт. Однажды поддалась импульсу, минутному порыву в поисках отца – биологического отца, ветреного Пашки, который ни отцом, ни Пашкой, да и вообще никем ей не был. И не в пустоту уткнулась, ибо поиск оказался на диво лёгким, стрела попала в цель едва ли не с первой попытки. Правда, Мелекесс обрёл другое название, но Павел Кучумов проживал именно там. Гугл услужливо выдал результат, и всё ещё ведóмая лукавой обманчивой лёгкостью, Ника прыгающими пальцами набрала номер.

– Да!

Голос мужчины был громким и раздражённым.

– Добрый день! Могу я поговорить с Павлом Кучумовым?

– Какой день?! Ночь на дворе. Кто это?

Не учла разницу во времени! – здесь бы нажать кнопку. Вместо этого послушно, почти обречённо назвала своё имя, пробормотав:

– Я ваша дочь.

...ложь, ложь: она никогда не была его дочерью.

В телефоне насторожённо молчали.

– Hello?..

– Не знаю ничего, – решительно отрубил мужчина. – Чего вы звóните ночью?!

Толкались разумные мысли: нажми отбой, зачем ты это затеяла, никогда больше не звони. В телефоне билось эхо собственного голоса, блёклого, неуверенного: *мою мать звали Лидией, Лидия Донатовна Подгурская, она жила в Городе...*

Снова последовало молчание – плотное, выжидательное – и вопрос:

– Откуда вы звóните?

– Из Нью-Йорка. Я живу в Америке. Мне ничего не нужно, просто...

Молчание сгустилось, как ночь в бывшем Мелекесе. Ника хотела окликнуть, но голос ожил:

– Какое у вас материальное положение?

Снова задвоились буквы на мониторе, сердце колотилось от растерянности, недоумения, растроганности. Волнуется. Заботится.

– Нет-нет, вы не поняли! У меня хорошая специальность, я... Мне просто...

Человек за океаном то ли хмыкнул, то ли кашлянул.

– Просто, значит. Ну-ну. Просто даже чирей не вскочит.

– Но вы помните мою мать, Лидию?

– Ну, допустим. Помню, такая... родинка у ней на щеке. И что с того?

Теперь замолчала Ника. Мужчина продолжал.

– Я вас не знаю, и вы меня не знаете. Где вы мой телефон взяли? А, плевать. И больше не звоните.

Надо было самой отключиться, кретинка. И вообще не надо было звонить. В пятьдесят пять лет можно бы поумнеть. *Let bygones be*

bygone – былём поросло. Первыми в голову пришли английские слова, словно новый язык надёжнее отсекал и биологического отца, и ненужный разговор; отодвинуть как можно дальше, отбросить к самому краю, где кончается память и разворачивается беспамятство.

Мать оказалась мудрее: слово «конец» на старой фотокарточке полностью соответствовало тому, что некогда произошло. Чужой человек из чужого города, знал ли он о существовании дочери? Наверняка знал, что будет ребёнок, иначе не уехал бы так стремительно, не сбежал бы, бросив неразлучных подруг – невесту и любовницу – и будущего младенца. В сущности, бросил не ребёнка, а всего лишь завязь собственной плоти, которая и человеком-то не считается до определённого момента.

Он ничего не помнит, отчётливо поняла Вероника; ничего. Не было у матери никакой родинки на щеке. Тогда зачем он интересовался материальным положением?

Два раза перепутала цифры, набирая другой номер. Инка только что пришла с ночного дежурства. Закурила – было слышно, как чиркнула спичка, – и слушала не перебивая.

– Конечно, беспокоится, – горький смешок. – О себе печётся.

– В каком смысле?..

– В прямом. Ну поставь себя на его место: дочь объявилась, родная кровь, и не где-нибудь, а в Америке! Звонит – и голос дрожит; а ведь дрожал, признайся? Старик (он старик уже, не забудь) спал спокойно в своём Трамтамтасе, и такой сюрприз. А раз в Америке, то деньги есть; сама же сказала: хорошо устроена, ничего не нужно. Тебе – ничего, а ему? Прикинь: ему сейчас хорошо за семьдесят, а пенсия – гроши... Скажи спасибо, что спать хотел, а то мог вцепиться мёртвой хваткой, и слала бы ты посылку за посылкой, а папенька звонил бы и ныл, что жрать нечего и на лекарства не хватает.

Инка была беспощадна.

– Погоди, чай подогрею, остыл. Не могу после дежурства ничего есть, только кружку травяного чая – и спать.

Издалека требовательно проныла микроволновка.

– Романтик ты, Подгурская... Чёрт, перегрела. Ну, ладно. Козёл он, Павел Кучумов, даже не спросил, жива ли матушка твоя. И не звони ему никогда, слышишь? Обещай! Заспи, забудь. Сразу не получится, знаю. Но постепенно сотрётся. И фотокарточку выкини к чёртовой матери, нечего душу рвать. О, теперь остыл немного; ничего, если я буду хлюпать в трубку? Лучше про детей расскажи.

...В бывший Мелекесс Ника больше не звонила – первый звонок излечил навсегда. Постепенно реакция притупилась, оставив стыд и сожаление о наивном порыве.

Брата годами найти не удавалось, а незнакомый отец отозвался сразу. Ухмылка судьбы, неудачный эксперимент.

...словно вернулось то время, когда Полина была жива и ничто, кроме косточек, её не мучило. Тёткины рассказы разворачивали по старым фотографиям хронику семьи, неизвестную и захватывающую; Ника кое-что записала. Не сами рассказы (для этого нужно было владеть даром повествования), а главное: имена, даты, ключевые события. Давние их вечерние разговоры помогли: медленно, неохотно Мишка отдалялся, мучая только снами, в которых ещё звучал его голос, но не было лица. Вызревала мысль бросить аспирантуру. Мысль о предстоящем одиночестве, которое предполагалось заполнить научной работой, останавливала. Чем можно было заполнить пустоту рядом с собой? Работа – книги – считанные друзья – работа, работа – и однажды увидеть себя стоящей перед классом, а дома проверять контрольные, заводить будильник и ложиться спать, что вовсе

не означало засыпать. А в перспективе – среднеарифметический Михайлец или женатый дядя Витя. Взвоешь. И научная работа представлялась спасательным кругом.

С Аликом в то время виделись нечасто; встречи хорошо помнились. Как тем ветреным октябрём услышала телефонный звонок, уже стоя в дверях, и успела-таки схватить трубку. Встретились и пошли в университетскую столовую – брат был голоден и чем-то расстроен. Ника знала, что расспрашивать об учёбе нельзя: взорвётся, нагрубит. Удивлённый малыш с доверчивыми бархатными глазами и пожилым замызганным Зайцем под мышкой превратился в хиппующего подростка. Из рукавов заношенной джинсовой куртки, давно утратившей свой исконно синий цвет, торчали тонкие руки. Он быстро цеплял вилкой куски гуляша и торопливо жевал, а ломтики хлеба складывал вдвое и макал в коричневое болотце соуса. Выпили кофе, взяли по второй чашке; брат молчал. Его лицо было скрыто длинной

падающей чёлкой, пальцы, теперь свободные от вилки, бездумно водили по краю блюда.

Молчание стало тягостным, и Ника заговорила, но не про свою аспирантскую жизнь, а про курносую финскую прабабку. Рассказала о дерзкой настойчивости прадеда, добившегося её руки, о старом доме на тихой улице, где – как знать? – могли бы жить и они, если б история не сделала крутой вираж.

– А хочешь, прямо сейчас и сходим, я покажу?

Алик угрюмо прихлёбывал кофе. Чтобы не висело напряжённое молчание, Ника продолжала рассказывать; неужели не задаст ни одного вопроса?

...про двух братьев, Мику и Доната, мы ведь о них ничего не знали, хотя Мика нам с тобой двоюродный, что ли, дед?.. Знаешь, они были совсем разные: Мика блондин, а Донат темноволосый. И характеры разные, Полина помнит –

Алик отодвинул пустую чашку – резко, так что она заплясала на блюдце.

– Что ты лепишь?! Финны, друг степей калмык... Тутанхамона там нет? А фотография Снежного человека или неандертальца в вашем альбоме не завалялась? Возишься с никому не нужным старьём – и возись, а мне плевать, слышишь?..

Столовая была почти пуста. Через два столика спиной к ним сидел старик – виден был только седой затылок – и лениво тюкая вилкой в тарелку, перелистывал журнал. На громкий голос Алика из кухни вышла тётка в белом халате и остановилась в дверях. Они одновременно поднялись и пошли к выходу.

...по лестнице наверх, в вестибюль, на мраморном полу которого в разные стороны расходились влажные следы. Через тяжёлую дверь вышли на улицу, под дождь – он падал уверенно, ровными частыми струями, и некуда было спрятаться. Под дождём Аликова куртка быстро темнела. С головой, втянутой в плечи,

брат выглядел растерянным и несчастным. Укрылись под навесом подъезда напротив автобусной остановки, прямо над головой барабанил дождь. Алик смотрел вниз, на выношенные промокшие кеды. Вспомнилась его рыжая цигейковая шубка, и как послушно он приподнимал голову, когда Ника застёгивала верхнюю, самую тугую, пуговицу, торопясь, чтобы он не вспотел в тёплой раздевалке детского сада. Маленькие валенки, похожие на двух косолапых чёрных медвежат, уже были на ногах, оставалось завязать шарф... Алик зябко поднял плечи, переминаясь в мокрых кедах, намокшие волосы слиплись, он хлюпал носом и бормотал какую-то невнятицу про *шестнадцать рублей, кровь из носа завтра, иначе мне кранты*, и за стеной дождя пропала тёплая раздевалка, маленький мальчик в шубке, переминающийся в крохотных валенках, – Алик стоял рядом, ему нужны деньги. Пока она искала кошелёк, он путано говорил про какой-то долг (откуда у него долги, за что, кому?), требуют отдать срочно, а

просить у неё не может, она вся в долгах, а если бы и нет, то фиг даст.

Двенадцать рублей в кошельке, мятая влажная рублёвка в кармане болоньи, мелочь (около рубля) во втором кармане – сдача из столовой... Он безнадёжно повторил:

– Мне кранты.

...Много раз перед глазами всплывала картинка: длинные капли дождя, падающие с навеса, вечерняя мокрая улица, по которой катит полупустой троллейбус, и поиски трёх рублей, отчаянно необходимых Алику. Добыли, конечно, но где, как – забылось, как и сама трёхрублёвка, забылась бы навсегда, если бы не выпала из книги при переезде. Новое жильё – старые полки – знакомые старые книги; Ника вынимала их из коробок и расставляла в привычном порядке. Из раскрывшегося томика Тынянова спланировала зелёная бумажка, и секунда её полёта вернула Нику на ступеньки

чужого подъезда родного города, где она лихорадочно копошилась в папке, в карманах, а рядом маячил долговязый подросток с намокшими, прилипшими к лицу волосами. Непонятно, как оказалась в книге бесхитростная купюра – ладно бы засушенный лист. Она нагнулась и подняла с пола... сухой кленовый листок, неровно сложенный и искусно выдавший себя за трёхрублёвую бумажку – выгоревший, сероватый от времени, точь-в-точь как та затёртая трёшка, которую Алик сунул в карман и в первый раз улыбнулся, прыгая в автобус.

Обида вскипела только в момент его язвительной вспышки. Сама виновата – зачем завела ненужный разговор. Он и слушал вполуха, поглощённый единственной навязчивой мыслью: *шестнадцать рублей, иначе мне кранты*. Какая уж тут генеалогия.

Скоро деньги, получаемые от Влада, перестали казаться астрономическими – республика перешла на собственную валюту, непривычную в обращении. Цены в магазинах пугающе выросли. Бутылка водки стоила... да ладно; много воды (как и водки) утекло. У Влада водились и зелёные бумажки – доллары, «грины», как их называли. Влад с деньгами расставался неохотно, хотя киосков стало больше и книги хорошо раскупались. И кто мог спокойно пройти мимо интригующих заголовков: «За дверью спальни», «Техника половой жизни», «Книга о сокровенном»? Это тебе не презервативы в столе.

– Чего молчишь? Сеня Дух объявился, говорю. Наезжает.

Слово «рэкет» Алику представлялось чем-то посторонним, из нездешней жизни. Между тем о рэкетирах говорили все, кто был связан с собственностью, и речь шла не о сарайчике на

пригородном участке: приватизировали заводы, квартиры, дачи. Приезжали со всех концов мира наследники давно сгинувших людей и предъявляли свои права, вследствие чего недвижимость переходила в их владение. Людей выселяли из обжитых квартир, и те металась в поисках жилья; бывало, возвращались и снимали у новых хозяев бывшую «свою» квартиру. Вместе со словом «недвижимость» в обиход вошло другое – рэкет, означающее внезапное и неизбежное появление крепких немногословных парней с требованием денег в обмен на «крышу» – защиту от *наездов* других банд. Отказ от услуги наказывался.

– Жили ведь без крыши, – пожал плечами Алик.

– А если подожгут? Бумага хорошо горит. Крыша нужна, но Сеня берёт тридцать процентов. Я с цыганами переговорил, они согласны на двадцать пять.

Город был поделен на зоны, каждую кто-то крышевал. Алик слышал, но не вникал: афганцы, цыгане, двадцать пять процентов...

Сеня Душман, или Сеня Дух, объявился в Городе после Афганистана, где отмотал положенные два года и вернулся живым. Его настоящее имя мало кто знал, а кличку приобрёл то ли от незабытого опыта с душманами, то ли потому что был вездесущим, как дух. Он сбил в стаю прошедших, как он сам, Афган, а потому не боявшихся ни бога ни чёрта. Сеня был *авторитетом*, о чём слетевшиеся новые собственники не подозревали: возмущившись безосновательными требованиями, вызывали полицию, перед которой трясли убедительными бумагами. Дух отстёгивал полиции серьёзные, по нищей ментовской шкале, бабки за невмешательство, пока наследники наконец не прозревали – *въезжали в базар*. И как не въехать, если ни с того ни сего рушатся строительные леса, пожарная инспекция находит экзотические

места самовозгорания, а только что отстроенный этаж затоплен нечистотами? Познав на собственной шкуре народную мудрость «скупой платит дважды», крышу принимали уже с благодарностью.

Алик увидел Сеню Духа в баре, куда завёл его Влад. Сама собой при расчёте сложилась традиция выпивки, при всём том что Влад почти не пил. Сидел, вяло болтая соломинкой в коктейле, и хладнокровно наблюдал за Аликом.

– Вот и Дух со своими корешами, – тихо выдавил Влад, – у стенки за столиком.

Алик скосил глаза. Взгляд упёрся в широкий клетчатый пиджак, плотно обтягивавший чью-то спину.

– Этот?

Влад подвигал указательным пальцем: нет.

Официант почтительно переминался у важного стола, закрывая обзор. Влад, уставившись в коктейль, бормотал: «Это Лёнчик, его телохранитель, а тощий справа – Дух;

обычно втроём ходят...». Из-за столика вышел другой официант, без блокнота, и Алик догадался, что никакой он не официант, а сам зловещий Сеня. В баре было темновато, а Дух был одет во всё чёрное: кожаная куртка, битловка, чёрные брюки. Показалось или нет, что где-то он встречал этого блондина с острым длинным лицом, но где?.. Не надо на него пялиться, спохватился Алик, и повернулся к Владу, но того за стойкой не было. Пошёл отлить? Однако рядом с бокалом лежала смятая купюра. Странно: всегда платил Алик. Опять взглянул на блондина: где-то видел... Хватит; авось больше не пересечёмся.

Надежда не сбылась.

Промозглым ноябрьским утром Алик пришёл в типографию в поисках не вовремя куда-то провалившегося Влада: на фоне двухнедельного безденежья трясло от холода и похмелья. Бухло кончилось, а купить не на что. Не просить же у Марины. Где его носит?

В цеху стоял холод, как на улице, пустота и тишина. Стопки книг исчезли. Алик попробовал вспомнить, когда они с Владом приезжали за «товаром», но голова гудела, в животе ныло от сосущей тошноты, унять её можно было только одним способом. Резко хлопнула дверь. Ну, наконец-то! Алик обернулся.

В проёме на тёмном утреннем фоне чернели три фигуры, лиц видно не было. Первая, самая массивная, уверенно протопала вниз по ступенькам, и Алик узнал: Лёнчик из бара, но вместо клетчатого пиджака на нём была кожаная куртка, туго облегавшая торс. Со ступенек легко сбежал Дух и встал, отодвинув Лёнчика; третий остался у входа.

Прямо против Алика стоял Сеня Душман: жёсткое лицо – вытянутое, с торчащими скулами; мысок светлых волос над высоким костистым лбом. Во взгляде – ничего, словно сейчас спросит, сколько времени.

– Нормальный свет есть, кроме этой лампадки? – Дух кивнул на мерцающую флюоресцентную трубку.

– Не знаю.

– Где Влад?

Голос низкий, спокойный. Где он мог его слышать?

– Я сам его ищу.

– Давно?

– Недели две... нет, уже больше; точно не помню.

Принять бы... Чего им надо?

– Мы с ним стрелку забили, он не приехал. Ты в деле. Гони бабло.

Сеня говорил уверенно, как человек, не привыкший к возражениям. Алик напрягся: где ж я его видел? Он шагнул вперёд, и Лёнчик угрожающе бросил:

– Н-но!..

Дух медленно стряхнул что-то с кожаного рукава, и тут Алика осенило.

– Слушай, ты на гитаре в Старом парке играл, где пипл собирался; фенечку на руке носил... Да?

Пауза.

– Допустим. И что?

Всё тот же насторожённый голос, однако в глазах что-то поменялось.

– А ничего! Ты клёво бацал. Я завидовал: тоже пробовал, но так не получалось.

Лёнчик искоса взглянул на шефа.

– Не помню. Ты с кем тусовался?

Боль лупила в виски, темя. Замелькали картинки, будто слайды показывали: худая кисть, устало падающая на струны, жёлтые листья, слетающие с деревьев Старого парка, девушки с длинными волосами, медленно и плавно, как под водой, придвигавшиеся ближе к гитаристу, чья-то рука протягивала косяк.

Алик полез в карман за сигаретами.

– Н-но!.. – дёрнулся бдительный Лёнчик.

Дух бросил ему: «Разберусь», – и повернулся к Алику.

– Руки чего трясутся, с бодуна?
Будто сам не видел.

...Он опустил руку за диван и вытащив бутылку, глотнул жадно, будто стоял в то ноябрьское утро в цеху, когда колотило от похмелья, холода и страха.

– Принеси, – бросил в сторону двери Дух.
Волна промозглого холода, стук, словно тяжёлая дверь ударила прямо по голове, и плотный коротышка, не глядя на Алика, протянул хозяину бутылку.

Дух смотрел, как Алик нетерпеливо сорвал крышечку и запрокинул голову, жадно глотнув; ещё... всё, пока больше нельзя; с сожалением оторвался и перевёл дыхание. Привычно

подкатила тошнота. Только не сейчас, о господи, только не сейчас. И чтобы не забрали бутылку.

– Вдень ещё, – голос прозвучал почти сочувственно.

Лёнчик стоял, чуть расставив ноги, руки были сцеплены впереди. Тот, сзади, возился около электрического щитка. Алик снова припал к горлышку. Вдруг ярко вспыхнули лампы на потолке.

Водка согрела, притупила страх, оставив равнодушные, вялые мысли: дурак, не слушал Жорку – сволочь Влад – у Лёнчика фирменные штаны с лампасами, кроссовки клёвые – здесь убивать будут или... – Влад меня подставил – и водки дали, потому что замочат – вот почему он из бара слинял, гад – я ни о ком не успеваю подумать, а надо про главное – мордоворот с генеральскими лампасами – вот как выглядит их разборка – или он с тренировки приехал – увезут в машине – будут сигаретами жечь, а в лесу шлёпнут, там безопасней – я ни о ком не успеваю подумать –

Тошнотный клубок подкатывал к горлу, Алик судорожно сглатывал, чтобы не извергнуть выпитое перед ними, которые пришли его убить. Лучше умереть от выстрела – просто умереть, а не валяться в собственной рвоте. Закурить... Он потянулся в карман за сигаретами, но Лёнчик угрожающе рявкнул: «Руки!..». На цементный пол упала бутылка, с оглушительным звоном разлетевшись во все стороны, – пустая, к счастью, – пусть бы Лёнчик наступил на стекло своими «адидасами», хотя плевать я на него хотел.

– Я что, покурить не могу?

– Кури, – кивнул Дух и бросил Лёнчику: «Подожди в машине».

Руки почти не дрожали.

Он отправил этого гада заводить тачку, а ему дали выкурить последнюю сигарету. Моя последняя в жизни сигарета. Потом увезут.

Дух вспрыгнул на толстый бумажный рулон и уселся, свесив длинные ноги.

– Вспомнил: ты шился с Дипломатом. Он где сейчас?

Услышав ответ, кивнул.

– Он торчал, я знаю.

Помолчали.

Дух закурил и продолжал.

– Смотри. Мы договорились с Владом: я вас крышую, он отслюнивает бабки. Вдруг звонит Лёнчику: я, говорит, арендатор, а бизнес его. Твой, то есть. Усёк?

Алик смотрел, как догорает его последняя сигарета. Слова дошли не сразу.

– Погоди... Нас цыгане крышуют.

– Кто тебе сказал, Влад? – усмехнулся Дух.
– Он тебе слепил горбатого, натянул. Это моя точка, цыгане здесь не могут никого крышевать, они по жизни ребята с понятиями.

...Кому такое рассказать – сестре, про которую почти забыл? Да скажи честно, никто

не слышит: забыл. Не узнал бы на улице, даже когда видел, а теперь... Теперь ты один в своей темноте – как в детстве, когда на тебя напяливали толстый свитер, а голова не пролезала в горловину, и накатывал страх остаться навсегда в удушливой тьме. Ты наедине с одним-единственным человеком – самим собой, – и сам себе ты давно надоел, но некуда деться. Дочке ты тоже надоел, хоть она никогда в этом не признается. Кто ты такой? – обуза, нищий, вечно полупьяный слепой отец. Отец – сильно сказано. Папашка.

Пальцы обхватили прохладное стекло. Два глотка подряд – это роскошь, но какое блаженство задержать во рту, лаская нёбо, огненную жидкость, и не проглотить сразу! Гурман, однако...

«Вить, ви-ить! Виить!» – Какая-то птица. Дурак дураком: птиц не различаешь.

И наверху никак не уймутся. Нет, они не холодильник тащили: что-то стучало, передвигалось и грохало в комнате, прямо над

его головой. Хорошо бы завести собаку, как предлагала та женщина, социальный работник. Собака зашлась бы лаем и заглушила чужие звуки. Ходил бы с собакой в парк, там сейчас благодать – прощальное августовское тепло, щедрость уходящего лета. При собаке Зеп не спонерил бы зажигалку. Не завёл по лени, чтобы не выгуливать по утрам; а жаль. И поговорить можно, не то что птица.

...После медкомиссии врач направил Алика к психотерапевту. Что я, псих, возмутился он, однако Лера настаивала: доктор сказал. И та милая женщина, социальный работник, мягко посоветовала: «Попробуйте: можно поговорить, если есть друзья, семья, а вы ведь один. Это вместо друга». Алик надеялся, что у психотерапевта окажется такой же голос, улыбчивый и тёплый.

Голос у бабы был низкий, прокуренный, она говорила быстро и напористо. *Какие травмы вы пережили в раннем возрасте?* Вспомнился ножичек, засаженный в ногу, но при чём тут?..

Она напирала дальше: *кто вас в детстве обижал?* Алик недоумённо пожал плечами: никто. *Так не бывает, у вас обида глубоко в подсознании. Вы должны извлечь её. Попробуйте вспомнить.* Он вспомнил дядьку в галифе, выплюнутое слово «культурные», но не фиг ей знать о таком. *Какая у вас была любимая игрушка?* Ищи дурака про Зайца рассказывать. Паскудная работка сдирать кожу с человека, что и говорить. Алик вытащил сигарету, но курить ему не разрешили. Настырная баба вытащила из него признание, что в школе скучал, однако наотрез отпёрся от суицидальных настроений.

По-настоящему его затрясло только дома, когда остался один. Эта гадина начала с Зайца. Хорошо, что он скормил ей самолёт, валявшийся под кроватью. С самолётом не поспишь, обливаясь слезами в страхе за мать.

Первая сессия обернулась единственной. Избави меня бог от каких друзей, с которыми и врагов не надо.

Лучше бы пса завёл.

Он в детстве привязался к Дите, собаке Инки и Владика. Не сразу – вначале пугался, когда та клала ему на плечи тяжёлые лапы; это бы ничего, но Дита норовила лизнуть его, часто дыша в лицо противным теплом. «Фу!..» – кричал Владик, и собака неохотно опускала лапы. Алик выжидал момент и незаметно стирал собачью слюну.

Постепенно страх и брезгливость исчезли. Близился день рождения, он умолял мать подарить ему собаку, представляя, как они с Владиком идут рядом, у каждого в руке поводок, и он кричит укоризненное «фу!», когда собака – его собака – бежит к прохожему, тот ведь не знает, что она добрая. Поводок натягивается, держать его надо изо всех сил, и твои ноги бегут вперёд, а туловище словно догоняет, он замечал это у многих собачников. Из суеверия – вдруг не купит? – Алик нарочно не придумывал, как он назовёт собаку, но кличку придумывать и не пришлось. «Мне только собаки не хватало», сказала мама, хотя ей-то что, это Алику не

хватало собаки. Наступил день рождения, стрелочка быстрыми толчками двигалась по кругу; сердце колотилось в ожидании, что вот откроется дверь – и войдёт мама, ведя на поводке безымянного пока щенка. Напрасно: подарили лото, деревянные бочонки в дурацких фланелевых мешках. «Научись играть – и тебе понравится, товарища своего научишь», – уверяла мама. «Товарищем» она называла любого мальчика рядом с ним, не отличая Владика от Вовки ни по лицам ни по именам. Алику не пришлось придумывать собаке кличку, вести её на поводке, и всё из-за дяди Вити: он выдумал, что собаку при аллергии нельзя. Важно так изрёк, а на шее висело папино полотенце. Алик от ненависти и бессилия чуть не задохнулся.

В лото он ни разу не играл, унёс на чердак и бросил в угол.

...Зашипела сигарета. Кран, что ли, капает?
Ещё не хватало.

Баба-психотерапевт его спрашивала: Вы думаете, что виновата мать? Если б у вас была собака, ваша жизнь сложилась бы иначе? Ну и дурища. Винить старуху?

Правда, мать долго была молодой: ни морщин, ни седины, изящные кисти – она как бы нечаянно клала руки на стол, вертела на запястье часики... Лодочки даже дома; хорошо помнился лёгкий стук её шагов. Тёща проигрывала ей лет на двадцать.

Его бизнесом мать гордилась, про Влада не знала. Когда Алик приходил, чашка кофе и выкуренная сигарета были спасением – говорить стало не о чем. Мать ставила керамическую пепельницу-башмак, включала кофемолку: «Не рассказывай, пока я жужжу», как будто предстояла значительная беседа. Смоллов зёрна, продолжала в упавшей тишине: «...Муза, конечно, кто мне ещё позвонит. И сразу про тебя, как она тебя любит. – Она встряхивала

кофемолку, доставала чашки. – Думаю, как же тебе его не любить, сколько импортных колготок тебе достал... – Она бдительно ждала, когда поднимется пенка, но продолжала: – Кем-кем, говорит, а новым русским Алика я не представляю. Как будто меня интересует её мнение». Запах кофе, струйка дыма.

Потом время спохватилось и вспомнило об её затянувшейся молодости. Пропали старые подруги, но появились новые, все как одна солидней и старше. Каблуки разделили участь прежних подруг, и мать вдруг стала ниже ростом. Она всегда накручивала волосы на бигуди, крупные завитки касались шеи; новая короткая стрижка выглядела не кокетливой, а жалкой. Голова стала меньше и походила на кочерыжку. В довершение всего волосы стали красно-коричневыми и стояли дыбом. «Не коричневые, а каштановые, – мать была уязвлена. – Хна укрепляет корни. Ты бы жене посоветовал», – не удержалась она от колкости.

Перемены бросались в глаза. Всегда стройная, теперь она держалась по-балетному прямо, напряжённо и неестественно. Каштановые волосы превратились в пронзительно чёрные, надо лбом взвилась жёлтая прядь, а на затылке с поредевшими, неровно покрашенными волосами просвечивала розовая кожа. Как беспомощно выглядел этот её затылок.

...Зачем это сейчас, кто помнит её отчаянные эксперименты с красками «для укрепления корней», как она твердила, в то время как волосы неумолимо редели, а руки... Мать регулярно делала маникюр и клала руки, безукоризненные свои руки, на стол, не замечая, как усохли нежные кисти, кожа сморщилась, а костяшки выпирали, грозя прорвать её.

На фиг! Он с такой силой стряхнул пепел, что выпал весь остаток табака, в пальцах остался фильтр – как тогда, в пустом типографском цехе; пачка опустела, сигарета

была в буквальном смысле последней. Сеня протянул ему пачку.

– Влад у пацанов давно засветился. Думаешь, он одного тебя кинул? Ваша лавочка накрылась, и он это знает. А тебя развёл, как лоха.

Спрыгнул с рулона, затоптал окурки.

– Всё, давай. Разбежались.

Он открыл дверь и вышел. Ни страшный Лёнчик, ни тот третий не появились. Алик чувствовал, как дрожат колени. Зафырчала и отъехала машина. Слепящие лампы заливали светом умершую типографию, среди кусков стекла валялись окурки.

Итак, первый сын, с игрушечным именем Мика, появился на свет в Выборге в 1903 году и крещён был в изображённой на фотографии кирхе. Улла часто проводывала родителей, которые души не чаяли в малыше: первый внук, первый шаг, первое слово. Матвей в детскую заглядывал мимоходом: мужское дело быть кормильцем, а не с младенцем цацкаться. Кормилец из него получился так себе: джутовая мануфактура платила мало; к счастью, жизнь была дешёвой, а верхние этажи дома Улла сдавала внаём.

Матвей бывал в Выборге, но чинного гостевания в доме тестя избегал, отговариваясь делами. Навестив акционерное общество, остальное время проводил с новыми знакомцами, которые были связаны с другим, весьма далёким от акционерного общества делом. Интерес Матвея Подгурского к РСДРП носил платонический характер: он не вступил в

партию, хотя её членом мог стать любой, кто принимал её программу и оказывал материальную поддержку. Программа, насколько он сумел в ней разобраться, Матвею была близка, но финансы не вкладывал, да и положение зятя богатого предпринимателя слабо совмещалось бы с членством в РСДРП. Он был романтиком, ибо партия не брезговала никакими средствами, а потому не сделала бы исключения для марок Великого княжества Финляндского, даже если бы Матвей ими располагал.

Рождение второго сына в воспалённом революцией 1905 году для Матвея стало символичным, и в знак отречения от старого мира он запретил крестить ребёнка, потом всё же согласился, но при условии, что обряд проведут по православному чину. В горячности даже велел рассчитать няньку-чухонку и нанять другую, русскую.

...Тётка помнила пространные рассказы финской бабки, но кое к чему не скрывала

скептического отношения. В самом деле, легко ли отличить истину от апокрифа по прошествии стольких лет? История с крещением особенно сомнительна: так, Матвей уверял, что ребёнка крестили в православном храме именем Данат, в соответствии со святцами. Кто был крёстными родителями, почему свидетельства о святом таинстве не видела даже мать? А не получив подтверждения, невозмутимо отправилась в кирху, коих в Городе было достаточно, где пастор в присутствии восприемников, кузена Уллы с женой, окрестил младенца мужеска полу Донатом. Интересно, что в разных бумагах имя писалось по-разному, и только впоследствии путаница исчезла. Донат, убеждённый коммунист, утверждал, что отец состоял в РСДРП, и начисто отрицал факт своего крещения. Не понятно, состоялось ли на самом деле двойное крещение или никакого двойного не было, а был безграмотный писарь? «Это же начало века, – говорила Полина, – крестили даже подкидышей, а семья была

благополучной!» Ничего удивительного: если ретушируют фотографии, то почему нельзя сделать то же самое с воспоминаниями?..

Одна из ранних фотографий изображает две белокурые головки с пухлыми щеками, прильнувшие друг к другу, где рука старшего лежит на плече малыша. *Обними братика*, подсказала мать; она уверена, что сыновья проживут жизнь так же, как на снимке, плечом к плечу.

Ничуть не бывало.

Подрастая, мальчики менялись внешне, но как это часто случается, сходство «плавало», то ослабевая, то снова проявляясь. Мика так и остался блондином, разве что волосы чуть потускнели либо фотограф переборщил с ретушью. Донат, шатен с тёмными глазами, всё более делался похожим на отца сосредоточенным, упрямым лицом. Он отказывался говорить по-фински, с одобрения Матвея: нечего ломать язык. Улла, кроме родного и русского, владела шведским и

немецким, и старший сын поступил в немецкую гимназию. Фотография вышла не очень удачной: не то засвеченная, не то выгоревшая. На ней изображены оторопевшие от торжественности момента мальчики в наглухо застёгнутых форменных курточках. В заднем ряду преподаватели – сюртуки, лысины, монокли, усато-бородатые строгие лица. Фотограф хотел придать непринуждённость снимку – в переднем ряду гимназисты полулежат на полу, локтями опираясь на колени соседей. Одинаковые стрижки, форма и напряжённые глаза делают мальчиков похожими друг на друга. По верху дугой идёт надпись: D. S. M. Ditte Klasse, 1913 – Немецкая городская мужская гимназия, третий класс.

Доната отдали в русское реальное училище: в России живём, нечего с немцами штаны просиживать. Война с Вильгельмом подхлестнула решимость Матвея держаться всего русского.

Альбому нет дела ни до войны, ни до революций. От учебника истории в памяти Ники засела горстка клише: поп Гапон, столыпинские галстуки, апрельские тезисы, Временное правительство низложено... Альбом же лишь иллюстрирует историю, вольно обращаясь со временем. Вот крупная фотокарточка братьев Подгурских: на Мике гимназический мундир с длинным рядом пуговиц, словно кнопки современного лифта; рядом стоит Донат в тёмной курточке реалиста, перетянутой широким ремнём с пряжкой. На смежной странице чья-то свадьба с таким обилием гостей, что лица можно разглядеть только с помощью лупы. Кто виновник торжества? Можно перебирать имена, как чётки: *Мартын, Владислав, Елизавета, Родион, Игнатий, Стефания, Мария, Дмитрий*, но счастливцев узнать не удастся – ни бабушки ни тётки нет, а значит, и люди остались одним только перечнем имён, как уравнение со всеми неизвестными.

Семейное фото: в солидной даме не сразу узнаёшь Уллу. Матвей стоит рядом с женой, а за её плечом старший сын, он уже студент. Донат ещё в училище, хотя решено: пойдёт по коммерческой части. Лицо у старшего немного растерянное, младший твёрдо смотрит в объектив. Улла в чёрном с головы до ног, и тонкая полоска кожи между рукавом и перчаткой выглядит белой меловой полоской. Это траур по отцу, убитому во время бунта на лесообработке. По чьему-то недосмотру рухнули и покатились сложенные в штабель брёвна; среди погибших оказался хозяин. Упорные слухи, что никакая это не оплошность, а происки *красных финнов*, опровергнуть было трудно – действительно, на многих предприятиях шли стачки. Волны, идущие от раскачиваемой колыбели революции, сотрясали Выборг. Предприятие погибшего отца перешло в руки сына.

Далее – скучный антракт: пустые страницы с эрозией от отодранных карточек –

ни дать ни взять заброшенный дом с голыми пятнистыми стенами: клочья обоев, провалы, сквозь которые видна штукатурка, светлеющие пятна от снятых портретов. Чьи лица были здесь? Альбом молчит, как школьная история молчала о красных финнах, однако лет через двадцать учебник спохватится и заговорит, но уже о *белофиннах* – главных врагах советской России, предателях и прихвостнях капитализма. Брат Уллы, наследник отцовского предприятия, пошёл на «Зимнюю войну», с которой не вернулся. Может быть, здесь был его портрет? Он остался в семейной истории без имени и лица, и так, «братом Уллы», ушёл из жизни. Шесть пустых – слепых – страниц, твёрдых, как фанера; куда делись снимки, оставившие неровный картон и рваные уголки? И только ли фотографии исчезли или канули в небытие люди, изображённые на них? Или здесь были лица, от которых остались имена – *Мартын, Владислав, Елизавета, Родион, Игнатий, Стефания,*

Мария, Дмитрий? Кто помнит их, а ведь у этих людей были дети, внуки...

Веронике запомнились рассказы бабушки о более позднем времени.

...как она доучивалась в гимназии, постоянно поощряемая Маней; как стала самой молодой учительницей и преподавала историю в той же русской гимназии; как в 1926 году вышла замуж за Доната (кивок в сторону портрета). Манина судьба сложилась иначе.

Как – иначе? Бабушка улыбалась: «Лейтенант в больнице влюбился в мою Маню, но она записалась в женский батальон, и не она одна...» Спыхатывалась, обрывала: «Да тебе, золотко, это не интересно...». Фотографии влюблённого лейтенанта не было, что уж тут интересного, в самом деле, если ты в третьем или четвёртом классе. Забывался лейтенант и Маня, открывалась следующая страница.

После смерти бабушки слова «женский батальон» всплыли, когда тётка Поля упомянула о Мане.

– Мне всегда хотелось иметь старшего брата или сестру, как Маня, – призналась она.

Нику, теперь уже студентку, слова зацепили.

– Бабушкина сестра? Ты её знала?

– Только по маминым рассказам. Я слушала и завидовала.

С неприметной фотокарточки улыбалась Маня, сидевшая среди жизнерадостных смеющихся дева́х. Они так заразительно хохочут, что невозможно принимать всерьёз их тёмные форменные платья, стянутые ремнями, и кокетливо сдвинутые набок беретки с одинаковыми значками.

– Маня воевала?

– Воевали мужчины. Маню перевели в полевой госпиталь, она работала медсестрой.

Тётка рассказывала скупно, с паузами, старательно подыскивала слова. 1919 год. Патриотическое добровольческое движение, оборона. Молодая республика, только что кончилась война за независимость. И женщины

не остались в стороне – так был сформирован этот батальон. Для защиты.

– Защиты чего?

Тётка удивлённо подняла глаза.

– Родины. Республики.

Сначала сестра милосердия Мария работала в городской больнице Красного Креста, затем в полевом лазарете. Кончилась бесконечная германская война, а в республику продолжали прибывать беженцы – десятки, сотни, будто шлюзы открылись: кто возвращался домой, кто транзитом ехал в Россию. Прибывали пароходами, и Маню в числе других медсестёр отправили в западный портовый город. Люди приезжали с документами и без, везли с собой детей, немудрящий скарб, инфекции, а то и всё вместе. Все беженцы, военные и гражданские, бывшие ссыльные – словом, все – направлялись в фильтрационные лагеря на санитарный контроль. Инфекционных больных помещали в карантинные палаты до выздоровления.

Медсёстры работали без выходных – хорошо, если между сменами поспишь несколько часов и не свалишься сама.

Бабушка когда-то подолгу рассматривала фотографию и вздыхала. Сестра милосердия, Маня моя, мученица, с подругами. Вот эта... тоже тифом померла.

Тётка подтвердила то, что Ника не услышала в слове «тоже». Долго всматривалась в лица девушек, брызжущих здоровьем и молодостью. Невозможно было вообразить, что тиф унёс эту жизнь. Осталось только живое имя: Маня, Мария, в ряду других имён, уже ничего Веронике не говорящих. И накатила стыд за бездумное детство, когда слушала, не слыша, торопясь поскорее вернуться к открыткам.

Кстати, об открытках. Ими была заполнена целая страница, и чего на них только не было! Старинный автомобиль, почти погребённый под гигантским розовым букетом, хлипкий руль торчит из гущи роз. Открытка вставлена в уголки, на обороте типографским шрифтом:

Carte Postale и аккуратное прямоугольное окошко для марки.

В детстве Нику (смешно вспомнить) открытки поглощали полностью; бабушкины рассказы про семью звучали, как радио, которое никто не слушает. То ли дело весёленькая картинка с девочкой лет семи, лежащей под тощим деревцем – глаза закрыты, руки закинута за голову, а рядом щекастый мальчуган в коротких штанишках шаловливо щекочет ей шею, безжалостно нагнув ветку несчастное деревце. Белокурые головки, румянец и нарядные белые рубашечки; что так приковывало её внимание?

Только взрослым глазам открылась фальшь игривых фигурок, как если бы нарисованы были не дети, а лилипуты, притворявшиеся детьми. Фальшиво звучала и надпись на обороте: «Поздравляю с днём Ангела и желаю счастливого успеха в будущем!!!», с её «счастливым успехом» и тремя

восклицательными знаками, без обращения и без подписи.

В другую открытку маленькая Ника сразу влюбилась, да кто бы мог устоять перед матово-сиреневой красавицей? Она смотрела в сторону, отвернув от невидимого поклонника голову с аккуратной волнистой причёской. Плечо, пересечённое лялочкой вечернего платья, нежно круглилось. И крамольная мысль: она красивее, чем мама – не мешала Нике кланяться: «Подари-и-и...» Бабушка совала ей в рот ложку вязкого глистогонного сусла, но дарить не спешила: «Память... Помру – всё тебе достанется».

Так и получилось: открытки сохранились, память умерла вместе с бабушкой.

Сиреневая красавица ничем не помогла, разве что сведениями, что открытка напечатана

в Париже, а чтобы не оставалось сомнений, мелкие буковки сообщали: «Made in France». Размашистая надпись чёрно-рыжими чернилами: семья Соловьёвых поздравляла госпожу Подгурскую с днём ангела – «наступающим», как поздравляют с новым годом. Оно и понятно: Париж далеко, пока открытка дойдёт, смотришь, таинственный день ангела и наступит. Ангелы попадались на картинках в сказках Андерсена, но никаких открыток они не приносили.

– Подари-и-и...

Ника чувствовала, что бабушку можно дожать и выцыганить открытку, но останавливало трезвое соображение: как такую красоту принести на Вторую Вагонную, вдруг мама обидится?

– Подари-и-и...

Какой же я была занудой.

...Время никак не сказалось на сиреневой красотке: она всё так же молода и соблазнительна, но детское восхищение

пропало. Тем не менее, картинку Ника привезла в Америку, как и всю начинку альбома. Сканируя карточки перед поездкой в Город, Ника вдруг озадачилась: кого поздравляли с днём ангела?.. Полину, никогда госпожой не бывшую, можно было исключить, но кто настоящий адресат, «чухонка» или бабушка? Поколебавшись, решила в пользу бабушки («Память...»), а семья Соловьёвых пополнила список забытых имён, вот они плывут ровным потоком, как на экране в конце фильма: *Мартын, Владислав, Елизавета, Родион, Игнатий, Стефания, Мария, Дмитрий... семья Соловьёвых.*

– Excuse me?

Парень-сосед привстал, чтобы выйти. Ника не сразу поняла, что он говорит. Вскочила, не сообразив поднять столик, испуганно глянула на сумку: не задела ли, и сконфуженно улыбнулась в удаляющуюся спину.

Так уже бывало при длинных перелётах: замкнутое пространство самолёта и аэропортов – консервные банки разного размера – долгие отсидки в капкане неудобного кресла, бессчётные чашки кофе... Она задремала на несколько минут, выпала из самолётной реальности в иную, единственно желанную: сон. И ведь привиделось что-то, проплыли, вслед за именами, немецкие слова: *Studentisches Unternehmen*, отпечатались в усталом мозгу от снимков, которые просматривала перед тем как сморила дрёма.

Проснувшись, распрямилась – ныла затёкшая спина. Вероника прошла вперёд по проходу, пружиня шаг, чтобы размять ноги. Рыжеволосая женщина средних лет – жилистая, широкоплечая, шея и руки покрыты веснушками – приседала, держась за поручень. Она коротко улыбнулась и подвинулась, уступая место. Привычные упражнения – короткая растяжка, массаж шеи, – пятка – носок, пятка –

...стало легче, самолётный искусственный воздух ощущался слабее. Присела несколько раз и пошла на место как раз вовремя: в параллельном проходе показалась стюардесса, медленно катившая тележку. Ланч.

Сосед уже сидел на месте, телефон лежал на столике. Без особой надежды Ника вытащила свой; ничего нового. Что происходит? Или просто нет связи?..

Прикрыла раздражённые глаза, и снова вспыхнули немецкие слова со страницы альбома: географию размещённых снимков она помнила отчётливо. С какой-то страницы начались изменения. Привычные твёрдые фотографии встречаются реже, новые – в рамочках или с узорными краями – ретушируются не столь тщательно. Впрочем, они всё ещё чёткие, так что можно рассмотреть каждую пуговицу на форме – теперь уже военной – группы парней. Снимок явно любительский: они сидят на траве в непринуждённых позах, в пилотках или без,

верхние пуговицы гимнастёрок расстёгнуты. Фотокарточка вставлена в уголки, на обороте карандашная надпись по-немецки:

«*Studentisches Unternehmen, 1919*» – студенческая рота; была, оказывается, и такая. Форма придаёт сходство юным лицам, однако парень в переднем ряду – Мика: прямой взгляд, очень светлые рассыпающиеся волосы, руки сжимают пилотку.

С кем собрались воевать студенты, если Первая мировая – Великая война, как её назовут впоследствии, – кончилась год назад и подписан Брестский мир? Учебник истории упоминал о нём, но как-то невнятно. Бóльшая часть территории республики отходила к Германии. Совсем недавно, в августе семнадцатого, в оккупированном Городе помпезно прошёл военный парад и сам император Вильгельм стоял на трибуне.

Парад отгремел. Одни приготовились жить под немцами: на небольшой фотокарточке стоит женщина с корзинкой, а двое рабочих

крепят табличку с новым названием улицы. Поднятая рука заслоняет первую часть слова, из-под рукава выглядывает «...straße». Вывески тоже на немецком.

Матвей Подгурский немцев и раньше не жаловал, а теперь, как и другие, с особенным нетерпением ждал большевиков: они смогут навести настоящий порядок – взяли власть в России, возьмут и здесь. Источник дохода пропал вместе с джутовой мануфактурой, вся надежда была на дом, но дом требовал ремонта. Лучше не думать, что деньги на ремонт Улле присылает брат. Правда, денег у буржуя не считано...

Донат вечерами пропадал в молодёжном революционном кружке и тоже мечтал о приходе большевиков.

Мику, старшего сына, пылкие речи большевиков оставили равнодушным – он мечтал о независимой республике, какой стала Финляндия, его вторая родина. Мика примкнул к защитникам временного правительства

будущей республики от немцев и от большевиков и записался в студенческую роту.

Кто ждал, дождался: знаменитые меткие стрелки, элита большевистской революции, вошли в Город – в длиннополых красноармейских шинелях, с винтовками, в папах или фуражках с красной звездой, серпом и молотом. Они проделали длинный путь от окопов до Петрограда, штурмовали Зимний, слушали речи большевистских ораторов, суливших им свободу и землю. Те, кто пошёл за свободой и перспективой мировой революции, остались в Петрограде; кому важнее было второе, потянулись домой, к своей земле. Хмурые, преждевременно постаревшие от войны, крови и усталости, по привычке собирались они на митинги, курили, слушали ораторов.

Матвей тоже проталкивался вперёд. С одного митинга принёс влажную листовку и жар, обернувшийся испанкой. Последняя фотография

на странице – закрытый гроб с цветами на крышке.

– Кто в гробу? – спрашивала маленькая Ника.

– Твой прадед, – строго отвечала бабушка. Без деталей. Даже имя – Матвей – Ника впервые услышала не от неё, а от тётки.

Многие бабушкины истории повторялись, иногда всплывали новые подробности, хотя Ника многого не понимала. Возвращаясь от бабушки на Вторую Вагонную, хотела спросить у мамы, но забывала – там ждали знакомые раскраски, самая вкусная в мире жареная картошка. Однажды спросила: день ангела – это когда? Мама сказала, что такого дня не бывает, и Нике стало обидно за красавицу, за деток в белых рубашечках, даже за чухонку, которую приплела сюда.

– Кто тебе говорил про этих буржуев?!

Мама по-настоящему рассердилась. Это было непонятно и обидно – не только за красавицу, но и за бабушку, за чухонку, за проткнутую запонками шею деда на портрете, за день ангела, которого на самом деле не бывает...

Есть не хотелось. Сосед энергично орудовал пластмассовой вилкой, желваки непрерывно двигались. Остывало, не вызывая вожделения, куриное бедро в густом бледном соусе. Сосед искоса взглянул на её нетронутый поднос, и Ника кивнула на мясо:

– You want some?

– Sure, thank you! – Парень ловко подцепил кусок.

Она выпила воду и съела булочку – холодную, как и брусочек масла, не желавший подчиняться гнущемуся пластиковому ножу. Всё, с трапезой покончено.

...Позднее, школьницей, она спросила про Мику. Мать оборвала: «Не слушай сплетни». Стало понятно: знает, но не хочет говорить. А спрашивать не надо – злится.

...Чудом Улла не заразилась испанкой, ухаживая за мужем. Ника представляла, как «чухонка» стояла на кладбище в том же траурном платье, в каком хоронила отца, с тою же молочно-белой полоской между рукавом и чёрной перчаткой. Приезжали ли Выборгские родственники, не известно; присутствовал Донат. Был бы и Мика, если бы в начале зимы не отправился на фронт воевать с большевиками, которых дождались отец и брат.

Исторические параллели напрашивались сами собой: вчерашние школьники студенческой роты сражались за будущую свободную республику, как их ровесники юнкера защищали в Петрограде уходящую Россию – Временное правительство. Будущее оказалось

сильнее: студенческая рота не только избежала судьбы несчастных юнкеров, но и влилась в один из армейских батальонов молодой республики.

Давно нет альбома: ослепший без фотографий, он был выброшен за ненадобностью. Почему же Ника привычно раскладывала карточки так, как они хранились в альбоме, так что на столешнице возникал абсурдный пасьянс? Почему, стоило ей закрыть глаза, альбом возникал из небытия в нетронутом виде, со своей толстой, цвета граната, обложкой, дверью в старый мир? Или с закрытыми глазами зрение острее?..

Вынула всё: фотографии, открытки – на всякий случай, после того как с альбомом едва не отправила в утиль большой снимок, хранившийся в отдельном конверте, подклеенном к задней обложке – тот, на

котором маленькая Ника высмотрела деда в его брате. Это Мика, сказала тогда бабушка.

Мартын, Владислав, Елизавета, Родион, Игнатий, Стефания, Мария, Дмитрий. А Мика? Разве не должен он дополнить этот ряд, пусть его полное имя осталось неизвестным? Позднее к списку добавятся два имени: Вера, Полина – в них не было призрачности незнакомцев, однако тем тяжелее было привыкнуть, а взгляд падал на кресло, в котором любила сидеть бабушка, глаза искали альбом. Среди снимков, знакомых до царапин и поломанных уголков, оставались пустоты, как на контурной карте, вроде «семьи Соловьёвых», чьи потомки могут и сейчас благополучно жить если не в Париже, то в любой другой точке мира.

С самой большой фотографии смотрело множество похожих лиц, и только приглядевшись, можно было понять, что сходство мнимое, его придавала военная форма: одинаковые фуражки, наглухо застёгнутые кители с непонятными шевронами

на воротниках – одна из рот N*** пехотного полка. Сверху, над лицами, девиз: «Возьми, родина, я твой!» и даты: 1923–1924. Много юных лиц из студенческой роты.

Молодую республику защитили, отстояли. Стало можно вернуться к мирной жизни. Овдовев, Улла часто ездила в Выборг, иногда с Микой – он сблизился с дядей, и само собой разумелось, что со временем возглавит разросшееся предприятие, как и мечтал покойный дед. Донат всё больше отдалялся в другую сторону: его как магнитом притягивала советская Россия. Надёжная крыша над головой и неплохой заработок (он стал толковым бухгалтером) удерживали, тем более в свете скорой женитьбы. Мечтал уехать – в советской стране компартия не скрывается в подполье, как здесь. Они с Верой сняли небольшую квартиру на окраине.

В скором времени родилась Полина, через два года Лидия. Донат ощущал смутное недовольство тем, что жизнь его мало чем

отличается от жизни покойного отца: монотонная работа, не приносящая радости, семья – *труды и дни*. Наступила зрелость, когда сильнее чувствуешь усталость, а время течёт быстрее, чем раньше. В мире, судя по газетам, становится беспокойно. Брат – другое дело, он вольная птица: отвоевав, закончил университет в Хельсинки, собирается заняться наукой, к великой радости Уллы.

Мика редко появлялся в Городе. Полина не знала, какой наукой занимался дядя,

но каждый приезд его был праздником – для всех, кроме отца. Донат остался к брату равнодушен, точек соприкосновения между ними не было. Дома он часто повторял, как они вчетвером уедут в СССР, где пионерия, комсомол и где всё справедливо, а люди живут иначе... «Иначе» на его языке означало «лучше». Но грянула война – советско-финская, *зимняя война*, и никто («даже наш папа», неизменно добавляла тётка) не мог вообразить, какую лавину смертей и горя она вызовет.

Брат Уллы погиб на линии Маннергейма в первые дни весны 1940 года. Мика, в соответствии с дедовым завещанием, стал единоличным владельцем его предприятия. Вернее, *не стал*: не успели высохнуть чернила на официальных бумагах, как и предприятие, и сам Выборг отошли к советской России. Мика вернулся в Город. Уллу что-то задержало в Выборге; как оказалось, навсегда; вестей не пришло ни от неё, ни о ней.

Лавина скользила дальше.

В июне советские войска вошли в Город и независимая республика перестала быть независимой.

Дом Уллы, где прежде бельэтаж занимала семья Матвея, национализировали. Только ли дом? Новая власть подвергла тщательной фильтрации Национальную республиканскую армию, но рядовой М. Подгурский из списка N*** пехотного полка, защищающего Город, был убит и остался только на фотографии. Погибли ещё несколько человек из тех, кто оставался

верными девизу: «Возьми, родина, я твой!». Той родины, которой они присягали, которой отдали себя, больше не существовало. Кто-то из студенческой роты ушёл в леса, другие были расстреляны, третьих увезли против их воли.

Зато легко сбылись мечты Доната: не нужно было ехать в СССР – СССР доставили на дом. Большевики прочно обосновались, а дочери стали пионерками, носили красные галстуки и слово «родина» писали с заглавной буквы. Отец предупредил их никому не рассказывать «об этих финских буржуях» и так часто повторял запрет, что забыть об исчезнувших родных не получалось; однако девочки молчали. Сам Донат изъявил желание стать коммунистом, сославшись на отца, члена РСДРП. Никто не спросил подтверждения – в 1940 желающих вступить в партию было не много.

Происхождение – «из служащих», отец – член РСДРП, мать – домохозяйка. В самом деле, разве Улла не была хозяйкой своего дома?

Вероника много раз возвращалась к своему наброску. Тощее генеалогическое деревце с условными «листьями» – прямоугольниками, в каждый вписано имя и годы жизни. Скромная симметрия: дочери Мария и Вера от ветки Стрельцовых, сыновья Мика и Донат от ветки Подгурских. И другая симметрия, грустная: ветки, не давшие побегов, от рано погибших Марии и Мики.

Ника вздохнула. Зря, наверное, она затеяла возню с фотографиями. В молодости брат раздражённо прерывал её рассказы; почему она решила, что в нём проснулся интерес? Наверное, потому что он пишет, а что может быть ближе писателю, чем история семьи, к которой ты причастен? «Ближе, близкий» – смелое допущение; как в гору бегом.

Стюардесса не спрашивая добавила Нике кофе. Хороша же я, наверное: серо-зелёная кожа, круги под глазами. В Хельсинки надо съесть что-нибудь существенное.

Мужчина рядом спал, откинувшись в кресле. В расстёгнутом воротнике светлела шея – худая, совсем мальчишеская. Как беззащитен спящий человек...

Алик долго стоял в пустом цехе. Разом отнялось всё: руки, ноги, способность соображать. Ему бы ликовать – страшный Лёнчик уехал, его оставили в покое. Но радоваться не было сил. Он с удивлением обнаружил, что несмотря на дрожащие колени, двигаться может, и толкнул дверь, выйдя в угрюмое тёмное утро, не согретое дневной суетой. Люди, словно сговорившись, штурмовали троллейбусы; трясась от озноба, с руками в холодных карманах, он пошёл пешком. Угрюмый город, угрюмые лица встречных, и только на рекламах улыбающиеся лица: вложи! Создай! Дерзай! Идиотские призывы для идиотов. Он безотчётно повернул к центру – хоть одно живое лицо увидеть. Скидка, соблазняла витрина, *десять процентов. Скидка, скидка, скидка*, наперебой взывали другие. Себе в убыток торгуют, он усмехнулся в воротник. В канале неподвижно стояла чернота. Рядом с

киоском, всегда оживлённым, высилась башенка часов, составленная из кубиков с буквами; он тоже в детстве строил такие башни, которые всегда бесславно падали, в отличие от этой. На его памяти часы стояли всегда, здесь назначали свидания. Вот и сегодня несколько мужчин выжидательно посматривали по сторонам, девушки любят опаздывать. Парень в лёгком плаще дул в поднятый воротник и поминутно перекладывал худосочные гвоздики из одной мёрзнущей руки в другую. Чем-то он напомнил Алику себя самого в юности. Тот глянул на часы, и Алик машинально поднял глаза. Десять минут восьмого. Вечер?!

Вечер.

Утро давно кончилось, убитое страхом, в каменном промёрзшем мешке цеха. Дня в этот день не было, только страх и беспомощность, и собственная ничтожность перед ужасным Лёнчиком, и ненависть к себе за всё пережитое. Домой, домой.

С остановки, дразня, вильнул и резво покатыл автобус. Алик чертыхнулся и двинулся к мосту. Встречный остановился, закуривая.

– Сигаретки не найдётся?

Тот протянул пачку, щёлкнул зажигалкой и заспешил дальше.

Почему запомнился тот вечер, выросший прямо из утра, минуя день? Алик сделал осторожный глоток: осталось мало, надо беречь. Если закусить дымком да затянуться поглубже, то кайф обеспечен.

...а потому запомнился, что жизнь ему, считай, подарили. Ту встречу он вспоминал часто, Лёнчика с неизменным содроганием, а Сеню... Бандит и рэкети́р, Сеня Дух остался для него навсегда парнем с гитарой. Мог ведь в асфальт закатать или... Да что угодно мог бы, но

не иссволочился – человеком остался. Жорку помнил.

Он думал об этом, идя по мосту, минуя фонарь за фонарём. Давно докурил сигарету, которую стрельнул, и прохожих больше не попадалось: ехали машины, нужно было вовремя прижаться к решётке, чтоб увернуться от шквала ледяной воды – с каким удовольствием они норовили промчаться по луже! Новые русские – или не русские, просто *новые*, то есть богатые, пьяные собственным благополучием, для полноты которого не хватало пустяка: обдать фонтаном грязи бредущего пешком.

Это Жорка сегодня спас его. Мысль иррациональная, глупая, но правда – ведь если бы Сеня не вспомнил «Дипломата», он и его не вспомнил бы!

Таким Алик явился домой – измёрзший, голодный, в мокрых, набухших от ледяной воды, брюках и трезвый, к безмерному удивлению жены: Сенина водка выветрилась. Он жадно

давился горячим чаем и рассказывал, рассказывал и не мог остановиться. Согреться не мог – ему бы косяк, один дохленький косячок для расслабухи, но где там. Марина гладила ему руки, повторяла: *всё, всё. Всё прошло, больше ничего не будет.*

Она не знала, что денег тоже не будет. Всё прошло.

Через несколько дней она устроилась на вторую работу – как уверяла, *работка не бей лежачего*: расчёт коммунальных услуг в домоуправлении. Радовалась, как ребёнок, получив деньги.

Деньги... Это слёзы были, а не деньги. Одно слово – зарплата. *Зряплата*, как говорила мать во времена работы в КБ. Они жили теперь, как в советское время – недавнее, в сущности, шесть-семь лет как минуло, – но ставшее чужим, отжившим. И для дочки (Лере тогда было пятнадцать) этот шаг назад оказался тяжелее всего. Туфли – четыре Марининых зарплаты – были недоступны, как и вожденная куртка,

как и сумка, как и любимый сыр – Марина пристально следила за скидками, покупала не желанное, а доступное. Лера дулась и взрывалась упрёками: у всех родители как родители, а у меня... Как-то пришла торжествующая: нашла работу в массажном кабинете. На категорическое «даже не думай» ушла, сдёрнув с вешалки старую куртку.

...Чудно́, в самом деле, как одно с другим оказывается связанным! Алик подрабатывал к своей грошовой пенсии, заполняя бумажками конверты – бездумно, механически: плотная, тонкая, конверт; плотная, тонкая... Какие-то деньги поступали на его тощий банковский счёт, но ни взглянуть, ни проверить суммы он не мог. Плотная, тонкая, конверт; плотная, тонкая... Приехала Лера – помыть посуду, *свинарник твой прибрать* – и присела рядом на диван. Запахло влажной тканью и едкой химией.

– Я собрала грязное, сейчас постель поменяю. Посиди на кухне, ладно?

Стук постельного ящика, пауза. Снова хлопнула крышка. Лера что-то бурчала недовольно, как всегда, наводя в свинарнике порядок, и вдруг замолчала. Хрусткий шелест полиэтиленового пакета, вздох и наконец:

– Иди, я поменяла. По-хорошему, надо бы плед отдать в химчистку, но в следующий раз.

И внезапно:

– Пап! Откуда у тебя эта дрянь?!

Объяснил: работа. Монотонная, да, но не выбирать же. Главное, легко.

– Ты знаешь, что это за рекламы?

Голос у неё был накалённый, взвинченный.

– Тогда слушай: «У вас в гостях или у нас. Полная анонимность. Быстрая доставка в гостиницы, квартиры. Сауна, массаж и др. услуги. Медицинские гарантии. Ждём звонков круглосуточно».

Что говорил координатор с ржавым голосом? «Тебе без разницы что. Сегодня одно, завтра другое». Вот и другое. Стиральному порошку не дотянуться.

– Брось эту гадость! Я тебе всё привожу. Нужны деньги – скажи.

Алик усмехнулся.

– Он объяснил, что на курево мне хватит.

– Я купила блок сигарет. Откажись, пап!..

...точь-в-точь как они с Мариной в два голоса просили не ходить в массажный кабинет: «Откажись!»

Она отказалась на третий день. Ничего не объясняла, бросила: «Я уволилась».

Умница, обрадовалась Марина. Мы бедные, но гордые.

Да уж, теперь никто из подруг матери не назвал бы его новым русским. Извлекли откуда-то старые джинсы, Марина пришила тёплую

подкладку под ношенный-переношенный плащ. Алик устроился грузчиком. И не в книжный – магазина как не бывало, теперь там продавали дорогой фарфор, *следите за нашими скидками!*

Новая работа пахла не типографской краской, а пропиталась тяжким винным духом от нетрезвых грузчиков и пролитого пива.

Валюха встретила его не удивившись, оформила быстро. Всхлипнула, вспомнив о Жорке, и долго таращилась, чтобы тяжёлая краска с ресниц не попала в глаза. Тяжёлые ящики таскали двое, Димыч и Серёга. Димыч, угрюмый мужик, утром выглядел лет на шестьдесят с гаком; опохмелившись и приняв на грудь свою дозу, выплёвывал окурок и молодец лицом от разлившегося румянца, так что казался немногим старше Серёги – сильно пьющего малого лет сорока с лицом, в распоряжении которого было не больше чем полтора выражения. В протоколе написали бы: *без особых примет*. Алик узнавал его не по лицу, а по древней выгоревшей болоньевой куртке.

В ассортименте магазина прибавились новые названия: спирт “Royal”, водка “Rasputin”. Однако здесь, на окраине, неизменным спросом пользовались дешёвый портвейн и водка под многочисленными псевдонимами. Владельца магазина никогда не видели, и Алик смутно подозревал, что никакого владельца не было, всем заправляла сама Валя. Все уважительно называли её по имени-отчеству, Валентиной Михайловной, один Алик по старой памяти Вале́й (Валюхой язык не поворачивался). По правде говоря, плотная женщина с уверенной походкой и кольцами на толстых пальцах мало чем напоминала прежнюю Валюху. Сыновья, бывшие школьники, превратились в модно одетых парней с крепкими челюстями, развитыми постоянным жеванием жвачки. Немногословные, широкоплечие, они время от времени возникали в магазине; Валя бурчала, но кошелек открывала. В тесной комнатухе-конторе подвизался невзрачный мужчинка с близко посаженными глазами и срезанным

подбородком, всегда пьяноватый; он заполнял ведомости, вёл неведомо какой учёт, ибо всем шуровала Валюха: принимала товар, лепила ценники на бутылки, в конце недели вывешивала потрёпанное объявление «Сегодня скидки!» и выдавала зарплату, тупым ногтем тыча в строчку ведомости: вот тут распишись. Свет в кольцах переливался радугой.

Многие жили скудно. Не стало необходимости менять рубашки каждый день – натянул старый свитер на выгоревшую майку, и хорошо. Дешёвые сигареты крепче дорогих, а бутылка в магазине всегда найдётся. Стиральную машину теперь включали редко – электричество дорогое, да и счётчик расхода воды красноречиво тикает; можно ведь простирнуть руками в тазу, потом той же водой пол помыть. Экономили на всём, это выматывало Маринины силы.

Неделями ничего не менялось в Аликовой жизни: магазин – отвердевшие мозоли на руках – законная выпивка, когда магазин закрывался

на обеденный перерыв. Нередко и в перерыве в закрытую дверь ломились жаждущие покупатели, но никто не обращал на них внимания. Алику запомнилась одна женщина лет сорока в потёртом пальто со свисающим перекрученным шарфом и смятыми серыми волосами – женщина из тех, кто покупает водку для мужей. Она так неистово молотила по стеклу, что Валентина сама вынесла ей бутылку. Сунув деньги, та отошла, но не дальше трансформаторной будки, стоявшей по соседству с магазином, и сорвав фольговую крышку, жадно припала к горлышку.

– Люсинда поправляется, – хохотнул Серёга, – живёт неподалёку. Люська-шалава.

Серый индустриальный район, где кричащая реклама выглядела особенно дико, серые дома, равнодушные и тоже серые лица, привычная ругань. Всё было знакомо по книгам Джека Лондона, и Алик жил эту джеклондонскую жизнь. Иногда звонил матери – с работы, если Вали не было поблизости,

бодро произносил одинаковые слова: *всё хорошо, как у тебя дела?* Мать ничего не знала о переменах в их жизни. Однажды обронила загадочную фразу: *звонил твой друг, спрашивал. Откуда я знаю, он имени не назвал... Сказал, позвонит ещё.*

Какая-то муть осела в душе от бестолкового разговора, муть и непокой. Не было у него друзей, кроме Жорки. Были *друганы*, добывавшие травку. Самыми надёжными были Матис и Гирт – братья или родственники, прошедшие Афганистан; надёжные ребята.

Всё это крутилось в голове под стук ящиков, окрики шофёра, хлопанье двери в ожидании перерыва, когда со шпоканьем откроют первую бутылку и там же, на пустых ящиках, она пойдёт по кругу. Гирт и Матис, Матис и Гирт – всегда вместе, вдвоём, оба блондины (Гирт чуть светлее), мускулистые, как с плаката, носили в майки с фирменными надписями. Жорка спросил однажды, под

крепкий косячок: *а как вам удалось, ребята, в одном куске вернуться? Или через госпиталь?..*

Парни переглянулись – они всегда коротко переглядывались прежде чем ответить, и в разговоре повисала коротенькая пауза; понимали друг друга без слов, как однояйцевые близнецы.

– Правда, как? – Алик блаженствовал от первого косяка.

– Тебе не надо знать.

Не надо так не надо. Дымок уже потёк, Алик задержал его во рту... вот так... ещё рано; вот теперь осторожно выдыха-а-а-ай.

– Травка помогала, – негромко произнёс кто-то из двоих.

Жорка что-то ответил, но ленивым голосом – он уже *поплыл*. Ещё затяжка – задержал – пошлó, пошлó, поймал! Говорят, открывается второе дыхание; нет, от хорошего косячка не второе, а третье, четвёртое дыхание появляется, а главное, ты словно в будке с прозрачными стенками сидишь, как в телефоне-

автомате: всё слышно, но приглушённо, а перед глазами всё другое, не как здесь, а как нигде, потому что образы непрерывно меняются, дразнят, вытягиваются в причудливые формы. За прозрачными стенками звучат голоса, но тебе *не надо знать*, от этого становится смешно, он смеётся, потому что стенки прозрачные только для него – ни Матис ни Гирт его не слышат. Голоса то приближаются, то слышны где-то в отдалении, гулко, словно в туннеле. Меняются звуки, вытягиваются многоцветные фигуры, собственная ладонь удлиняется на глазах, а снаружи доносятся бессмысленные клочки фраз: *в тени семьдесят градусов – комплектация по весу – КамАЗ – погрузка – двести – пломба на груз –*

Эти двое смеются, Жорка что-то тихо спрашивает, Алик смотрит на часы: вместо цифр – непонятные знаки, многочисленные стрелки вертятся по кругу в разные стороны, сейчас главное найти ту, серебристую, она расшифрует знаки. Вот мелькнула серебристая, но её

прогоняет другая, стрелки кружатся; или кружится голова? Циферблат темнеет, а голоса бухтят: *укладывали – форма, фуражка – грузили – вес по норме – пломба.*

Жорка рассказал про «груз двести», когда остались вдвоём. Он был взвинчен, говорил быстро-быстро, часто моргал; зрачки превратились в крохотные точки. Гирт и Матис не родственники – просто земляки, местные деревенские парни; познакомились в армии, в Ташкенте. Отправили на войну; в Афгане держались вместе. Крепких ребят поставили на строительство, но вскоре начались потери, понадобилось комплектовать «груз двести». Мало кто выдерживал; эти смогли – не без помощи гашиша.

Жорка продолжал говорить, но уже не с Аликом – яростно кричал в тёмный экран выключенного телевизора.

Друганы никогда сами не звонят – это им звонят. Кому надо, перезвонит.

...От приоткрытого окна шло тепло, скоро август кончится. «Вить, ви-ить! Виить!» Опять птица, для него навсегда безымянная. «Вить, ви-ить!» – о, как требовательно кричит! Нет здесь никакого Вити, где я его тебе возьму?

Я не Витя, меня зовут Алик. А по-настоящему – Олег, но меня так звал только Шахтёр. До чего странно всю жизнь носить чужое имя и, словно мало этого, чужую фамилию – не чужую даже, а ненастоящую, придуманную матерью. Почему? Вроде тряпичного Зайца, который прожил свою игрушечную жизнь безымянным и сгинул.

И важно ли это по сравнению с мировой революцией, как говорил отец?

– Вить, виить? Вить! – не теряла надежды птица.

Ох, и настырная.

Где настоящий Олег Михайлец? В классном журнале?

Он медленно повторил вслух:

– Олег Михайлец.

Если б я с самого начала был Олегом (имя серьёзное, взрослое – не то что малышовое Алик), я прожил бы жизнь, достойную имени Олег. Это была бы совсем другая жизнь, и сейчас я с нетерпением ждал бы встречи с сестрой, а прежде сел бы за руль и поехал в шикарный магазин выбирать ей подарок. Олег бы не только сумел всё это проделать, но и знал бы, что дарят сёстрам: шёлковый шарф, например, невесомый в руках и ласковый на шее, или... в общем, Олегу виднее, в то время как Алик вытащит старый, бессчётное число раз читанный и потёртый альбом древних карикатур.

Ты помнишь, сестрёнка, книжку про Адамчика?

...Психотерапевт пробасила: *кого ваша мать любила больше, вас или сестру?* Какое тебе дело, молча возмутился Алик. «Хам всегда

проигрывает», говорила мать. Он пропустил мимо ушей дурацкий вопрос. Баба гнула своё. *Младшие дети, как правило, любимцы. Вы это чувствовали в детстве?* То ли работа сволочная, то ли всё ваше племя такое. Молча просидел остаток сессии, по пути домой молчал.

Хорошо бы покурить, опершись на подоконник, как он делал *при свете*, при живых глазах. Потом уже на ощупь: локти на подоконнике, ветерок обвеивает лицо... блаженство. В один прекрасный день явилась дворничиха: соседка пожаловалась – наволочку спалил. Она вывесила бельё сушить, и окурок угодил прямо в ту чёртову наволочку. Наволочка не Москва, сгоревшая от копеечной свечки, к тому же слабо верилось, что чинарик на ветру не погас, а прицельно залетел в трепыхавшуюся тряпку. «С этими лучше не связываться, – вздохнула дворничиха, – наволочке грош цена, да люди скандальные, проще заплатить». Он

протянул кошелёк. Та повздыхала, сетуя на бесстыдство некоторых, а потом выпила с Аликом виски, найдя в буфете две стопки. Забытое ощущение из бывшей жизни: невесомая тяжесть рюмки в пальцах.

...а раньше не ценил. На работе пили кто как: найдётся стакан – из стакана, нет – из горла. Потом пришли безразлично-вежливые люди провести ревизию, Валя выгнала грузчиков в отгулы. Дома было тускло: дочке грозила переэкзаменовка, и чтобы не слышать Марининых заклинаний «нельзя без образования» и злого Лериного шипения в ответ, он импульсивно, без раздумий, поехал к матери.

– Вспомнил о старухе-матери? Вместе поужинаем.

Кокетничала – в то время Лидия на старуху не тянула.

– Что за гадость ты куришь, – она поморщилась, – есть же нормальные сигареты!

Здесь было спокойно. Мать не раздражалась и не раздражала, поэтому приехал и следующим вечером, и ещё раз, в последний отгул – ревизия заканчивалась.

– Ах, какая жалость, он звонил минут двадцать назад!

Алик начисто забыл о таинственном «друге» и махнул рукой:

– А... кому надо, позвонит, – и потянулся к пепельнице.

Тот и позвонил незамедлительно – прямо в дверь.

...а дальше без глотка нельзя – разворачивалась картина Репина «Не ждали». Сдёрнув кепочку с лысой головы, Влад усердно шаркал сухими ногами по коврику.

Алик отхлебнул виски и не почувствовал, как его перенесло за кухонный стол материнской квартиры. Слепота не помеха, всё *видно*, плёнку крутят вновь и вновь. Удивлённая мать включила радушие, голос стал певучим.

- Вы заходите, заходите!
- Добрый вечер, я вот к Алику –
- Ну не на пороге же!
- Простите, я на минутку, не беспо...
- Зачем же в дверях, зайдите!
- Не беспо...

Лидия победила, хотя победил Влад, а мать не знала, кого приглашала так приветливо: скромный малый, кепчонка зажата в руке, в другой держит «дипломат».

Ещё глоток.

Она сошла с ума – ставила на стол коньяк, звенела чашками. Прислушивалась ли к разговору? Наверняка; но был ли разговор? Говорил (вернее, однообразно бормотал) один Влад. Бормотал невнятно, как лектор общества «Знание», проводящий -надцатое по счёту надоевшее выступление. Суть проста: земля круглая, человек человеку друг, всё окей, *ты мне должен деньги.*

В другом месте Влад сказал бы: *бабки.* На чужой территории держал лицо.

– Ты мне должен деньги, – повторил уверенней. – В каком смысле, за что?.. За бизнес. Мы же на кооперативных началах – я внёс за себя и за тебя, вот у меня контракт...

Он открыл «дипломат».

– Разрешите взглянуть, – утвердительно произнесла мать. Не глядя на гостя, выключила газ под чайником и бегло пробежала взглядом написанное.

– Филькина грамота.

Выключенный газ уже был приговором, однако Влад не понял – он потянулся за контрактом, и кепка упала на пол. Он нагнулся поднять, вечный барахольщик, и в этот момент бумажка исчезла, словно испарилась. Мать с безгловым любопытством смотрела, как он заботливо отряхнул кепку и недоумённо шарил глазами в поисках контракта. Поняв, усмехнулся.

– Напрасно вы, у меня второй экземпляр есть. И ведомости с его подписью, – кивнул на Алика. – Можете сами спросить.

– Копии не имеют юридической силы, молодой человек. Особенно с чужой подписью, а подпись моего сына я могу подтвердить – или опровергнуть. То, что вы делаете, называется шантажом.

...Новый глоток – как вода. Мог бы не переводить добро, тем более что плёнка крутилась не раз и не два, но как её остановишь,

если незрячими глазами не можешь не видеть?!
Очень прочно где-то в голове отпечатался угол
рыжего «дипломата», кожаная спина, волчий
взгляд из-под натянутой кепки.

Он так и сидел, словно прирос к стулу.
Лидия щёлкнула зажигалкой, закурила, и на миг
почудилось, что никакого Влада не было, всё как
всегда: полыхнул пламенем дракончик, она
затянулась и придвинула пепельницу. Сейчас
закипит чайник и всё повторится, как вчера и
множество давно истекших вчера, yesterday.

*Мать поняла больше, чем он. И с безжалостной
жёсткостью пояснила простую арифметику. В
кооперативе должен быть твой пай. Подписал и
не платил – угодил в ловушку; так учат
простофиль. Бесплатных пирожных не бывает:
угощают – откажись, иначе заплатишь дороже.
Подписывал – отвечаешь. Он не отступится:
плюгавые злобны. Сколько у тебя на счету?*

В ответ на лекцию высказал всё. На счету денег нет, как нет и самого счёта.

– Вообще нет, – он уже кричал, – знала бы ты, как мы живём – ты щебетала с ним – он меня подставил – там афганец один – это Влад ему должен, а не я, – Сеня меня узнал, иначе бы – тяжёлые ящики – каждый день – а меня чуть не убили –

Он давился словами, как рвотой, и не мог остановиться.

– Вот почему ты дрянь палишь. – И добавила неожиданно: – Придётся заплатить.

Столик в обход – кухня – табуретка, раковина; справа сигареты. Последний маршрут? Он глубоко втянул дым. И куда?

...Скрюченная болью, она лепетала, что завтра день её рождения, надо пригласить гостей, она сварит бульон – *обязательно, так и*

передай! – бульон, она ждёт, – и запечёт в духовке курицу – с рисом и шафраном, как я всегда...

День рождения давно прошёл, никаких бульонов она не варила и курицу не готовила. *Передай ей, что бульон я сварю, настойчиво* повторяла. Кому передать этот бред?.. Глаза матери блестели от жара. Приходила медсестра, делала укол. Мать ненадолго засыпала, потом рывком вскакивала: *надо поехать в центр, там хороший выбор, а здесь – обводила глазами* потолок – *и шафрана не купишь. И снова про* духовку, бульон и курицу – *он должен быть прозрачный, скажи ей, а главное – начинка и* темпеле... *термена... пература духовки. Слова* склеивались, звучали неразборчиво, что-то Алик угадывал, домысливал... *И скатерть постирать, а бульон остудить, чтобы не* лопнула банка на холоде, *мне на двух трамваях ехать...*

Духовка и скатерть остались в забытом прошлом, как и гости. Посиделки на кухне с

подругами скатерти не требовали. Последним её приютом стал закуток с продавленным диванчиком и тумбочкой с чёрными пятнами от сигарет, теперь там свалены опасные и ненужные стулья. Вместо поездки в центр за вожаемой курицей она несколько раз в день предпринимала долгое и мучительное пешее путешествие в туалет и обратно, вцепившись в его локоть; последний маршрут. И цепко, как за его руку, держалась она за жизнь и дождалась-таки своего восемьдесят пятого дня рождения, начисто забыв и о нём, и о курице – желудок не принимал еды, проглоченное отторгал. Скорчившаяся на диване старуха ничем не напоминала ту уверенную Лидию, которая вынесла приговор: «придётся заплатить».

Она могла бы прожить намного дольше, сердце работало идеально. Вышла в магазин – она всегда была сластёной, особенно любила тёмный шоколад, а тёмного в тот день и не было. До магазина пять минут, и кто же знал, что под снегом чёрная полоса хорошо

раскатанного льда. Пришла домой с головной болью, голова болела всю ночь, её рвало.

Небольшое сотрясение, успокоил врач, его надо вылежать. А сердце хорошее, в её-то возрасте.

«Небольшое сотрясение» оказалось обширным инсультом и повлекло за собой пустую комнатёнку, куда Алик старался не заходить.

Однако закуток опустел не сразу: сначала мать стала заговариваться. Были дни, когда Алик с Лерой пробовали вылущить зёрна разума из того, что она говорила. Чётко, мелодичным голосом она цитировала куски из фронтовых писем – и неожиданно спохватывалась: а курица? Надо же заранее, чтобы пропиталась... питалась... и чем только не питались, они не поверят, они ничего не знают. Они даже вшей вывести не сумеют, одеколона днём с огнём... с огнём шутки плохи: выпал уголёк – и нет отреза, а мама берегла на платье... в школьном платье, с одним саквояжем, ушла. Кабы не выпал уголёк, я бы заказала нарядное платье, зачем она в школьном да в школьном... это на Севастопольской, у маминой портнихи, но Севастополь бомбили, там не пройти, хотя до рынка рукой подать...

Алик напряжённно вслушивался, глядя матери в лицо, но хоть её глаза были широко открыты, она смотрела не на него, а – никуда. Вслушивайся не вслушивайся, толку никакого, хоть он переспрашивал, а потом уходил в раздражении на кухню курить. Она засыпала, но во сне продолжалась в её голове наглухо закрытая для него жизнь, прорывавшаяся стонами. Мать уходила туда, куда никому не было доступа, возвращалась в своё, неведомое для него прошлое.

Было легче, когда Лера оставляла их вдвоём. Одна чушь несёт, другая истеризует – нет, увольте. Он не боялся оставлять мать одну, когда надо было выскочить в магазин – спит, и пусть спит. Похватать с полок самое необходимое, не забыв и бухло для себя – и назад, одна она не вставала. Придя, с порога слышал то бурный монолог, то бормотание. Когда затихала, подбегал в страхе: дышит?.. Временами казалось, что он уловил что-то понятное в её путаных словах, но смысл

ускользал, а проблески разума тускнели и гасли, прежде чем он успевал обрадоваться.

...на Севастопольскую можно пройти через Одессу, просто пересечь лиман и выйти к морю. Портниху зовут... Анна, что ли? Нет, её зовут... Это не её, это меня зовут! Мама зовёт. Я скоро, я сейчас, я только закажу портнихе блузочку... ну, блузочку шифоновую, папа прислал материал, а то что ж она, в школьном платье останется, как ушла? Мама! Я слышу, мама; подожди... у меня духовка тут и шифон, такой голубенький, помнишь?.. А к рису нужен шифон... или не шифон? Шифрон, от него рис пожелтеет...

Алик холодел. Он срывал пробку, наливал полстакана и выпивал одним духом. В эти три с небольшим месяца он был врачом, нянькой, сиделкой, сторожем – кем угодно, в зависимости от того, что матери требовалось в каждое пробуждение. Ничем не ширялся, даже про марихуану не думал – не нужно было ничего, только постоянно быть на стрёме. Спал урывками, иногда задрёмывал в ногах на её топчанчике, вскидываясь при малейшем

движении или стоне. Так он маленьким прибежал ночью к ней, сворачивался на широкой тахте, пока не засыпал. Он жил так, словно готовился к этому бдению заранее, давно. Пил только в первые дни, потом и эта потребность отпала. Вернулась, когда матери не стало.

...Сервиз вынуть, – вдруг вскидывалась она, – чтобы по-настоящему... Но что на стол поставить? – Глаза становились ясными. – Что на стол поставить, я спрашиваю? – Сварю пшёнки, – прикрывала глаза. – Пшёнка есть? – это к Алику, требовательно.

– Конечно, – заверял он. – Разве можно жить без пшёнки? Полный буфет пшёнки.

Что такое пшёнка?! Никогда в жизни не знал и не видел. И сервиза не было – то есть имелся когда-то, на старой квартире – той, что была перед новой, где они жили с папой, но что с ним стало, понятия не имел.

– Может, ты картошки пожаришь?

Картошки не хотел, хоть она жарила её гениально; хотел, чтоб она ожила, мечтал

удержать проблеск здорового ума в распахнутых глазах при словах «пшёнka есть у нас?».

Она незаметно перестала есть, хотя сколько там съедала, ложку-полторы – и всё. Потом отворачивала голову. Перестала пить. В полусне приподнималась идти в туалет. И это скоро отпало. Алик просунул клеёнку под простыню, менял бельё – выполаскивал и стирал. Странно: не пьёт, а всё мокрое, словно жизнь идёт независимо от человека. Лера привезла врача. Просили поставить систему, что-то вколоть...

Эндогенное питание, необратимый процесс. Врач мельком глянул на часы, куда-то спешил, но Алику казалось – прикидывает, сколько ей осталось этого необратимого процесса.

Мама! Мама! – звала она всё чаще. Алик пипеткой вводил ей в рот воду по каплям, вода выливалась блестящей ниткой. Ночами вдруг оживал голос однообразными жалобами, что курицу не купить, *а ведь она ждёт...* И всё менее разборчивым становился голос, переходя в

нечленораздельное бормотанье, но всё о той же мифической курице и маме, которая страстно ждёт эту курицу.

...и чёрта с два я расскажу тебе об этом, сестра. Ты не знала, как она жила – зачем тебе знать, как она умирала?!

Мать умерла раньше, чем его догнала темнота, за это отдельное спасибо. Всё равно кому – кто там отвечает за необратимые процессы? Кто даёт человеку здоровое сильное сердце – и отнимает разум, кто – бог, которого нет, или бессильная медицина? В его голову, трезвую или пьяную, нет-нет да и пробиралась мысль, что какая-то высшая милосердная сила распоряжается, когда отключить от жизни единственного родного человека. Но прежде эта сила тебя готовит к его уходу – готовит, меняя его, родного, постепенно лишая рассудка, привычных словечек, даже подсовывает вместо чёткой выразительной речи вялое, едва

различимое бормотание. Та скрюченная старуха – не от слова ли *рухлядь*? – уже не была ни мамой, ни матерью, ни *татап*; она уходила, теряя себя, становясь неузнаваемой, чтобы тебе было не так больно, чтобы ты с каждым днём привыкал, что *процесс необратим*.

* * *

А в тот день, после ухода Влада, мать объясняла: «Ты задолжал товарищу... ладно, не товарищу – партнёру по бизнесу. Как честный человек, ты должен отдать ему деньги». Принципы, честность, честь... И вдруг:

– Алик, у меня ведь только ты. Если с тобой что-то случится...

Впору было самому заплакать – он не помнил мать плачущей.

...Денег от слёз не прибавилось. Взять в долг было не у кого. Страх лежал в животе холодным булыжником и только после водки отпускал: Влад не звонит, он испугался, мать поставила его на место! Ничего он не сделает, и напрасно она боится... Хорошо, если удавалось уснуть. Намного чаще маячило её лицо, когда в тот вечер она трясла его за плечи: *они тебя убьют, если не отдать, Алинька...*

Почти как Ника. «Алька, Алёка маленький, мой цветочек аленький».

Сестра поможет! Она всегда выручала.

Когда больше рассчитывать не на что, надеешься на чудо. Звонить не стал – взбежал по лестнице и позвонил в тёткину квартиру.

Гулкий собачий лай заставил его отшатнуться. Всё же позвонил опять. Лай смолк. Послышались шаги, дверь приоткрылась. В узкой щели показалось насторожённое женское лицо в очках.

– Кого? – недоверчиво переспросила женщина. Рыжая псина крутилась у щели, лаяла, заглушая речь. – Уймись, кому сказано!

Собака замолкла, но не ушла, вилась у ног хозяйки.

Жили, да; пара с детьми, но переехали. Что – куда, куда переехали? Не знаю... соседка снизу говорила, вроде в Израиль, мне что за дело. Года три назад, что ли. Вы кто будете-то?.. Так если знакомый, чего ж вы спрашиваете?

Глухо заурчала собака. Дверь захлопнулась.

Алька, Алка маленький. Уехала. Какая-то чужая баба знает, а брату хоть бы слово! Мать, наверное, не знает. Или знает? С ней никогда не поймёшь. И не надо ей говорить.

Он опоздал на работу, за что был обруган Вaley, и таскал ящики, пытаюсь вообразить, как сестре живётся в Израиле. Надо же, дети... Когда виделись в последний раз, бросилось в глаза её сходство с матерью.

Только в автобусе вспомнил про деньги.
Чудес не бывает.

Он расскажет американской сестре про
свой бизнес – с купюрами, разумеется.

Ника открыла глаза – и сразу зажмурилась от слепящей лампы на потолке. «У вас мальчик», – произнёс женский голос. И мальчик рядом, улыбается Мишкиной улыбкой. Роды не помнила, но ничего не болело. Она спрыгнула с высокого стола, взяла мальчика за руку, и они вышли на улицу. Какая у него мудрая улыбка, любовалась она сыном. Ему было не больше шести – круглое лицо и густые русые волосы с криво подстриженной чёлкой. Вот они уже в центре Города; мимо пролетел трамвай – быстро, как электричка, но совсем бесшумно. Надо позвонить Мишке – вдруг он не знает? Но телефонной будки нигде нет. Сынишка потянул её за руку: «Ты говоришь по-испански?» Ника качает головой. Малыш улыбается лукаво, не верит и начинает прыгать на месте, Ника тоже прыгает и снова открывает глаза, щурясь от яркого бьющего в иллюминатор света, всё ещё

видя неосуществившегося Мишкиного сына, ладонь хранит прикосновение маленькой руки.

Ника ничего не знала про Мишку – где, с кем, есть ли дети. Привидевшийся ребёнок принадлежал ей одной.

Сосед во сне вздрогнул, но не проснулся. Ровесник Валерки, плюс-минус год. Дети, дети, хотя обоим уже за сорок; и всё равно дети. Сколько бы ни времени ни прошло, помнишь их лежащими в колясках, испуганными первоклашками, раздражёнными подростками. Дети остаются детьми. Муж и свекровь яростно спорили, кто на кого похож. Бессмысленные споры, ведь сходство детей и родителей величина переменная: сегодня «вылитый папа», завтра «копия мамы». До изнеможения катая коляску (свежий воздух усыплял наповал), Ника присаживалась в парке на скамейку, вынимала книгу, но вместо того чтобы читать, подолгу смотрела в лицо спящего малыша. Вдруг однажды показалось, что Валерка похож на Алика – не по набору параметров (ушки, глазки),

а выражением беспомощной доверчивости на лице. Натка с первых дней – сама уверенность, ей всё нипочём, а Валерку, всегда растерянного, только ленивый не задевал: то дёрнут за рукав, то надвинут панамку на глаза... Сходство то появлялось, то пропадало; к тому же лицо взрослого брата куда как отличалось от его перемазанной в чернике детской рожицы.

...Взрослел Алик медленно, но вызывающая хипповая немытость исчезла вместе с длинными волосами и джинсами с раструбами невероятной ширины. Подстриженные волосы, свитер и простые брюки, на плече болтается плоская сумка – помогла работа в газете, хотя в журналисты он не метил. Иногда она встречала его в центре. Как-то позвонил ей вечером (звонил редко) и сразу заговорил о письмах: «Ну, которые дед с войны писал, их ещё мать с Полей наизусть шпарили». Как будто были другие, как будто дед оставил богатое эпистолярное наследие! Брат взволнованно рассказывал о каком-то шахтёре,

который берётся издать письма: «Настоящую книжку, понимаешь? У него блат в издательстве. Чёрт, я забыл название, ну это потом, а сейчас ему нужны письма, все, полностью, там даже не будут ошибки исправлять!»

Бред, ноль здравого смысла. Почему шахтёр, с каких пор шахтёры издают книги? Алик приехал через час, и стало понятно: пьян, отсюда вся нелепица. Правда, вином от него не пахло, но глаза блестели, да и говорил он странно, словно давясь словами, повторяя одно и то же по несколько раз. Я говорю – могу наизусть – я же слово в слово – нет, ему не подходит – он звукозаписями не занимается – такой дядька – чтоб ты знала – ну, то есть вообще... мужик уникальный – у него блат есть – где всяческие мемуарандумы... ну, воспоминания, в общем, – а письма нужны, чтобы настоящие – хотя я слово в слово – всловослово помню – даты нет – а что написано помню –

Хотелось его встряхнуть, как она делала с маленьким, чтобы натянуть рейтузы, хотелось губами дотронуться до лба – это был настоящий

бред, а пальцы двигались, вязали узелки невидимой нитки. Ника отвела взгляд.

– Алька, что с тобой?

– А что?

И сам ответил:

– Ни-че-го.

– Позвони завтра, поговорим.

Он не позвонил – и не виделись несколько лет до нечаянной встречи в очереди за мороженым. Она как сейчас видела маленькую Наташку на скамейке рядом с Аликом – улыбающимся, совсем взрослым.

Он обрадуется письмам. О мифическом шахтёре вспоминать не надо, конечно.

До Хельсинки два с половиной часа. После короткой разминки в проходе усталость отступала, но скоро снова захлёстывала свинцовой тяжестью. Веки смыкались сами собой, глаза требовали отдыха. О том чтобы ехать прямо к брату, не было речи. Схватить такси, высадиться на снятой квартире и рухнуть,

отоспать эти бездарные двое суток – или трое? – нескончаемой дороги. Двадцать первый век, боинг, но путешествие тянется, как некогда то, давнее, в Одессу с матерью; не полёт, а *потяг* – неспешный, замедленный.

Так сколько времени прошло? Вылетела вечером девятнадцатого, ночь в самолёте; Франкфурт... Складываются, словно в калейдоскопе, картинки: спящие мусульманки в чёрном, инвалид в кресле, которого провёз мимо человек в форме, а сидевший смотрел надменным взглядом ни на кого, поверх голов, и встречные отводили глаза. Потерянный и обретённый телефон, сверкающая голова бармена, молодая женщина с ребёнком: он изгибался, свешиваясь из её рук и хныча, хныканье переходило в рёв, и мать совала ему в рот пустышку. Муравьиная суeta у табло, рейс, отложенный по причине тумана – или по туманным причинам; опять очередь, а потом желанное, хоть и вынужденное, одиночество гостиницы. Вторая ночь в искусственном мире,

отсечённом от привычного. Наутро снова security – кроссовки долой, поза Леонардо да Винчи, *нагим пришёл я* – безгрешные проходят, облегчённо вздохнув, и парень прыгает на одной ноге, пытаясь второй дотянуться до перевёрнутого башмака. Рейс на Хельсинки: сканирование билета, паспорта – и пожалуйста в небеса сквозь освещённую кишку туннеля, словно весь метаболизм повернули задом наперёд. Стюардессы приветливо улыбаются: Welcome! Каждому та же доза приветливости, такая же улыбка, как часть форменного костюма. Блондинка напомнила Лору: губы бутоном и высокие полукружья бровей.

...Тот год с самого января пошёл криво. Перелом руки у свекрови, тяжёлый грипп у неё, затем у Ильи Борисовича (для простоты между собой их называли родителями). Беготни хватало, работы тоже. Дети жили свои отдельные жизни, приезжали на каникулы; дома стало тихо. Самые близкие друзья перебрались во Флориду, другие, поглощённые своими

делами, звонили редко; дружбы с американцами были милым времяпрепровождением, на которое не было сил. «Одни проблемы, скорее бы лето. Поедем на океан», – мечтал Роман.

До лета было далеко, дальше чем до океана.

В один из весенних дней муж позвонил с работы: «Встретил в метро свою одноклассницу, Лору – я говорил, помнишь? Она в Москву замуж вышла. Я пригласил её вечером. Ты не против?».

Ника не помнила, но обрадовалась: свой человек для Романа, тем более из детства. Новая ниточка, общение; одной проблемой меньше.

Получилось иначе.

...Она допила воду и сидела, бездумно вертя в пальцах пластиковый стаканчик. Удивительно, что перед глазами замелькали только фрагменты – чёткие картинки, как слайды в диаскопе. Соединишь – и получится

что-то вроде диафильма. Фигура на пороге.
Тонкие, ровно выщипанные брови, серые глаза, уверенный взгляд в упор; сочный бутон рта, чуть подкрашенный; светлые прямые волосы, льнущие к щеке.

– Знакомься, это Лора. Моя одноклассница.

– Очень приятно; Вероника.

– Мы будем дружить, – заявила женщина безапелляционно.

При каждой встрече Лора всегда обнимала её – видимо, это входило в пакет «мы-будем-дружить».

Невысокая женщина с огромной грудью проходит к дивану, садится, красиво поставив безукоризненные ноги. Сеточка чёрных колготок.

Наверняка мужики непрерывно пялятся, притомившись от упакованных в джинсы женщин.

Роман – оживлённый, радостный, бокалы звенят в руках: «Лора, тебе красное или белое? Ты

любила красное». Роман, мечущийся в поисках пепельницы.

Поиски, Ника знает, безрезультатны – сам и выкинул, бросив курить.

Роман несёт блюдечко с виноватым видом.

Или почудилось, и вид был вовсе не виноватый, а просто новый человек в гостях, вот и суета.

Красивые Лорины ноги в клеточку аккуратно вытянуты вдоль журнального столика. Она ставит бокал и рассказывает, отводя волосы со щеки.

Лора занималась куплей и продажей жилья, о чём и рассказывала. В разговоре часто мелькало слово «муж» и странное выражение «по жизни». Прощались поздно, Лора пообещала звонить и приходить. Картинка с озабоченным Романом: *они разводятся, Лоре необходима дружеская поддержка, пойми.*

Невозможно было не посочувствовать. Остаться в одиночестве в таком возрасте, даже при Лориных статях, неуютно. Холодно. Страшно. Но что значит «по жизни»? По

поверхности, не внутри жизни? Или «пожизненно»?

Потом она летала в Норвегию на конференцию. Роман встретил, как обычно, расспросил об Осло. Как наши, спросила Ника. Паршиво, нахмурился муж, и на тревожное «что?!» покачал головой: *Лора меняет адвоката.*

Слово «наши» включало детей и родителей. Пока Вероника делала доклад и слушала выступающих, Одноклассница стала «нашей».

Она выполнила своё обещание – приходила часто с неизменным: «Я соскучилась ужасно!» и столь же неизменным объятием, словно расстались год назад. Увернуться, не обидев человека, у Ники не выходило. Как-то решилась: извини, руки мокрые. Себя не видишь, однако *картинка с Лорой, застывшей с раскинутыми руками*, стоит перед глазами. В доме появилась разлапистая бронзовая пепельница. Наверное, так выглядит перевёрнутый панцирь черепахи, подумала

Вероника, рассматривая уродину. «Стильная», – одобрила Лора.

Время летело, близился конец семестра, работы было с перехлёстом, и сосредоточиться на Лориной болтовне не получалось. *Мы будем дружить.* Однобокая выходила дружба, без участия Ники, и она чувствовала себя виноватой.

Под аплодисменты и жестяной смех из телевизора Роман подливал вино и слушал Одноклассницу. Лора делилась случаями из практики. Рассказывая, она взмахивает рукой, во второй держит бокал, и под майкой колыхается мощная грудь.

Извинившись, Ника возвращалась к студенческим работам. Напряжённый график ли тому виной или приелись легенды о недвижности, но табачный дым и частые посиделки стали утомлять.

Слайды меняются. На каникулах Наташка увидела Лору: «Мам, она cool, really! Крутая тётка. Где ты её взяла?» – «Папина одноклассница».

Лора плачет и хватает салфетки из коробочки. Сейчас Натка не сказала бы, что она cool.

Одноклассница щедро делилась неприятностями, которые выпали ей «по жизни». Развод затянулся. Адвокат стоил огромных денег. Лора не могла жить под одной крышей «с этим подонком» и некоторое время мыкалась у друзей, пока не сняла «зверски дорогую» квартиру (видимо, опыт с недвижимостью не помог).

Значит, есть близкие друзья, с облегчением подумала Ника, раз она смогла перекантоваться.

Лора под постоянным стрессом, она вся в долгах. Лора продаёт «люксовую квартиру» на Манхеттене, почти продала «люксовую квартиру» аж на Манхеттене, но банк... но клиенты... в общем, сделка сорвалась. У Лоры «по жизни» всегда так: облом. Адвокат прислал письмо – требует очередной взнос. А денег нет. И на психотерапевта тоже нет, зато есть

бессонница, и без психотерапевта хоть с Бруклинского моста кидайся.

Лора прочно заняла место в углу дивана и в центре их жизни. Лорины проблемы множились, и Веронику с Романом втягивало в эту воронку. Нужно было переживать и чувствовать, ненавидеть и негодовать вместе с Лорой. Нужно было брать её с собой в гости («познакомьтесь, это моя одноклассница, мы встретились в метро...»). Нужно было жить её интересами. На свои не хватало ни времени, ни ресурсов. Лето шло к концу, ни на какой океан они не поехали. Лора обещала отдать деньги после развода.

Мелькают слайды. Одни проскальзывают и быстро исчезают, другие висят перед глазами, словно проектор испортился. *Лора с сигаретой что-то кричит в телефон. Она же в дверном проёме, на ней короткое платье-майка в полоску, голые загорелые плечи, голые восхитительные ноги. Следующая картинка: Лора в углу дивана, Роман в кресле напротив. В комнате висит*

молчание – плотное, насыщенное. Никто не заметил, как она вошла и тихо, словно это было важно, вышла. Никто из двоих её не видел, хотя они не смотрели друг на друга и молчали. Молчание хотелось раздвинуть руками, таким оно было плотным.

...Она бродила по музею Метрополитен и долго рассматривала портрет Филиппа IV, рыжего верзилы с пухлыми губами и длинным обиженным лицом. Принято восхищаться – не королём, а Веласкесом.

И что делать теперь, если ты дура набитая, разводиться? Пойти по следам Одноклассницы? Хотя, может, ничего в комнате особенного не было, просто Лора рассказывала Роману что-то такое, что не смогла сказать в её присутствии. Но Лора молчала, как и Роман. А зимой, когда она без слов выставила ногу в расстёгнутом сапоге? Роман стоял на коленях, затягивая визжащую молнию, то и дело поднимая глаза, а Лора глядела сверху вниз и смеялась, и смотреть на это было почему-то неловко.

Вероника застёгивала сапоги сама. После этой молнии комната, наполненная напряжённым предгрозовым молчанием и чем-то ещё, чему не могла подобрать название, уже не казалась странной.

Она решила спросить открытым текстом. И – не сумела, но муж угадал невысказанный вопрос.

– Что ты себе напридумывала? Ничего не было, мы разговаривали! – кричал Роман. – Что тебя подкинуло? Мы с ног сбились: была – и пропала.

«Мы», «мы». Горящая на воре шапка, отчётливый запах палёного. *Мы*.

– Ну в самом деле. Нельзя же так. Я не знал, где тебя искать.

– Ничего особенного. Решила сходить в музей.

Голос не сел и не дрожал.

День кончился. Или кончилась жизнь? Оставим Бруклинский мост и психотерапию Лоре. Жизнь продолжалась, только иначе, когда

произносишь не те слова, смотришь не в глаза, а на собственные руки, на мебель, и делаешь то что всегда, но не то что нужно. Не фальшивишь, а играешь по другим нотам и другую пьесу. Жизнь, но другая. «Надо уметь прощать», – укоризненно покачала головой Алиса Марковна.

Значит, есть что прощать, и свекровь отлично знала.

Они разошлись без развода. На казённом языке процесс называется *separation* – сепарация. Как сливки от молока, как творог от сыворотки. И как невозможно полностью удалить сливки (какая-то часть их останется в молоке), так и им не удалось *стареть по отдельности*; оно и к лучшему. Невозможно развестись полностью, слишком близки они стали за общую жизнь: с общими привычками, словами, чувствами, как бы странно это ни казалось. Если зрела ссора, спасало молчание; подступающую ссору можно *замолчать*, затоптать, как разгорающийся огонь. И помогало чувство юмора.

Вот одноклассницу «замолчать» не получилось.

Оставшись одна, Вероника думала, как сложилась бы жизнь, если бы в тот день ушла не она, а Лора, но перед глазами вставала музейная галерея, капризное лицо Филиппа с его лепестковыми губами. Что случилось «по жизни» с Лорой, она не интересовалась. А стюардесса... случайное сходство. Бывает.

...итак, это третьи сутки пути. На часах одиннадцать, утро не кончается. Сама виновата: во Франкфурте перевела часы на европейское время, теперь полная чехарда. Хорошо, что взяла английский детектив – настоящий, докомпьютерной эры; лучше любого транквилизатора. Закладка на пятьдесят шестой странице, начало главы: “A new grave appeared, next to...”

Лучше бы не открывала. Забыть его в самолёте, затолкать поглубже в карман, под

заученный припев стюардессы *pleaseplease-don't-leave-your-personal-belongings*,, пусть кто-то другой обнаружит новую могилу на пятьдесят шестой странице. Потому что так именно случилось в прошлый приезд: от автобуса до кладбища, сквозь ворота, знакомые с детства, направо центральная аллея, незаметно сужающаяся в тропу. Вот и скамейка: пришла. Старый клён ещё зеленел, охраняя вечный покой, а в обе стороны протянулись густые кусты ограды. Скамейка – благо, чтобы не переминаясь с ноги на ногу, как на нью-йоркском кладбище, где нет ни места ни времени для грусти или молчаливой неспешной молитвы; какая скорбь, если негде дать отдых усталым ногам.

“A new grave appeared”, именно так и было. Вернее, ко времени прихода Ники могиле исполнилось уже два года. Некая Волгина явно не позаботилась о последней недвижимости заранее, поэтому наследники сэкономили: имя и

даты были выбиты мелким шрифтом, и только надев очки, Вероника прочитала надпись.

Волгина Лидия Донатовна.

Алику раскрылся смысл загадочного до сих пор афоризма «спасение в работе». Может, автор, как он сам, таскал тяжёлые корявые ящики? Немилосердно ныла спина, мозоли на руках загрибели. Каждая щепка норовила воткнуться в ладонь. Марина заставляла его погружать руки в тёплую воду, вытирала его распаренные клешни и тонкой иглой вытаскивала занозы, потом смазывала руки кремом. Он моментально впитывался. *Как в промокашку, улыбалась жена.*

– Смешное слово! Что такое промокашка?
– спросила Лера.

Верно: в школе давно писали шариковыми ручками, дочка не могла помнить шершавые розоватые листки, вложенные в тетрадку. Промокашки исчезли за ненадобностью. Бывало, мать покупала то пластиковый чехольчик с тоненькими фломастерами, то тетрадь непривычного большого формата с

яркой скользкой обложкой; открывала первую страницу, что-то начинала писать... Её пристрастие Алик понимал, но никогда не видел написанного матерью, тетрадка пропадала.

Влад не показывался, но напряжение не отпускало. Холодная тяжесть, осевшая в животе, поселилась там прочно. Шок от его прихода высветил внезапную догадку: Влад нагрянул не случайно – выследил, ведь Алик несколько дней подряд ездил к матери. Адрес в договоре тоже был указан тот, её, не хотелось тёщину квартиру засвечивать; спасибо, что туда не нагрянул.

Он протянул руку за бутылкой – лёгкая, почти пустая; взболтал: на глоток хватит. А, теперь уже всё равно – Лера купит в честь американской тётушки. Про заначку за Грибоедовым она не знает. И не надо.

Хватило на два полноценных глотка.

Сколько времени прошло, пора бы появиться дорогой гостье? Сколько вообще времени? Наверху тихо – соседи на работе. Вчерашнего шума хватило надолго: что-то двигали, роняли, возмущённо и жалобно взвизгивала дрель.

Она войдёт и ужаснётся, как он ужаснулся, в первый раз увидев эту квартиру. Пусть ужасается – ему видно не будет. Она там, в своей Америке, небось в особняке живёт из восемнадцати комнат, или сколько их там. Изумрудный газон, рыжая собака с волнистой шерстью, в бассейне лазурная вода... Хороший контраст с этой ободранной тесной квартирёнкой, которую никакой евроремонт не спасёт. Как об этом рассказать?

А рассказать надо. Чтобы вернувшись вспоминала, когда будет плескаться в своём голубом бассейне. Да, сестрёнка, я живу не в Америке, но стыдиться мне нечего: своим горбом кусок хлеба зарабатывал, посмотрела бы ты на мои руки – не сейчас, а тогда. Ты

слиняла, когда тут ещё советская власть стояла, когда в магазинах были одинаковые цены: литр молока сорок шесть копеек, буханка чёрного – четырнадцать копеек, белый батон – двадцать две, хала по сорок копеек... И никому не мешал удушливый запах честного хозяйственного мыла. Зефир в шоколаде – рубль девяносто коробка! Клюква: коробку откроешь, а там белые шарики лежат, клюква в сахарной пудре. Ты разрешала мне слизывать слой пудры, она была похожа на тонкий снежный наст, а сама ела клюкву... Ты сейчас тоже не любишь сладкое? Пачка самых дорогих советских сигарет – шестьдесят копеек, синяя такая пачка, «Космос». И за квартиру – не за эту нору, а за прежнюю, где мы с матерью жили, – смешные деньги платили: две комнаты, лоджия, все дела – двадцать восемь, что ли, рублей. Зряплаты, конечно, пустяковые были, но мать могла шикануть – не «Космос» курила, а «Кент» или «Мальборо», добывала где-то. Когда капитализм объявили, никто всерьёз не принял, это потом,

когда началась чехарда с бабками – то республиканские рубли, то ещё хрень какая-то, пока не наступила твёрдая валюта, так и разъяснили. Валюта твёрдая, жёсткая, а цены гибкие: взлетели выше крыши. Марина бегала в поисках той самой буханки чёрного, чтобы сэкономить два-три цента – бегала пешком, транспорт подорожал. А Лерка порвала колготки, на новые денег нет, ревела белугой: «Я не пойду в школу» ...Не колготки, так что-то ещё. Отменили школьную форму – и стало понятно, чьи родители бабки делают, а чьи нищebroды. Утром идти в школу – как на бал к английской королеве, чтобы видели, чей папаша сколько стоит; никому пощады не было, сестрёнка, хоть и дети.

Ты приехала из социализма прямо в империализм, а мы тут кувыркались, куда нас из «совка» совком вышвырнули, как песок из ведёрка в песочнице. Новые деньги, новые цены, новые законы. Приватизация; мать сразу приватизировала квартиру – ту, прежнюю, –

причём вышло даже не сильно дорого. Потом уже накрутили цены на газ и воду, так что платить пришлось не двадцать восемь и не рублей, а – «твёрдой валютой». Тёща встрепенулась и тоже приватизировала, приговаривала: «какое-никакое, а своё жильё».

Алик стряхнул пепел и затянулся снова. Надо про бизнес – аккуратно... Голова немного кружилась. Он поправил табуретку и сел устойчивей.

Я после газеты, сестрёнка, в книжном магазине работал. А когда капитализм объявили, магазин закрылся: людям стало не до книжек. Я организовал бизнес (о Владе не надо). Бизнес привычный – книжный, типа кооператива; арендовал типографию, ну и понеслась. Жена уже копейки не считала, мы собирались квартиру покупать. И купили бы, но

тут рэкетиры наехали. Круто наехали; никаких бабок не хватало. Мать долбила: надо платить, они не отстанут; а чем платить?..

Обжёг пальцы. В пачке нащупал четыре сигареты. Лера привезёт. Он закурил новую. Лёгкая пластиковая зажигалка, юркая и невесомая, чуть не выскользнула в раковину. Сволочь Зеп. Другая есть? Надо проверить кухонный ящик.

...Я шёл на поклон к тебе, сестра, деньги нужны были во как! И что? – Поцеловал замок. Чужая псина меня облаяла, чужая баба доложила, что ты в Израиль умотала. Или в Америку. Сбежала. Боялась, что денег попрошу? Заграница – это надёжно, туда не дотянуться. Или боялась, что не отдам? И правильно: нечем мне было бы отдавать, а занять не у кого. Был

бы Жорка – дал бы без вопросов. А знаешь, кто помог?..

Это был самый обыкновенный вечер, и начался он обыкновенно: Алик скинул тряпье, которое носил на работу, сунул руки в тёплую воду; Марина приготовила иголочку – заноза впилась в основание большого пальца.

– Знаешь что? – голос у неё был загадочный.

– Откуда? – подыграл Алик. Она любила напускать на себя таинственность.

– Сказать?

Он знал: расскажет. Небось купила дочке что-то на распродаже.

– Тебе, что ли, не интересно?

– Ещё как интересно.

Он старался не дышать в её сторону.

– Больно!

– А перчатки?

Признаться, что перчатки давно
спионерили, не хотел.

– Больно же!..

– Не дёргай руку, я тихонько. Всё; вот она,
смотри.

Убрала иголку, вернулась.

– Алик, у нас будет мальчик. Вот увидишь:
мальчик, я чувствую.

–

– Ты не рад?..

Её глаза делаются большими от слёз.

– Ты рад? Скажи, рад?..

Он обнял её, прижался губами к волосам,
чтоб она не видела его растерянности. Какое
там «рад». Он был пристукнут, ошеломлён, и как
объяснить смятение, видя у твоего плеча
счастливое лицо, подрагивающие губы – не от
слёз уже, а от улыбки.

Со стороны посмотреть – мексиканский
сериал, тётчин идол; да ведь он не со стороны

смотрел. Решили пока не говорить Лере; пусть обрадуется потом.

На улице громко, жалобно и настырно заныла сирена чьей-то машины. Где-то мечется хозяин в поисках ключа или бежит к своей тачке: вдруг угон? У меня самая крутая сигнализация, хвастался Влад. Алик понимающе кивнул (это ожидалось), а про себя хмыкнул: размечтался – на каждую гайку свой болт найдётся, на твоего «мерина» тоже.

Сирена смолкла, точно младенец, получивший материнскую грудь.

Работу Марина не бросила: целый год после родов оплачивают. Дочка приняла новость очень трезво: «Поздравляю, но на меня не рассчитывайте – поступаю в техникум». Она выбрала текстильный – конкурса почти нет, от дома два часа на поезде, дают общежитие. Лера

рвалась на свободу, в самостоятельную жизнь, и плевать ей было на всё остальное. Кончался май, распускались ирисы; мысли о Владе посещали реже, холод в животе растаял, и казалось, что замухрышка в кожаной кепке навсегда пропал из его жизни. Дочка выросла. Появится малыш и тоже вырастет. Будущий ребёнок для Алика не был ни мальчиком, ни девочкой – абстракцией, мутным фантомом во влажном тепле родного тела.

В магазине отремонтировали подвал. У Валюхи появились новые поставщики. Пропал загадочный человечек без подбородка, всю документацию вела она сама. Сыновья много времени проводили в подвале. Теперь они не просили деньги у матери, а числились экспедиторами и расписывались в ведомости. Новые экспедиторы прищёпывали яркие наклейки на прибывавшие бутылки. Ассортимент расширился: появился полузабытый коньяк «Белый аист», армянский «Арарат» (Алик помнил его по запасам Эндрю),

какие-то экзотические «бренди». Грузчики попробовали: забористый, собака. Распили бутылку, пока Валя говорила по телефону. Шибает, оценил Алик.

Вечером он застал дома мать, весело болтавшую с Лерой.

– Что-то случилось? – Алик насторожился.

– Пока нет, но случится.

Лера пошла с телефоном в ванную, кудрявый шнур тянулся сзади, как поводок.

Мать протянула сложенный листок.

– Из почтового ящика достала.

Алик пробежал глазами: «Судебная повестка... в качестве лица, привлекаемого к административной ответственности...». Взгляд фокусировался с трудом.

– И что теперь?

– Пока ничего. – Лидия закурила. – Повестка на мой адрес. Учти: он не отцепится.

– Меня посадят?..

– Если не заплатить, обязательно посадят. Эта цидулька – сигнал, он сам и принёс.

На безмолвный вопрос Алика терпеливо пояснила:

– Раздобыл бланк, вписал тебя ответчиком и бросил в ящик – мол, разберёшься. Номера нет, печати тоже. Повестку вручают лично, под расписку; запомни на будущее.

Мать встала: много дел, спешу.

Почему ты молчал, почему ты молчал, в отчаянье повторяла Марина. На тебя повесят растрату, долги, банкротство... Там было про банкротство? Твоя мама права: заплатить дешевле, но...

Ты знаешь, как это бывает, сестра, когда всё разбивается вдребезги? Мать нудила каждый день: особенно теперь, особенно теперь. Из-за ребёнка.

Больше деньги не обсуждали: толку-то. В глубине трепыхалась вялая надежда на то, чего не бывает – на чудо: *ну пожалуйста, только в этот раз, я же никогда ни о чём не просил, а?..* Хотя просил, и не раз, но это не считается; теперь иначе, теперь Марина, взгляд её, от которого некуда сбежать. Она вязала что-то крохотное, кукольное; в тёщином шкафу нашла старые дочкины распашонки. Марина ждала мальчика. Алик – тюрьмы; ребёнку – мальчику ли, девочке – в его мыслях не было места, всё вытеснила бумага со страшными словами про суд, и временами почти хотелось, чтоб он начался – и кончился поскорее, с любым итогом, лишь бы не думать о нём больше.

...давно наловчился открывать новую пачку сигарет, а вначале подолгу мучился, нащупывая и ловя тоненький лукавый слюдяной хвостик: дёрни за верёвочку, дверь и откроется. Закурил и выдохнул дым в чёрную пустоту, где

сам он и хозяин: вернулся с работы, в голове приятный хмельной туман, под руками прохладная клеёнка стола, дым уходит в тесное кухонное окно старой тёщиной квартиры. Сейчас за стенкой стукнет дверца тумбочки и выйдет Марина: опять накурил?.. И протянет очередную тряпочку: помнишь, это твоя мама подарила?

Ничего не помнил. Пробегал мимо почтового ящика, не поворачивая головы: вдруг там повестка? Мать говорила, должны из рук в руки – нужна подпись. Увидев почтальона, перебежал на другую сторону, кляня себя за трусость. Надвигал на лоб козырёк выгоревшей джинсовой кепки, постоянно носил солнечные очки.

– Ох, и дурак я был! – объявил громко, подняв голову к потолку. – Редкий болван: солнца боялся; а сколько того солнца видеть оставалось?!

Дурак: боялся Влада, повестки, суда.
Другого надо было бояться, да кто знал. Ещё
дымилась та сигарета, когда зазвонил телефон,
и Марина протянула трубку: *твоя мама*.

– Грузчиков обеспечишь? Я переезжаю в
четверг. Всё, жду!

Ты не поняла, сестра, кто помог? Я тоже
сначала не понял. А просто мать продала
квартиру. Ту, приватизированную, где мы с ней
жили (и куда ты ни разу не пришла), классная
была хата: три комнаты с балконом, удобная
кухня, мусоропровод. Продала – за доллары
ваши зелёные! – чтобы деньги Владу отдать.
Она сама нашла агента, тот привёл покупателя...
Большую часть мебели продала и переехала в
эту дыру, можешь убедиться. Считается –
однокомнатная квартира, у вас в Америке
небось такую нору днём с огнём не сыщешь. А
вон там закуток вроде аппендикса, видишь?
Мать втиснула туда диван и назвала его
«прокрустово ложе». Мало ли, говорила, вдруг
кто-то приедет – заночует.

А кого она ждала, не тебя ли?..

Никогда такая мысль не приходила в голову, а сейчас, репетируя разговор, подумал: вдруг она и впрямь её ждала?

На том диване мать и умерла; но в солнечный день переезда до этого было далеко. «Хозяйка, куда книжки лóжить?» – орали грузчики (спасибо, Валя отпустила на полдня). В этом закутке и складывали расползавшиеся стопки – расстаться с книгами мать не могла. Потом читала другие, в скользких переплётах, с пышноюбочными блондинками и широкоплечими соблазнителями на обложках. Что она в них находила?

Сумму не назвала. Про доллары сказала: скучные деньги – все зелёные, как трёшки... помнишь? Ещё бы не помнил, но здесь бабло серьёзное, не трёшки. Сколько бы квартира ни стоила, во все времена действует железный закон: недвижимость всегда дорожает. Она

уверяла, что сделает из этой «квартирки» конфетку, *здесь будет уютно, вот увидишь; главное, что светло, правда?* Действительно, свет скрашивал убогость, и Лидия принялась наводить уют. Он красил подоконники, мать строчила занавески. Марину, с выпирающим животом и отёкшими ногами, мать отправила домой.

Закрыть глаза – открыть; эффект одинаковый, помнишь не глазами. С лестничной площадки дверь открывается внутрь и крадёт место у прихожей, и без того тесной. На стене ввинчены крючки для пальто, а дверь в комнату, по злой иронии, тянуть надо на себя, так что прихожая превращена в мышеловку с двумя входами. Войдя, спотыкаешься о туфли, в это время на голову падает одёжная щётка.

«Сколько мне места надо, – повторяла Лидия, – к чему те хоромы?». Голос весёлый, а в глазах тоска. Зато как она радовалась: никакой

суд тебе не грозит! И комната просторная, света много.

Светлая комната примиряла с прихожей. На кухне (гибрид тамбура и курятника) с трудом уместился буфет и крохотный стол, от стульев пришлось отказаться – мать заменила их ненавистными табуретками, на одной из которых Алик сейчас и сидел. «Чудесная квартирка, – чирикала по телефону мать, приглашая подруг, – идеальная келья для холостяцкой жизни. Ничего лишнего! Новоселья не устраиваю, просто попью чаю».

В описании новой квартиры санузел именовался «компактным». Сортир для Дюймовочки, хмыкнула мать, зато избавлюсь от своего мастодонта. Так она раньше называла письменный стол отца, а теперь стиральную машину. На машину положила глаз дворничиха, суетившаяся рядом, и вечером того же дня её муж уволок трофеем. От вопроса «сколько», Лидия отмахнулась: «Советская стиральная машина, ей в обед сто лет!»

Несколько дней назад она рассталась с любимой квартирой и вещами, огромной суммой денег – и... Дворничиха рассыпалась в благодарностях и спрятала кошелёк.

Удивительны не перемены, а привыкание к ним. Мать привыкла к тесноте, шуму за стенкой и наверху, привыкла закрывать кухонные шкафчики, чтобы, при её росте, не расшибить лоб. Остатки мебели расставила, воссоздав географию своей прежней комнаты, хотя из двух секций осталась одна, вместо старой «Лиры» привезли диван... Алик облегчённо вздохнул, проводив тахту: как ни старайся думать о другом, пальцы вязали невидимые узелки. «Алёша бабки считает», – острили грузчики.

Он приезжал сюда, что-то двигал, укреплял. Новизна стёрлась – иногда казалось, что квартира прежняя, просто не заходишь в другие комнаты. Чего-то привычного не хватало... Мебель, книги расставлены, любимая матерью керамика на тех же полках.

Алик огляделся и не поверил своим глазам: отец?.. Портрета не было ни на одной из стен, ни в глухом закутке, где стояли нагруженные коробки, ни на кухне. Хотел спросить и спросил бы тем же вечером, если бы Марину не забрали в больницу.

Ваша жена была похожа на мать? Какие между ними были отношения?

Психотерапевт сажала его на кожаный диван, и он боялся пошевелиться, чтобы не соскользнуть. Шуршание перелистываемой страницы (она что-то записывала), шорох и скрип стула. Тётка ждала ответа. Что-то тикало, как часы. Бомба у неё тут, что ли? Так я и рассказал. Или устроить ей театр одного актёра? Может, тогда больше не нужно будет сюда мотаться?

– Моя жена... Моя мать...

Продолжайте, пожалуйста.

– Мне трудно найти нужные слова... Мать... она сразу полюбила мою жену. Жена восхищалась мамой. Общие интересы спланивали, конечно. Они ходили в театр, а потом обменивались впечатлениями за чаем.

Интересно, откуда выскочило слово «спланивали», сроду не употреблял.

Они вовлекали вас в свои беседы?

Ключула!

– Временами да, но я не всегда ходил с ними. Чаще они мне просто рассказывали.

Ваша детская травма не мешала отношению жены к матери?

Сволочь!! Откуда она знает? Он впервые благословил слепоту, эта гадина ничего не прочитает в его глазах. И поднял брови.

– Но моя нога давно зажила.

Вопросительная интонация удалась, недоумение тоже к месту. Знает из истории болезни, вот откуда. Зато про «ножички» ни черта не знает.

Врачиха озадаченно помолчала.
Помучайся, дрянь такая, злорадно подумал
Алик.

Мы с вами встречаемся, чтобы вам помочь.

– Вы можете вернуть мне зрение?

Нечаянно вырвалось.

*К сожалению, это не в моих силах. Я помогаю
вам избавиться от тревоги. Вы должны
расслабиться.*

Чтобы расслабиться, мне нужно покурить.
Он потянулся к нагрудному карману, где
сигареты.

Прошу прощения, но в клинике курить нельзя.

Да что там у неё тикает, чёрт возьми?
Спросить, что ли? Но не решился.

Какая у вас в детстве была любимая игрушка?

На таком диване ни сесть ни лечь. Она
снова об игрушке. Поддержать паузу.

Мне покупали много игрушек. А любимая...
Самолёт, пожалуй. Такой на колёсиках. Я не
знаю, продаются ли такие сейчас.

Вот здесь озаботиться, вдумчиво
нахмуриться, словно погрузился в
воспоминания.

*Попробуйте рассказать о том дне, когда вы
вернулись из школы...*

Раздался громкий, настырный звонок.
Алик вздрогнул.

Наше время истекло, встретимся через неделю.

Будильник. Это будильник тикал. А вот
хрен мы встретимся через неделю.

DEAD END.

– Нет! – громко повторила Вероника. –
Почему Волгина, ведь Михайлец?..

Ни один лист не шевельнулся.

Вышла замуж? За восемьдесят пять
прожитых лет можно было сделать это не раз, и
господин Волгин, кем бы он ни был, явно
здоровствовал – его могилы Ника не
обнаружила.

Встреча представлялась иначе – как
удобно, но не так. Они могли столкнуться на
улице, в магазине, под навесом троллейбусной
остановки.

...как и произошло весной незабываемого
семьдесят пятого, когда всё называлось тёплым
словом «Мишка». К нему на свидание Ника и
спешила, высматривая троллейбус.

– Я тебя по всему городу ищу!

Вот уж эффект неожиданности. Десять лет прошло, а тон у матери был непринуждённый, словно расстались вчера на пару-тройку дней.

– Зачем?

– Очередь на квартиру подошла. Твоя подпись нужна.

Стоявшие на остановке прислушались.

– Отойдём, я не спешу.

Зажёгся зелёный свет, они прошли в сквер.

Зато я спешу, раздражалась Ника. Мать села на скамейку, закурила.

– Раз в жизни можешь и выслушать, тебя тоже касается, – она выдохнула дым. – Поскольку у меня разнополые дети...

Мать легко жонглировала казённой терминологией. При разнополых детях каждому предоставлялась отдельная комната. Достав какую-то справку, Лидия щёлкнула шариковой ручкой: «Подпиши, что ты согласна».

– Мне двадцать пять лет. Я не буду с вами жить.

– И не надо. Была бы честь предложена. Речь идёт о том, что три комнаты лучше, чем две. Тебе безразлично? – И сама ответила: – Да, ты никогда не жила интересами семьи.

– Разве у нас была семья?..

Лидия промолчала – терпеливо ждала; заботливо сдула с сумки пепел. Маникюр, изящный плащ, модные туфли; ни сединок в волосах.

– Очередь подошла. Я надеюсь, что хотя бы ради брата...

– Но у моего *разнополого* брата будет отдельная комната, разве нет?

– А ты не вернёшься домой?

– Нет. Извини, я спешу.

Мать сунула бумажку в сумку.

– Твоё дело. Но знай: когда мне понадобятся деньги, я тебя под землёй найду. Будешь алименты мне платить. Запомни.

Какие алименты?!

Абсурдное слово неожиданно обрело смысл через много лет, когда Роман и Вероника решили эмигрировать: среди рогаток, тут и там расставленных ОВИРом, фигурировала справка об отсутствии материальных претензий со стороны родителей. Поскольку свекровь ехала вместе с ними, необходимо было получить согласие Лидии. Воспоминание о разговоре на скамейке моментально ожило: квартира, исполком, *разнополые дети*. Роман отреагировал хладнокровно, как всегда: «Ну, вряд ли она всерьёз... Если потребует, заплатим отступные с продажи мебели – не миллион же?... И забудем». Алиса Марковна поддержала: «Заплатить всегда дешевле».

В какую сумму могут обойтись «отступные», Ника не представляла, и шла в адресный стол, снова и снова прикидывая,

останутся ли хоть какие-то деньги после продажи книг и мебели.

Через двадцать минут она вышла, но как очутилась на скамейке, не помнила – читала и перечитывала куцую бумажку:

«Михайлец (Подгурская) Лидия Донатовна, 1927 г. р., прописки в *** республике не имеет».

Женщина по фамилии Кузнецова заверила справку, подтвердив: «Нет, девушка, не умерла, все умершие здесь у нас обозначены. Скорее всего, переехала гражданочка».

Пропуск в Америку ценою в один рубль.

Облегчение: жива! Жива, ведь умершие у них обозначены.

К остановке подошёл троллейбус, и только тогда Ника узнала скамейку: та самая. Поднявшись, она положила справку в сумку странно знакомым движением, словно когда-то видела этот жест.

До отъезда побывала на кладбище, где в то время было намного меньше могил, и той, которую Ника боялась увидеть, не было тоже.

Лидия Донатовна Волгина умерла на восемьдесят шестом году жизни, пережив старшую сестру на тридцать лет.

Представить её состарившейся Ника не сумела: такой и виделась, как в их последнюю встречу на троллейбусной остановке: сорокапятилетней, со свежей кожей, в элегантном плаще. Они должны были встретиться раньше, при её жизни. Всегда казалось, что времени достаточно: приезжая и бродя по улицам, Ника внимательно вглядывалась в лица встречных. Эта туристская пристальность никого не удивляла, даже льстила: человек, приехавший впервые, хочет запомнить и увезти с собой всё, что видит в старом европейском городе. Незадачливая туристка кружила по только ей вёдомым

маршрутам, останавливаясь у киоска с надписью «ИНФОРМАЦИЯ», но никакой информации о матери и брате получить не удавалось.

Итак, она вышла замуж и переехала, как предположила Кузьмина, что ли, из адресного стола; но брат? Сама виновата: не взяла его телефон тогда, в парке, пока Наташка пила лимонад, и обоим было хорошо и понятно вместе?

...Ровные дорожки, в центре клумбы, на скамейках люди, пенсионеры кормят голубей крошками. Наташка – сколько ей было тогда, три? четыре? – внимательно смотрит не на «дядю Алика», а на мороженое, чтобы не испачкать новый джинсовый комбинезончик. Алик улыбается, рассказывает про дочку. *Запиши телефон, приходите в гости!* Будто он забыл тёткин телефон, ерунда какая. Ника была уверена, что придёт – они в кои-то веки спокойно болтали на скамейке, он курил и осторожно выпускал дым в сторону. Гордо

сказал: у меня дочка... Наташка зачарованно смотрела на струйку дыма и в этот момент мороженое вяло шлёпнулось на сандалик. Сколько рёву было!.. Спина бегущего брата: люди смотрят насторожённо, словно он украл кошелёк, а он уже возвращается и триумфально протягивает новый стаканчик с мороженым... Нет, мороженого не было, он купил лимонад, и Наташка припала к бутылке. Ника с Аликом переглянулись, подумав одно и то же: *попа слипнется*, – и прыснули, как дети.

Вот тогда и надо было взять у него телефон. Очень хотела верить, что он позвонит, придёт с семьёй...

Алик не звонил и не появился – ни один, ни с семьёй. А для Вероники темп жизни изменился: она достигла возрастного перелома, где на вершине не задерживаются – начинается спуск, а он всегда быстрее подъёма, но человеку кажется, что самое главное впереди, совсем близко, вот оно мелькнуло за углом... И дети растут незаметно, потому что всё время на

глазах; у Романа волосы на висках истончились, а студенты стали аспирантами; свекровь наклонилась, и стала видна дорожка пробора – седая, что так же немыслимо, как Илья Борисович без галстука. Илья Борисович, из верного спутника свекрови пожалованный званием супруга, не менялся, законсервированный в одном и том же облике: серый костюм, как и десять лет назад, покашливание перед осторожной репликой, всегдашняя тщательность в туалете, галантная манера называть женщину дамой и пропускать вперед, отодвигать для неё стул, держать наготове распыленное пальто... Вероника не заметила подкравшегося времени, продолжая разминивать его на каждодневную суету. Кусок жизни был потрачен на сомнения, сбор документов для ОВИРа, подготовку к отъезду, отъезд... Предупредить, увидеться, попрощаться не удалось – уже тогда в городской справочной Олег Михайлец не числился.

Потом началась Америка – строить в ней приходилось каждый отдельный день, продвигаясь осторожными шажками, строить по часам и вечером свалиться, чтобы во сне очутиться в Городе, где не надо говорить на чужом языке.

В тот тихий, неподвижный день на кладбище Ника поняла, как сильно ждала встречи. Перед глазами все годы стояла молодая, уверенная в себе недобрая женщина, какой Лидия была на остановке. Приезжая, Вероника видела меняющийся город и радовалась узнаванию, но вообразить, что брат старик, а мать в могиле, не умела. Разумом осознаёшь и пройденное время, и возраст в цифрах, но всё равно цепляешься за картинки. Хотя абсурдом было бы, останься брат молодым отцом семейства, а мать так и сидела бы на скамейке с казённой бумажкой в руке, будто невидимый фотограф щёлкнул, остановив

мгновение. Время просочилось песком между пальцами, оставив лица неизменными, как запомнились в последнюю встречу.

Увидеть её, чтобы спросить и рассказать. О чём? – о многом. О ней. О себе. Не успела; теперь не спросишь и не расскажешь. Зато теперь можно *мамкать*, и никто не услышит. И тебе никогда не узнать, где была правда, где ложь.

Вероника села на скамейку. Вот этот аккуратный прямоугольник земли в каменной рамке – мать. *Мёртвые сраму не имут*. И ничего не имут – даже землём, в которой лежат, они не властны распорядиться. Спросить у них ничего нельзя, да и не хочется. Какие могут быть вопросы или претензии к покойнику? Слово «мама» похоронено глубоко внутри, как она сама в земле. Смерть стёрла боль от унижительных слов: *никогда у тебя не будет своей жизни, ни один мужчина тебя не полюбит*. Дурное пророчество не сбылось, но ранило девочку-подростка – слова тех, кого любишь,

ранят особенно больно. Сейчас на скамейке сидела седая пенсионерка.

...в темноте спал Алик в обнимку с Зайцем, ещё не зная, что для него через несколько лет обрушится мир. Он переживёт тот страшный день и сохранит рассудок, но станет невротиком. Из-под двери виднелся свет. Мать не спала. Никому не расскажешь об её жестоких словах. *Я буду старой девой, как тётя Поля.*

Воображение не пускало представить Полину с длинными седыми распущенными волосами и в белом развевающемся платье – в представлении Ники старые девы выглядели именно так. Она бы сильно удивилась, узнав, что подруги матери, неудачливые бабы, как раз и были старыми девами.

Сказать было некому.

Потом, спустя несколько лет, многое прояснила Инка. «Манипулятор, – объяснила она. – Из тех, кому постоянно нужно быть в

центре внимания, заботы, любви, а тут дядя Боря решил вернуться в семью...» – «Витя. Дядя Витя, чтоб ему пусто было». – «Ну, дядя Витя. Ты сбежала к тётке, поговорить не с кем – это на Западе чуть что, к психотерапевту бегут; Алик не считается, а поделиться драмой надо. Вот человек и разыгрывает: а что будет, если я умру? Тогда пожалеют, оценят и раскаются. У неё депрессия была, ты же говорила о таблетках. Такими “самоубийцами” половина психушки забита. И потом... она же не знала, что Алик первым придёт – она Витю своего ждала. Вот, почитай». Инкина книжка объясняла включённый газ и распахнутое окно, порез на локтевом сгибе вместо запястья, незапертую дверь. Имитация самоубийства, любительский спектакль.

И вспомнился давно растворившийся во времени Мишка, который рвался познакомиться с будущей тёщей, «а то неправильно получается». Влюблённый, наивный, он выпил вкусный кофе, но яд был не в кофе – в словах.

Его не в чем винить, евреи не женятся на антисемитках. Но может быть, так и лучше: дорого ли стоила его любовь, если не выдержала шантажа? И выходит, нужно сказать спасибо скромному надгробию, коли не нашла сил сказать это раньше. Камень не слышит, а пожилая пара с бидоном воды, только что прошедшая мимо, не обратила внимания. Чтобы говорить с ушедшими навсегда, голос не нужен.

Ничего не изменилось – стояла та же неподвижная тишина, только громко прогудел поезд: там, где кончалось кладбище, пролегала железная дорога. Ровный, длинный и – по контрасту с покоем вокруг – тревожный гудок, от которого Ника вздрогнула. Или вздрогнула от вдруг осенившей мысли: мать не знала, что такое счастье. Не знала, но хотела понять, как оно выглядит и как устроено. Мишка, полный счастьем, оказался отличным объектом для эксперимента. Осталось проверить его на прочность: а если так?..

И – получилось!

О господи, взмолилась атеистка Вероника Подгурская, ларчик просто открывался... Мать никого не любила, даже «Пашу с Мелекесса», ходившего тенью за лучшей подругой. В том давно прошедшем времени Лидия тоже захотела проникнуть в счастье любви, и повела за собой чужого жениха: а если так?.. И ничего не вышло: счастье не состоялось, Пашка уехал и рухнула вся затея, вынеся в остаток младенца, нечаянного и ненужного. Деление в столбик.

Нищая послевоенная молодость, ожидание судьбы, танцплощадка после работы как средство сбежать из дому, в котором она сидела девчонкой-брошенкой, кормила грудью ребёнка. Ника хорошо помнила крохотный жадный рот, ищущий сосок...

...кормила и вопреки всему ждала чуда: вдруг встретится настоящий он – и наступит счастье, состоится жизнь. Годы нанизывались, как петли на вязальные спицы, ребёнок уже ходил в садик – спица подхватила и поволокла за собой новую петлю; подруги, старые девы с

таким же ожиданием в глазах и страхом одиночества, но мать его скрывала. После работы – в детский сад, потом домой, на Вторую Вагонную – жарить картошку. Ровесники давно расхватааны и сидят за семейными столами, а бывшие фронтовики на танцы не ходят, а дома на кухне скандальная Машка в затрапезе, но при муже. Появившийся на таком безрыбье Сергей Михайлец оказался спасителем от постылых вечеров, от одиночества, грозящего стать пожизненным.

Михайлец-молодец, Михайлец-удалец,
рифмовала девочка на Второй Вагонной. Он возник словно по щелчку – свободный, без семерых по лавкам, оживлённый, как Дед Мороз, и подцепил на вилку янтарный лепесток жареной картошки. Откуда он взялся – не проездом ли из Ужгорода? Как они познакомились?.. Э-э... Дети принимают чудеса как данность, как Иванушка-дурачок из сказки. Самое главное – появился папа, соседская Людка больше не сможет дразниться. Папа,

муж, Дед Мороз – и не могло ведь оказаться, что мешок его пуст и сам он не настоящий, а халтурщик из дома культуры с ватной бородой и в сатиновом псевдотулупе, не могло! Просто в жизни матери началась новая эра: отдельная квартира, семья; родился сын.

Так выглядело счастье. Или она назвала счастьем приятные бытовые перемены?

Сергей Михайлец гордился красавицей-женой и сыном. Однако по квартире слонялась нескладная девочка, вызывавшая недоумение и раздражение, как заусенец. Она росла, что требовало дополнительных расходов, была бестолкова – так и не научилась играть в шахматы, не умела делить в столбик. Вот Алик станет совсем другим...

...Несколько фигур мелькнуло за склоном, ещё. Вот показался и медленно, толчками на подъёме, проплыл гроб, за ним двигались люди с цветами в руках. У ворот сидят старушки, продают цветы. Говорят, они собирают свежие букеты с могил, сортируют, вяжут новые и

приносят на следующий день. У них покупать неприятно, словно крадёшь у чужого покойника, чтобы почтить память своего, но Ника не успела на базар. Однако можно прийти завтра или послезавтра.

...Она хорошо помнила свою неистовую любовь к маме, тоску по ней – в детском саду, в больнице. Восхищение – ни у кого нет такой красивой мамы! Жалости к матери не чувствовала никогда, разве что в тот день, когда удалец-молодец ушёл с чемоданом. А потом остались ярость и страх, что *тот день* может повториться. И страх за брата.

«Большое видится на расстоянии», сказал кто-то; но возрастная дальноркость – это ещё и зоркость возраста, которая позволяет рассмотреть не только большое, но и мельчайшие детали, без которых главное искажено.

Счастье Лидии – муж и комфорт отдельной квартиры. Семья, на зависть менее удачливым подругам. И трудно поверить в это

счастье, если ему мешали командировки. Нервничала, закрывала дверь и сердилась в трубку на мужа, на Ужгород, на всё что не она. Были ли это командировки, или – страшно подумать – Сергей Михайлец сделался центром чьей-то чужой жизни, которая требовала его присутствия и в результате поглотила его полностью? Муж уезжал – ускользал ужом – уходил и наконец ушёл по-настоящему. Что швырнуло в депрессию – его уход или стоявшее в дверях одиночество?

Вероника никогда не знала, где кончается затейливая ложь матери и начинается скучная правда. Брату было сказано: «Папы больше нет», но что это значило на самом деле? В войну посылали «похоронки» сообщить, что человек убит, его больше нет на свете; Лидия не проводила мужа в могилу. Никаких тёплых чувств Ника к Михайлецу не питала, но Алик потерял отца. Может быть, он узнал правду через много лет, или жизнь действительно

наказала делового командировочного, а с ним и сына?

Жесть, сказал бы Валерка, если б ему рассказать; но зачем взваливать собственное бремя на детей? Тогда бы пришлось объяснить, что её мать никого не любила, просто не умела – или не было необходимого для любви органа, хотя сердце работало безукоризненно, подарив ей долгую жизнь.

Она так и осталась загадкой, до конца не разгаданной: любит-не-любит, любила или не любила собственных детей, например. Была радость на Второй Вагонной, был остриженный лев и мамин хохот... А сына? Как Алик жаловался на навязчивый надзор («она меня в школу поведёт под конвоем»), как недоумевал и расспрашивал про красный диплом и карьеру юриста... Разбирая архив, Ника наткнулась на красный диплом... тётки Поли. Вот одна из разгадок: мать завидовала старшей сестре, старой деве «без своей жизни», заурядной школьной училке с «папуасским вкусом»;

завидовала настолько, что «позаимствовала» её диплом с отличием. И сочинила себе университет в Ленинграде, и специальность юриста. Зачем? От отчаяния, что Алика в том возрасте несло куда-то – может быть, в опасность, а отцовской руки не было?.. Ценой лжи сыграла на честолюбии, которого у мальчишки начисто не было.

В подступивших сумерках листва потемнела. Пора. Ника окинула взглядом два ряда могил. В дальнем располагались обветшавшие, некогда высокие, а со временем осевшие каменные рамы с неразличимыми надписями и крестами в головах над теми, кого она помнить не могла: *Мартын, Владислав, Елизавета, Родион, Игнатий, Стефания, Дмитрий...* В привычном ряду не было имени *Мария*, нет его и на близком отсюда участке Стрельцовых: бабушкину сестру похоронили в другом городе, неподалёку от госпиталя, где её убил тиф, её и многих других.

Самое высокое надгробие второго ряда обросло плюшевым изумрудным мхом – здесь лежал прадед, Матвей Подгурский. Соседнее место, предназначенное для жены, пустовало – след Уллы затерялся в Финляндии. Вот могила бабушки, рядом – символическая – деда, Доната Подгурского, с надписью «пал в борьбе за Родину»; никто не знал, где он похоронен на самом деле. После него осталась пачка писем. От его брата Мики не осталось ничего, кроме фотографий. При всей их несхожести обоим выпала одинаковая смерть – на войне. Некому было позаботиться о символическом надгробии для Мики: он погиб не за Родину – за родину: «Возьми, родина, я твой!»

...Нике было лет шесть или семь, мама взяла её в гости. Там было шумно, дети играли – прятали игрушку, которую надо было найти. Водить выпало ей; но разве можно лезть в чужой шкаф? Она растерянно сунулась в угол. «Ищи, ищи!» – кричали ребята и дружно

помогали: «Теплее... Холодно... Холодина, как на Северном полюсе!»

Так она всегда смотрела на дальний ряд могил: *холодно*, никого не найдёшь. А начиная с прадеда «теплело», хоть она представляла его только по бабушкиным рассказам и фотографиям. Бабушка – «тепло»; Полина – «горячо».

Последняя могила. Волгина. Мать. Тепло? Холодно?

Больно.

Пора в гостиницу; Ника встала. Скорбное место.

– Ladies and gentlemen...

В иллюминаторе накренился и стал приближаться зелёный фон, по мере снижения самолёта обретая объёмность; вспухал рельеф и расчерчивался полосками шоссе. Welcome to Finland.

– С чем тебе бутерброд? И не кури, тут нечем дышать!

Аппетитные запахи дразнили обоняние, Лера на кухне шуршала пакетами. Многообещающе шелестела тонкая промасленная бумага, и каждый разворот выпускал на волю дивный аромат его любимого сыра, чего-то копчёного и ни с чем не сравнимый густой, обволакивающий запах кофейных зёрен.

– Где-то была кофемолка... Папа, давай я тебе кофейную машину куплю, как у нас?

– Какую кофейную машину?

– Это очень удобно: заправляешь капсулы, получаешь кофе. А то геморройно молоть зёрна, ждать...

Слышал он про такие штуки. Прямо автомат Калашникова, только успевай заряжать. А что делать, если «патроны» кончатся или машина сломается?

– Да на фиг, я уже к растворимому привык.

– Чёрт, ни одного чистого ножа. Посиди в комнате, пока я помою посуду.

С бутербродом в одной руке, второй Алик удачно схватился за подоконник и наконец сел. Мой диван – моя крепость. Утром он проснулся в тревоге, но сон улетел и забылся, оставив смутную, непонятную тяжесть. Из кухни неясно доносилось дочкино ворчание, заглушаемое плеском воды.

Полжизни за глоток, угрюмо думал он, жуя бутерброд. Осторожно откусил свисавший ломтик ветчины. Какие «полжизни», сколько суждено ему просидеть на этом диване?

– Не, ну реально жёсть с этими самолётами.

В раковину журча просочилась струя воды, стало слышнее.

– Ты звонила в аэропорт?

– Я смотрю в Сети.

Тятя, тятя, наши сети. Ваши сети – наши дети. Про заныканную за Грибоедовым бутылку Лера не знает. Он откроет и примет, когда она уедет; а зажуёт кофейными зёрнами.

– Папа... хочешь, вместе поедem?

– ...

– Боюсь только, давка там, а от парковки пилить далеко. Лучше жди тут. И побрейся!

Алик провёл рукой по колкому подбородку.

– Клубнику привезла – кажется, импортная. Пахнет аптекой. Твоя сестра клубнику любит?

Из всего запретного больше всего Алик любил клубнику, которая сразу яростно отпечатывалась на его лице сыпью. Сердобольная Маня нет-нет да и совала ему в рот шершавую ягоду. Раз в неделю разрешали съесть яйцо, и до чего ж обидно было, когда скорлупа прорезала белок и вязкая жёлтая капля ползла по пальцам. Диатез, проклятие детства. Организм с необъяснимым упрямством

отторгал самое вкусное: шоколад, мандарины, клубнику... Мандарины были редки – сказочные птенцы жар-птицы, ёлочное счастье в пакете из слюды; но клубника, в изобилии созревавшая под неусыпным оком дачной хозяйки, над которой она нависала толстым корпусом, подняв круглый, похожий на перевёрнутый кувшин, зад, – эта клубника для маленького Алика была недосыгаема. Не из-за хозяйки – та нередко протягивала щербатое блюдце с вымытыми ягодами, но подстерегал диатез. Алик представлял диатез в виде грызущего зверька – сыпь от съеденной ягоды зудела, вспухала волдырями, которые к утру твердели. Нянька смазывала болячки зелёнкой, Ника рисовала зелёнкой рожицы на его собственной. Сосед, тринадцатилетний мальчик из Москвы, дразнил его «курочкой Рябой», хотя у самого всё лицо было в прыщах. Никто не любил московского воображалу, кличку не подхватили.

...но как часто возникало во сне блюдце со щербинкой, на котором яркие клубничины в

капельках воды пахли влажной землёй. От них шла нежная прохлада.

До леса злобный диатез не дотягивался. Здесь Алик объедался черникой (она пахла мхом), объедался до фиолетовых ладошек, которые Маня отмывала долго и старательно. Земляника, смиренная родственница царственных хозяйкиных ягод, тоже не будила диатез. А потом таинственная детская хворь отстала от него, чтобы вернуться позднее под названием аллергии, которая сберегла его от Жоркиной судьбы, но не от собственной.

...Надо же, куда увела купленная клубника! Лера говорила по телефону, звякали тарелки, часто чмокала дверца холодильника, а шестидесятидвухлетний старик водил электробритвой по лицу, обратив его, по многолетней привычке, к зеркалу. Много бы дал он, чтоб увидеть не вялую колючую щёку, нет, а шестилетнего мальчугана с перемазанным черникой ртом, но где там: зеркало висело

высоко и в лучшем случае показало бы тёмную макушку с торчащим вихорком.

– Мы с тобой придём с утра самыми первыми и соберём ягоды, – шептала в темноте сестра.

– Маню возьмём?

– Мане тяжело ходить по лесу. Мы лучше ей черники принесём.

Алику ни разу не удавалось наполнить ягодами кружку, Ника подсыпала в неё несколько горстей, и он, сопя от ответственности, нёс по лестнице няньке свой трофей. Однажды упал, споткнувшись, на верхней ступеньке и больно расшиб губу, но намного больнее было сквозь слёзы видеть, как разбегавшиеся матовые ягоды неслышно скатывались по ступенькам вниз-вниз-вниз, а кружка лежала на боку.

Преимущество детства: когда не осталось никого из свидетелей, оно всё равно всегда с

тобой, и в нём можно спрятаться, как в нахлобученном на лоб капюшоне.

Сестра – единственный свидетель его детства. Только зачем ему свидетели?

Говорят, с возрастом голос не меняется, но вряд ли он узнал бы Никин голос, не скажи ему Лиля, кому звонила. Нет, не узнал бы.

Войдёт. Ахнет и кинется обнимать. Он почувствует её взгляд (всегда чувствует, когда на него смотрят), а потом сядут за стол, она будет задавать вопросы. Когда выпьют, напряжение спадёт. За встречу, за приезд. И Лера поможет: угощайтесь, то-сё. Какие-то вопросы повиснут и забудутся, на другие он ответит. Главное – всегда переводить стрелку на прошлое. Сестра спросит о матери. Что ей рассказать – об инфаркте, который случайно обнаружили год спустя?

«Раньше инфаркт называли разрывом сердца, – мать усмехнулась. – Вот и хожу с разорвавшимся». Выстаивала – на каблуках! – долгие часы в бутике с дорогой косметикой. Ей

уже было за шестьдесят, а кожа прекрасная, и даже самые капризные дамы клевали, ведь пожилая продавщица вызывала гораздо больше доверия, чем девушки с одинаковыми надменными личиками-бутонами. Лидия с обаятельной улыбкой протягивала крохотную, с ноготь, скляночку: «Попробуйте!» Дарила надежду. Скептически настроенные невольно прислушивались, а некоторые проникались верой в могущество кремов.

Что сестра знает в своей Америке про здешние девяностые? – Ни черта. Многие пенсионеры возвращались на работу, если было куда вернуться. Привычные КБ исчезли вместе с советской властью (для Леры слово «КБ» так же непонятно, как «промокашка»). На пустырях и между домами стремительно возводились офисы – многоэтажные, нарядные, сияющие, и секретарши в них были под стать зданиям: такие же новенькие и модные, словно штампованные детали интерьера, произведённые вместе с офисами.

Подвернувшийся бутик избавил мать от унижения конкурировать с офисными красотками.

Пенсии на жизнь едва хватало, лишних денег не было, да что лишних – сэкономила на самом насущном. И в бутик заглянула в надежде на шальную скидку: вдруг шампунь?.. О большем и не мечтала – подняли цены на коммунальные услуги. На прежней квартире платить было бы не так обидно, но квартира канула в карман Влада. Стал ли плешивый барыга от этого счастливей?

...В магазине случился праздник: жвачные сыновья поступили в институт. Валюха ходила именинницей. Она поделилась радостью с Аликом: «Учение не хворь, не помрут, а корочки пить-есть не просят». Она попробовала всплакнуть: «Это Жорику спасибо, сидел с ними над уроками. Потому и школу кончили», – но слёзы не состоялись. Валентина продолжала: «Что я, зря горбачусь? Одеты-обуты, слава богу; вон какие бугаи вымахали! Хватит и на

институт». От распиравшей материнской гордости она расщедрилась на премию всем грузчикам. Обмыть решили по-людски, в ресторане «Арарат» – точнее, в одноимённой примыкавшей к нему закусочной, где вместо белейших скатертей и хрусталя на столах лежала клеёнка, на которую ставили привычные толстые стаканы и тарелки. Здесь можно было полноценно выпить и закусить сидя, без спешки, не то что в рюмочных. Собирались втроём, однако Серёга в последний момент сцепился с Димычем, и компания распалась. Алик отправился домой, однако ноги сами собой привели к «Арарату», как в книжке про чувака, который шёл на Красную площадь, но каждый раз оказывался на Курском вокзале.

На асфальте сверкали лужи – следы рухнувшего с неба ливня. Алик обогнул очередную (в ней колыхался рыжий кирпичный дом), и в эту секунду подкативший автомобиль обдал его как из ведра.

– Ба, ка-акие люди! – Сеня Дух, выйдя из машины, развёл руками. – Да ладно: вода не г<...>но, не воняет. Идём, я угощаю. Заодно просохнешь.

За столиком Сеня посетовал, что Лёнчик сидит дома со сломанной рукой, «он бы чисто подрулил». Подошедший официант покивал на лаконичный Сенин заказ, торопливо поклевал ручкой блокнот и пропал. Уже другой, помоложе, появился внезапно, словно ждал за тяжёлой занавеской, и поставил бутылку коньяка – не «Арарат», а круглобёдрую, как «Плиска», название похоже «Круиз...», а дальше не было видно.

– Желаете фен? – Официант, глянув на Алика, спросил у Духа.

– Не понял. Мы что, в парикмахерской? – удивился тот.

Официант принёс ворох крахмальных салфеток. Алик покосился, но применить не решился. Коньяк оказался лучше армянского.

Сеня наколот на вилку лепесток бастурмы густого свекольного цвета.

– М-м-м... Сказка. Ешь, не бойсь, для шашлыка места хватит. Они готовят куда лучше, чем в «Кавказе», – Сенья презрительно кивнул в сторону, – хотя твой партнёр больше любил «Кавказ». Они всё пережаривают до углей.

Алик пожал плечами.

– Знаю. Каждый вечер туда заходит.

– Заходил. Ну, будем здоровы! – с опозданием оповестил Дух.

– Они что, закрылись?

Алик выпил. Хорош «Круиз», мягко идёт. Он с детства помнил ресторан «Кавказ», потому что рядом находился цирк, и каждый поход для него был праздником, а для сестры «скукой смертной». Это не поддавалось осознанию.

Дух удивлённо поднял брови.

– Тошниловка на месте, только что мимо проезжал. Это кореш твой закрылся.

– Как?!

– Я слышал, Костя-цыган предложил разрулить по понятиям, а Влад начал бодаться за бабки. Цыгане ребята гордые, вспыльчивые. Вот и грохнули его «мерина». С ним внутри.

Он ухватил ломтик лимона, высосал и отбросил бесцветное колёсико.

– Ты что, не знал?

Алик помотал головой. Перед глазами пылала горящая машина, Влад... наверное, всё случилось быстро, он же сказал «грохнули». Вместе с долларами за квартиру, проданную матерью. *Грины* не принесли Владу счастья.

– Сам виноват: не жадничай. Всех тёлочек не пере<...>шь, все бабки не загребёшь.

Он налил Алику рюмку с краями.

– Выпей. Шашлык стынет.

– Пап, я поехала. Через пару часов жди, не раньше, всюду пробки.

Скорей бы хлопнула дверь. Настало твоё время, Грибоедов.

Алик открыл нижнюю створку секции, нащупал высокий корешок и просунул ладонь за книги. Заждалась, голубушка.

...от первого же глотка стало легко, внутренний напряг отпустил, и время свистануло назад, как плёнка в кассете, вернув Алика в давний тот «Арарат», а напротив сидел Сеня, жуя сочный шашлык. И медовый цвет коньяка, и багрово-коричневая бастурма, и масляно поблёскивающая долма – всё помнилось отчётливо, ярко, как и та сверкающая лужа с колыхавшимся внутри домом.

Я здесь – или там, и почему судьба меня сталкивала с этим парнем? Из-за него я выучился играть на гитаре, благодаря ему остался жив – и Лёнчик меня не замочил, и цыгане не спалили в машине вместе с Владом. Может, ангел-хранитель таким и должен быть, с аппетитно жующим ртом и тёмными, чуть припухшими глазами под светло-русым ёжиком,

с тяжёлой тускло-жёлтой цепью на запястье вместо былой фенечки?

Он не рассказал матери про Влада, решил – потом. И потом не рассказал, ибо всё, решительно всё вышибло – Марину срочно отправили в роддом. Сумка со сложенными вещами осталась дома. «Поедешь за нами – привези, не забудь», – напомнила радостно.

Ведóмый нежным её голосом, он помчался в роддом. И не пил ничего, кроме кофе, да и хорошо, что не пил – остановил его строгий голос из окошка: «Вы куда, папаша?» Рано примчался. Сказали, что позвонят, и напомнили, что забирать жену надо не с пустыми руками: «Приданое для ребёнка принесите».

Дома принял, конечно.

...Бутылку прятать Алик не стал – как-никак, сестру ждал из Америки, не каждый день такое происходит. Он закурил. Ждал, но думал

не о сестре, и если бы не Лерины хлопоты, полностью завязнул бы в катящемся к концу памятном июле, когда стоял и курил под окнами роддома, медля войти. Марину привезли прямо из поликлиники – снова резко подскочило давление, ребёнок лежал неправильно. Вид роддома успокоил. Он выглядел совсем не страшно – чистота без пронзительной вони хлорки, как было в советские времена, кровати хитрые, с рычагами. Медсестра пообещала звонить. Ещё не было карманных телефончиков, а если были, то не у него, да и стоили несусветных денег. Идите домой, папаша, сказала медсестра, и он ушёл с облегчением.

А дома рассматривал «приданое», смешные крохотные одёжки, перебирал их осторожно грубыми руками, будто листал книгу на давно забытом языке. Казалось, дочкино младенчество прошло бесследно, хотя держал ведь её на руках, совал в рот пустышку, купал – словом, проделывал всё положенное, но руки не

помнили нежную тёплую кожу, как не запомнился первый лепет.

С дивана придушенно заверещал телефон. У Леры ключи, она звонить не станет, а сигарету гасить жалко. Всё равно не успеть.

...а тот звонок врезался прямо в сон. Алик схватил трубку, и голос, назвавший его по фамилии, велел приехать. Прежде чем он успел спросить о Марине, в трубке запикало. Тёмное окно; сколько времени? Дрожали руки, колени; рот заполнил резкий мятный холод зубной пасты. Троллейбуса не было, да и не могло быть в такую рань, и если бы не мигнул зелёной лампочкой «жигулёнок», тащиться бы пёхом через мост.

...Снова звонит. Отложили самолёт?
Осторожно, чтобы не пнуть этот чёртов столик,
он добрёл до дивана, но поздно – телефон
умолк. А чтоб тебя... Саднило лицо,
раздражённое бритьём, и это так же
действовало на нервы, как пронзительный вкус
зубной пасты в то рассветное утро.

В окошко высунулась пухлая рука в белом
рукаве, протянула бумаги: «Врач сейчас
освободится».

– Моя жена родила?..

– Подождите.

Тревога имела вкус пасты. Дико хотелось
курить, а выйти было страшно: вот-вот из
коридора появится врач, и можно будет узнать
про Марину и мальчика. Хорошо, что «приданое»
захватил – вдруг сегодня забирать?

– Волгин?

На шапочке врача болтались завязки.
«Сюда, пожалуйста, – кивнул он и пропустил

Алика в дверь с матовыми стёклами. – Вы присядьте...»

Чем меньше времени оставалось до Города, тем бóльшая растерянность охватывала Веронику. Ни звонков, ни сообщений от Алика. Что могло случиться? Заболел, потерял телефон? – он всегда был рассеян. И поправила себя: в детстве, потому что про «всегда» ты ничего не знаешь. Изнутри всё настойчивее пробивалась мысль – абсурдная, зряшная, но навязчивая до головной боли; мысль, которую не хотелось облекать в чёткую форму – тогда от неё не избавишься... Да и некогда: через два часа самолёт, последний на этом затянувшемся пути, – вполне достаточно, чтобы позавтракать и привести себя в порядок.

Она выбрала столик, уместила сумку на соседний стул и положила телефон экраном вверх, чтобы сразу поймать звонок. Шесть утра в Нью-Йорке, Валерка раньше всех встаёт. С работы пришлёт короткую записку, как обычно.

Есть не хотелось. Опустошив бутылку минеральной воды, заказала неизбежный кофе и круассан – вдруг аппетит появится. У соседнего столика расположилась семья с двумя мальчиками лет шести или семи, все светловолосые до белизны. Пока женщина рылась в сумке, муж изучал меню. Наверное, собрались в отпуск.

Она вытащила папку, но не открыла. Как ни подбирай обстоятельства, какие извинения ни находи, пора трезво признать: Алик тебя не ждёт. Иного объяснения не находила. Мог бы написать: «до встречи». Или просто: «Не прилетай».

Ничего. Ни одного слова, ни единого ответа на её сообщения.

Снова проверила. Почти всё от детей. Аманда, бывшая коллега, переезжает во Флориду; приложен снимок побережья. Мейл от Инки: «Мысленно вместе». Приглашение от Джуди на день рождения. Больше ничего.

...Брат молчит, потому что не хочет встречи. Однако он тебя и не звал, продолжала толкаться та, непрошенная; ты сама вызвалась приехать. И решила, что он помчится в аэропорт?..

Ника, сестрёнка!

Брат, без которого ты жила все эти годы, десятилетия. Полубрат, с энтузиазмом говоривший по телефону с *полусестрой*, ничего, по сути дела, не рассказав. Не считать же легенды про Афганистан, которого в его жизни не было. Ложь. Ради творчества? – тогда это делают в рукописи, а не в живой беседе. Ты трезвый человек: ложь есть ложь.

Однако он обрадовался, разве нет?

Обрадовался, но ни разу не позвонил сам. Ни разу.

Вместе с головной болью всплыло воспоминание о сне: дверь открывается, слышен осторожный голос: «Ни-и-и-ка-а...» – и маленький Алик, в коротких штанишках и рубашке с пятнами черники, просовывает голову

в её жизнь из далёкого детства. Но куда вела та дверь – в кабинет, откуда вышел с портфелем папа Михайлец, или в комнату на Второй Вагонной с удобным закутком у окна? Нет, Вторая Вагонная была намного раньше, она принадлежит её собственному детству, когда брата ещё не было на свете.

До чего же болит голова.

Дверь открылась из давнего прошлого в её сегодняшнюю жизнь, и мальчику в осточертевших уже коротких штанишках нечего в ней делать. Алик это понял раньше и оборвал связь.

И не надо уверять себя (что ты и делаешь), будто он хотел увидаться: ты объявила, что приедешь, поставила его перед фактом и не дождалась ответа, по умолчанию решив, что он будет рад. Была уверена, что осчастливишь, не слышала его реакцию – слышала только слова.

Словесная трескотня заслонила самое главное: ни брат, ни она не готовы к встрече. Ты отфильтровала его слова, нашла ложь – и

удобно назначила ложь его творческой фантазией. Ты жадно слушала, что-то коротко отвечала, но ведь он почти ни о чём не спрашивал. Отвык, стеснялся – неизбежная ржавчина в отношениях с человеком, которого долго не видел и не слышал, как ты себе объясняла.

Но... ты могла наткнуться на другой незапертый ларчик, который не сумела открыть: ему твоя жизнь неинтересна, сколько ни тычь пальцем в телефон. Много ли запомнилось из телефонных разговоров? Афган; Алик возвращался к этой теме снова и снова. Жена, дочка – скороговоркой, пунктиром, – опять Афган и темнота. Первая мысль: посттравматический синдром. И ты решила, что лучше всё выяснить при встрече, не подумав, что встреча грозит вам обоим тем же синдромом. Роман оказался прав: нужна была подготовка, разгон, иначе неизбежен шок.

Третьи сутки судьба ставит рогатки на твоём пути, давая понять, что дорога закрыта,

дальше тупик, **DEAD END**. Едва не потеряла телефон – первое предупреждение. Не помогло; чтобы достучаться, призвали туман, отложили рейс: посиди в гостинице, отдохни и возвращайся в свою нью-йоркскую жизнь. И сейчас ты, материалистка, считаешь всё это стечением обстоятельств. Одностороннее ожидание затянулось.

Новое сообщение. Роман: «Долетела?».

Сейчас, в аэропорту, Вероника вдруг вспомнила, как он объяснился старомодными словами: *я прошу твоей руки*. Вспомнила собственную растерянность: она привыкла к «парню из троллейбуса», привыкла к его звонкам, к ненавязчивому присутствию и безошибочному дару пропадать из поля зрения, устраняться. Но замуж, но прочно связать обе жизни в одну...

Роман не уговаривал, не настаивал. Он бесконечно тронул её фразой из позапрошлого века: *я прошу твоей руки*. Без иронии, которая позволила бы улыбнуться и свести всё к шутке;

слова прозвучали просто, искренне. *Я прошу твоей руки.* Роман не просил сердца в придачу, как в старомодной формуле. Сердце просить невозможно.

Объявили посадку на Прагу.

...Ника решилась. Нельзя бесконечно сидеть на развалинах мёртвой любви.

Вот моя рука. Теперь можно было улыбнуться. Они улыбнулись одновременно.

Брак был неравный, она отдавала себе в этом отчёт. Не картина с юной невестой в жемчуге и слезах (или в жемчуге слёз) – неравный иначе: Роман вложил в их союз намного больше, чем Ника, отдав и руку и сердце. Зная об её прошлой любви, он сказал: *моей хватит на двоих.* Без патетики, обыкновенным голосом, но так убедительно, что нельзя было не поверить. И к тому времени,

когда появилась Одноклассница, жизнь уже состоялась.

И сейчас продолжается. Хоть и не вместе, но и не совсем отдельно. Третий ларчик.

Ты не должна перед братом исповедоваться, подумала с досадой. Кратко, как в конспекте: женились – жили – разошлись. Если вообще спросит.

И вдруг остановилась, поражённая простой мыслью: если заранее редактировать, о чём и сколько говорить, разговора не получится. Не получится встречи, о ней стыдно будет вспоминать. А раз так, то зачем она нужна, зачем ты это затеяла?!

Продолжалась посадка на Прагу.

Как глупо. Могли бы встретиться в Праге, на нейтральной почве, ведь Город у каждого из них свой. Как и детство. Как и жизнь. Как и прошлое. Прошое – единственная недвижимость человека, которую нельзя продать и передать по наследству. Как черепаха таскает свой панцирь, так человек обречён

носить своё прошлое внутри. Единственное достоинство такой собственности, что она не разрушается временем и не требует ремонта – просто умирает вместе с тобой. Нельзя передать прожитую жизнь – о ней можно только рассказать, вписать в семейную историю, где брату принадлежит отдельное место.

Мейл от Наташки: «Бабушка в госпитале. Травма спины».

Дома половина седьмого, Роман наверняка в госпитале. Ника проглотила две таблетки, послала короткое сообщение и отложила телефон. Алисе Марковне девяносто один, она ровесница матери (как Роман не стал ни Ромой, ни Ромкой, так свекровь при любой температуре отношений неизменно оставалась Алисой Марковной).

Алиса Марковна всегда была требовательной бабкой, а не ласковой бабушкой; дети уважительно прислушивались к её мнению, да и было за что уважать: химик старой школы, владела немецким, а новый для

себя английский осваивала с нуля, на курсах для эмигрантов. Уверенная, властная, привыкшая держать аудиторию в сосредоточенной тишине, она сама превратилась в студентку, а вечерами смотрела по телевизору сериалы, поначалу не понимая слов, но легко предугадывая развитие банального сюжета. Илья Борисович английским владел неплохо, за что был скоро изгнан с курсов, которые посещал из солидарности с женой. Первое время они жили все вместе в большой неудобной квартире с существенным достоинством: квартира была дешёвой.

От Романа: «Ждём рентгена».

Трудно было представить свекровь в инвалидном кресле, но если и так, то это не надолго – победит она болезнь и немощь; она всё побеждала, даже английский. И после курсов работала в супермаркете – развозила в тележке разбросанные продукты: майонез,

оставленный кем-то среди коробочек с чаем, упакованные креветки в отделе свежей выпечки, консервы рядом со стиральным порошком... Илья Борисович мечтал продолжать дело всей жизни – преподавать историю, но в Америке никого не интересовала судьба революционных стрелков его республики, которую никто не знал. Он ездил в публичную библиотеку – пещеру Али-Бабы по богатству материалов, – и делал длинные выписки в блокноте тревожного жёлтого цвета; вместо заклинания «сезам, отворись» на двери висела табличка “This Reading Room Is Only Open for Research and Quite Study”. Табличка возвращала ему чувство причастности к привычному прежнему миру науки. С блокнотом, болтавшимся в пластиковом пакете из супермаркета, Илья Борисович приезжал домой, где жена смотрела мыльную оперу, листал выписки и ждал завтрашнего свидания с библиотекой.

Спустя несколько лет они поселились отдельно. Мало-помалу на новом континенте удалось почти полностью воссоздать если не прежнюю жизнь, то её американскую модель: с концертами (пенсионерам скидка), посещением музеев днём, когда мало народу, долгими прогулками в Центральном парке. Нашлись и друзья – бывшие однокурсники, общение с которыми радовало, придавало сил. И всегда Илья Борисович находил время для библиотеки.

...откуда Роману и позвонили, сообщив адрес больницы.

Через несколько дней были похороны. Рабочие деловито закапывали могилу, Роман поддерживал под руку мать, хотя та стояла прямая, как всегда, и не отрываясь смотрела сухими глазами, как уменьшается горка земли рядом с ямой. Ника ёжилась от ветра, думая ни о чём и обо всём сразу. Незаметный Илья Борисович, всегда в тени, на втором плане, трезвые гробокопатели (это с трудом уместилось в голове), как же теперь свекровь...

Илья Борисович, который жил деликатно и так же деликатно, никого не затруднив, умер. Был предан жене, любил Алису Марковну, музыку и историю. Умер от инсульта; в Америке его по старинке называют ударом, stroke.

Алиса Марковна крепче. Ей тоже было нелегко остаться без аудитории, но в ней не было влюблённости в науку, свойственной мужу. Только раз боль её победила – в бесполезной больнице, при виде неподвижной фигуры под простынёй. «Илюша!..» – она рванулась к кровати и всё поняв, вцепилась в металлическую спинку.

...Могилу засыпали. Когда уходили, Ника обернулась. Прямоугольные надгробья были ровно распределены по территории. Посмотреть сверху – как печенья, воткнутые в огромный песочный торт. Ряды надгробий уходили вдаль, за ними высились сизые силуэты небоскрёбов, с беспощадной наглядностью демонстрируя соседство жизни и смерти. Солнце сместилось, и небоскрёбы посинели, выступили резкие

границ. Манхеттен. Где-то там и любимая библиотека Ильи Борисовича.

На кладбище Нике приходилось бывать и позднее, на похоронах коллеги. По пути к выходу Ника остановилась у мраморного прямоугольника с высеченным именем, датой рождения и чёрточкой, повисшей во времени. Сюр какой-то, бред... «Это практично, – пояснила сотрудница, – моя мать тоже позаботилась заранее, ведь недвижимостъ дорожает!» Недвижимостъ дорожает, и живые предусмотрительно оплачивают своё последнее пристанище. Никакого сюра: простой расчёт не обременять расходами детей. Наверняка сохранились и старые кладбища, с традиционными памятниками, склепами и даже скамейками, но Веронике не случилось их увидеть, и с тоской вспоминался маленький семейный некрополь в Городе, привычный и уютный символ покоя, без могил «на вырост».

После похорон Алиса Марковна поселилась у них. Она не плакала, не пускалась

в воспоминания – просто вернулась в своё
прежнее «я», когда жизнь её была посвящена
сыну. Теперь она сосредоточилась на нём
полностью, и не было рядом Ильи Борисовича.

Дети разъехались по колледжам, ушли в
свою жизнь.

Охрана окружающей среды не
распространяясь на Никину домашнюю жизнь –
ею правила свекровь. *У мамы больше нет
никого, говорил Роман, ей необходимо время.
Здесь она чувствует себя нужной.*

...то ли в результате последнего
обстоятельства, то ли по совокупности с
внедрением Одноклассницы Ника перестала
себя чувствовать нужной. И пришло решение
жить – или пожить – отдельно. Чтобы не
передумать, сначала сняла квартиру и только
тогда сообщила мужу. После растерянного
молчания Роман сказал: *зря ты это затеяла...*

Инке позвонила на третий день: «У меня
поменялся телефон». Неожиданно разревелась
и захлёбываясь, выталкивая жалкие слова,

рассказала. В ночном Аахене Инка терпеливо пережидала паузы.

– Всё?

Ника всхлипнула.

– Грех, конечно, но... зря ты это затеяла, Подгурская.

Те же слова сказал Роман.

– ...чтобы вот так, из-за бабы... Что ты прицепилась: одноклассница, подумаешь! У тебя тоже одноклассники были. Помнишь Сашу? – фамилия на Ш...

– Зачем он врал, что случайно встретил в метро, ведь они переписывались в «Одноклассниках»?!

– И ты могла Сашу найти – как его фамилия, напомним? В соцсети кого угодно найдёшь. И потом, – Инка помолчала, – ты же биолог, должна понимать: это чисто возрастное. Тётка в пятом десятке, например, вдруг осознаёт свою неотразимость, встаёт на каблуки, напяливает обтягивающую маечку и с хохотом идёт покорять мир. Насмешку

принимает за кокетство, недоумение за восхищение. Климактерические неврозы, спроси моего Норберта. Не все стареют достойно – не хватает мужества. Труднее всего красивым – они быстрее сознают, что жизнь иссякает. Утекает вместе с гормонами.

Ника подумала: вдруг и мать так же осознала возраст? Ушёл муж, предала подруга, свет-мой-зеркальце беспощадно... Не потому ли появился «дядя Витя»?

– Может, ты и права. – Инка помедлила. – Время покажет. Только не вздумай разводиться: Лора, считай, за углом ждёт. У Романа кризис среднего возраста. Кризис пройдёт, а Лора внедрится...

– Поздно, ему ведь...

– Ничего не поздно. Как у кого. Как увидишь, что мужик ходит гоголем и бреется дважды в день, так и знай: тот самый возраст догнал.

– Свекровь высказалась: прощать надо. Ты бы простила?

Молчание затянулось.

– Алло?

– Да. Сама прощаю.

После долгой паузы:

– Девчонки эти... Медсёстры, практикантки, молодые резидентки. *Молодые*, понимаешь? Он там бог, его на пьедестал ставят. А я встречаю в тапках, в руке чашка с травяным чаем и под глазами круги. Но он домой возвращается, ко мне. Мы срослись.

Инка мечтала полюбить, быть верной единственному мужчине и родить троих детей. Влюбилась в «марсианина», развелась и срослась с немецким богом нейрохирургии; ни одного ребёнка родить не смогла.

Финский папа за соседним столиком посмотрел на часы, и семейство дружно снялось с места.

Брат не отвечал. Шестой гудок, седьмой... Это не удивило и не встревожило.

...Свекрови девяносто один. В этом возрасте на машинах ездят, в театры ходят. Она скроена из очень устойчивого материала. Но в воображении против воли вставал Манхеттен на горизонте и растерянный Роман.

Чем дольше длится жизнь, тем чаще возникает нужда приезжать на кладбище, тем больше имён обводишь чёрными рамками в записной книжке. Сужается круг, и на похоронах мелькают одни и те же люди, только их становится меньше. Скорбь на лицах сменяется радостью встречи. Проводы делаются короче, люди с облегчением отходят от могилы, и по пути к машинам уже слышен задавленный смешок от воровато рассказанного анекдота. Что это, чёрствость или равнодушие? Ни то ни другое; просто в старости чужие похороны не только печаль – это торжество собственной жизни, поэтому на поминках царит оживление: с разгоревшимися от ветра щеками и вилкой в поднятой руке весело говорят о покойнике, перебивая друг друга, вспоминают смешные

случаи. Первую рюмку выпивают озабоченно, молча и строго, не чокаясь, после чего – дань отдана – застолье неизбежно становится праздником. Если здесь кого-то не хватает, так разве что самого покойного; ну, да сколько там осталось до встречи...

На табло высветился её рейс: вылет по расписанию. Буквы и цифры выглядели чужими, бессмысленными, как и всё вокруг: аэропорт со снующими людьми, разноязыкая речь, опостылевший кофе. Ника медленно опустилась на сиденье. Никакого зеркала не надо – с возрастом научаешься видеть себя со стороны: лицо, опавшее от усталости, тёмные провалы под глазами, сухие губы. Ничего комплиментарного. Затянувшееся время подходит к концу, оставаясь безразмерным – за несколько минут увидишь и своё сегодня, и все прожитые дни. Рождение и смерть – пункт отправления и пункт назначения, но по-

настоящему значима только дорога от первой точки к последней, промелькнёт ли она за окном поезда или за иллюминатором «боинга».

Высветится всё, от солнечного счастья детства или пронзительной его боли до одинокого стариковского равнодушия, и промелькнёт так быстро, что едва успеешь распаковать вещи, как исчезнет и надобность в них. Останутся фоссилии прожитой жизни: холодная смятая подушка, трещины кофейной гущи на дне чашки, фотографии, письма, мёртвый экран компьютера.

Что хранила мать, узнать не суждено, можно только гадать. Она всегда со вкусом одевалась; узнаёт ли брат её крепдешиновое платье, платье сочного изумрудного цвета с широким поясом? Откуда, впрочем, ему знать – это платье принадлежало другому времени, мать кружилась в нём на Второй Вагонной, где не было зеркала, и она поднимала и опускала руку с пудреницей, чтобы рассмотреть выющийся шёлк со всех сторон. И пудреница

наверняка сохранилась – тяжёлый серебряный кругляш с упругой крышечкой, которую так приятно было гладить: пальцы скользили по крохотным выпуклостям: облака, волны на реке, башни. Палец опускался – нельзя же было не потрогать парходик, из его трубы вился дым до самого края крышечки. «Узнаёшь? – спрашивала мама. Ника озадаченно сопела. – Это же наш город, мы с тобой по набережной гуляли!» Пудреница была подарком отца – странным подарком для одиннадцатилетней девочки; вероятно, Донат не очень верил в скоротечность войны. Что пудреница! Мать хранила – в памяти – письма отца, которые тщеславие не тешили, но были ей настолько дороги, что вслух об этом она не говорила. Брат приходил с каким-то фантастическим планом издать их – явная авантюра, тогда всякое жульё всплыло на поверхность.

...От Романа: «Трещина на позвонке, сегодня в госпитале. Painkillers». По спине прошёл озноб. Каково это – лежать без движения...

За спиной двое мужчин громко говорили по-английски. Знакомый язык вклинился в вавилонскую разноголосицу.

– «Вольво», пробег одиннадцать тысяч. И ни одной аварии.

– Какого года, ты сказал?

– Две тыщи семнадцатого. Меньше двух лет.

– Невероятно!..

Что же тут невероятного, подумала Ника. Машина не человек, могла за год отмотать и сто одиннадцать тысяч.

А человек? Сколько миль отсчитываешь – не за год, а за всю жизнь? С авариями, поисками жилья, привычным гастритом, заменой тормозов, сердечного клапана, тазобедренного

сустава, и двигатель стучит как-то неправильно? Пора ставить коронку, треснуло лобовое стекло, необходимы новые очки, диета, техосмотр, анализ крови... Бежишь и бежишь, отказавшись от родных изношенных зубов в пользу искусственного совершенства, регулярно заправляясь бензином и кофе с круассанами, помня, что надо поменять масло (да и колени дают о себе знать), и... Сколько миль или километров накручиваешь за всю жизнь, от первого боязливой шага в ласковые родные объятия до предпоследнего, с опорой на твёрдую равнодушную руку санитарки?..

Ни одной машине не под силу такой пробег.

– Эклампсия, – повторил врач элегантное слово. Плавно взметнулись руки балерины, пышной гвоздикой дрогнула пачка.

Эклампсия. Так назывались Маринина смерть, балерина покрутилась и вдруг замерла. Лебедь умер. Падает занавес.

– Почему?!

Врачу приходилось слышать это бессмысленное слово. Родственники не понимают, при чём тут гипертония, не знают слова «анамнез», и «почему» означает только одно: да, люди умирают, но она-то при чём, она почему умерла?! Собственная боль заглушает всё, казённое сочувствие прозвучит кощунством, а предстояло сообщить о ребёнке.

Врач сообщил.

– Я хочу видеть его, – хрипло произнёс Алик.

У мальчика было тощенькое вытянутое тельце, глаза плотно закрыты, личико выглядело разочарованным и усталым. Алик ничего не почувствовал. Увидеть Марину не разрешили: «вам позвонят».

...Наверху грохнулось что-то тяжёлое, он рефлекторно поднял голову. Неужели все слепые так делают?

Алик часто думал о Марине, но ребёнка помнить не хотел – и удалось, удалось не помнить. Это мог быть любой, чей угодно, младенец – в усталом личике не отразилась мать, так долго и страстно его ждавшая.

Зачем, спрашивал он, зачем ей нужен был этот ребёнок? Он спрашивал у матери, у заплаканной Леры, у нечаянного собутыльника в рюмочной; зачем?.. Дочка на секунду прижалась к его лицу мокрой щекой, а как уехала в

общежитие, он не помнил. «Держись», говорили ему. Звучало смешно: Алик едва держался на ногах и трезвым себя не помнил. Хмель надёжно отделял его занавеской, то прозрачной, как кисея, то непроницаемо плотной, в зависимости от количества выпитого. Разные лица возникали в просвете: матери, которая взывала к совести, Валентины, сунувшей ему в руку деньги (кольцо царапнуло), незнакомца, тянувшего мутный стакан... Он пил, с облегчением проваливаясь в чёрное небытие за глухой занавеской. Утром медленно вырисовывало запущенную комнату. Рваный свитер свисал с допотопной батареи. Алик неверным движением тянул за бутылкой руку, ушибал о край тумбочки, хотя никакой тумбочки не было, кроме как в бывшей тёщиной комнате. Тёща стояла в дверях, укоризненно качая головой, но тёщи нет, не могло быть, она умерла, бормотал он в подушку. На всякий случай глаза не открывал. Лера в общежитии, вот возьму и зайду туда...

Не заходил. Выпивал пляшущий в руке первый стакан, закуривал – и возникала спасительная занавеска, дымная и зыбкая, постепенно уплотнявшаяся, чтобы скрыть и батарею, и стол, и тещу, пока не наступало проклятое время – сумерки, когда дневной хмель исчезал и старуха, затаившись у себя в комнате, молчала одну и ту же фразу: «Смотри, Мариша, наплачешься...». Вклинивался голос матери: «Ты должен заставить себя, мобилизовать волю». Хорошо ей говорить; а если *нечем* себя заставить, а воли хватает только на то, чтобы прижать к подушке голову, она болит ослепительной невыносимой болью, вот-вот разорвётся на куски, и тогда, наверное, наступит облегчение.

Как-то враз кончилось всё: кофе, чай, курево, чистое бельё. В запертую комнату не пошёл и не смотрел в ту сторону. Хуже: кончились деньги. Не помнил, сколько времени прошло с того дня, когда доктор называл

смертоносное слово, и когда появлялся на работе, тоже не помнил.

Валентина сочувственно покивала, но твёрдо заявила: «Нет, Алёша. Всю алкашню разогнала – думаешь, я не знаю, как вы бутылки тырили? Ладно, дело прошлое. Взяла студентов, – она кивнула на окно, – эти на учёбу себе зарабатывают и товар не выносят. Возьми вот, жену помянешь», – она сунула ему в руку бумажку и потянулась к телефону.

Задело не то, что Валентина назвала его вором, это было нелепо, потому что она прекрасно всё знала, частенько сама им выносила, – но зачем «алкашней» назвала? Алкашей он навидался. Пьёт, да... Но почему сразу «алкашня»? Десятка «на помин» очень пригодилась: нутро сводило жаждой, после пива полегчало. Помянуть – это из тёщиной обоймы. Вспоминал с отчётливым стыдом, как ехидно высмеивал её внезапную религиозность, тогда многие кинулись молиться. Перед едой тёща беззвучно шевелила губами и крестилась, тюкая

пальцами в лоб и живот. Алик не мог удержаться от банальности про опиум для народа, старуха вскидывалась: «Много ты знаешь!» и не подозревала, как она была близка к истине – про опиоиды зять знал немало. «Ничего, Мариша, – с кроткой ненавистью говорила старуха, хотя та не вмешивалась, ограничиваясь укоризненным взглядом, – ничего; всем воздастся по грехам их».

Угрюмое тёщино лицо почти забылось, но как же старуха была права! Наказан он, ещё как наказан уже сейчас, при жизни, наказан за мелкие и крупные грехи, в том числе за насмешки над покойной тёщей, ни в чём перед ним не виноватой. *Наплачешься, Мариша...* Старуха оказалась провидицей. Марина плакала редко и неслышно – всякий раз, когда он обещал «больше не» и возвращался накачанный, взвинченный, хоть на крышу лезь. И полез бы, мало оставалось, но как-то она уговаривала его, нянчила его руки в своих, не отпускала, а наутро ничего не помнилось. Виноват перед Мариной,

перед мальчиком, которого не хотел помнить, ибо – виноват.

...виноват перед всеми, список получился длинным – от Жорки (нет, раньше: от Вовки) до матери.

– Чевой, чевой-то? – прочирикала птица. С улицы веяло теплом.

– Чевой-т?..

– Чью, чью? Чевой-т?..

Он тоже бормотал «чево те...» сквозь иссохшие губы, когда мать его тормошила, стаскивала с постели, тычками гнала в душ. «На что жить будешь, сволочь, я не вечная!» – пробивался её голос. Он невнятно бубнил, что продаёт квартиру, «ну чево-те...». Лидия сыпала сахар в крепкий кофе, заставляла пить. Однажды Алик её ударил.

Всем воздастся по грехам их. Ему воздалось и за это тоже, но стыд остался.

– Только попробуй, – её голос стал угрожающим, – попробуй хоть пальцем шевельнуть. Квартира не твоя – Леркина. Придёшь – помогу, но поить не буду, не рассчитывай. Одевайся.

– Ч...чево ты командуешь? – С похмелья трясло, стучали зубы. – Я свободный человек у себя дома.

– Повторяю: ты не у себя дома. А свободный человек ты за мой счёт. Отправлю на принудительное лечение. Ты меня знаешь.

Алик её знал. Он живо помнил, как мать откосила его от армии, как сменила фамилию... Мать могла всё. Кроме одного: Нику вернуть не могла, только подолгу рассматривала старые фотки. И молчала. Новые приятельницы не подозревали о существовании дочери.

...Правила жизни с нею были жёсткими до жестокости: работать и не пить, «разве что сама налью». Альтернатива известна: *принудиловка*;

от одного слова Алика бросало в пот. Умная женщина, Лидия держала дома коньяк и действительно наливала рюмку; вторую никогда. Бутылку прятала так надёжно, что найти не мог. Уйти? Ключи мать забрала, но... Страх *принудил*овки держал надёжнее ключей. Он снова и снова вытряхивал карманы, не завалились ли за подкладку деньги. Нет, да и с чего бы? Выпала слежавшаяся бумажка с цифрами. В памяти забрезжила дымная рюмочная, Шахтёр у стойки покупает сигареты. Сам он к тому времени был уже сильно на взводе: казалось, сто́ит только выпить ещё немного, как откроется важная истина; хотелось говорить и доказывать свою правоту – всё равно в чём, всё равно с кем. Шахтёр увёл его в темноту, на корявую скамейку, где Алик уронил сигарету и чуть не упал сам, пытаясь нащарить её на земле. Рывком был усажен. Шахтёр слушал не перебивая. Голос Алика сорвался на слове «эклампсия», что-то произошло с горлом.

– Беду вином не зальёшь, Олег.

– А чем? – яростно прохрипел.

– Работай. Я другого рецепта не знаю.

Делай что-то. Пиши. Про деда хотя бы. Письма-то существуют, или ты устроил мне тогда театр у микрофона? Ценный материал, так и просится на бумагу. Был шанс опубликовать; и сейчас можно попытаться...

...мать сидела за столом, и сквозь дым её сигареты стало видно тёткино лицо, зазвучал взволнованный голос и оборвался паузой. Она всегда в этот момент останавливалась. Алик негромко подхватил и продолжил, пока Полина достаёт платок:

«...твое письмо получил ко дню 24-й годовщины рабоче-крестьянской Красной Армии. Я в это время находился со своей радиостанцией в только что освобождённой от фашистов украинской деревне и вследствие этого не имел возможности повидаться с делегацией. Однако несмотря на это мне прислали 4 ш. посылки, т. е. моему радисту, шофёру, бойцу и мне. Больше

всего я рад тому, что кроме твоей, Вера, пришла посылка от наших тружеников, и в ней оказались 4 пары носков, 2 платка, печенье, конфеты, мандарины, колбаса, папиросы и табак. За всё великое спасибо всем, кто трудится в тылу! Единственно плохо то, что вместе с делегатами ехали артисты и артистка из госэстрады, но услышав выстрелы наших дальнобойных орудий, перепугались (к стыду их!) и отстали от делегатов, а ведь они должны были показать бойцам, командирам и политработникам своё искусство, но увы».

– Это последнее письмо?

– Нет, потом ещё были. Но сохранились все, только где-то куски оторваны. А последнее получили в марте сорок второго. Третьего, кажется... Забываю даты.

– На украинском фронте несметно народу полегло. – Шахтёр опустил голову. – На парадах интенданты да штабная сволочь маячат, а те...

Замолчал и поднялся.

– Звони, помогу с работой.

Ироничное замечание Шахтёра про «театр у микрофона» обернулось для Алика театром настоящим: по записке Шахтёра его взяли работником сцены. Вместо ящиков с бухлом он таскал декорации: постамент для Командора, детали балкона, под которым стоял пожилой напудренный Ромео, составные части беседки для «Весёлой вдовы». Чёртова беседка должна была быть «увита плющом» – выгоревшими лоскутами на проволоке. Раскрашенные пыльные тряпки, изображавшие морской шторм, как и пухлые бутафорские сугробы, вдребезги разбили волшебные тайны театра из другого времени и другой страны – детства.

...где на сцене высились сугробы и заснеженные деревья. Между сугробами сидела девочка, закутанная в платок. Из-за дерева вышел Дед Мороз. Алик думал, что девочка получит подарок, но Дед Мороз только хлопал огромными рукавицами и спрашивал: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, милая?» С каждым его хлопком девочка дрожала сильнее, кутаясь

в платок. Она совсем замёрзла, но каждый раз отвечала тоненьким голосом: «Тепло, батюшка-Морозушко, тепло...». Никакой он не Дед Мороз был, с ужасом догадался Алик. Он зажмурился и придвинулся как можно ближе к Нике. Ручка кресла врезалась ему в бок.

Он удивительно долго помнил это. На обратном пути Ника сказала, что старик не заморозил девочку: «Ты же видел, он ей целый сундук с сокровищами подарил!» – «А зачем она врала, что тепло, когда он морозил?». Сестра задумалась и ответила не сразу: «Подлизывалась, наверное».

Подлизывалась к этому злому старику, чтобы получить сундук?

...именно так и происходит во взрослой жизни: не он ли похвалил бездарные бусы заведующей, чтобы работать в книжном?

А мама сказала, что девочка в платке вообще никакая не девочка, а взрослая тётенька. *Девочка, девочка*, спорил Алик, *самая настоящая девочка!* Спорил, а сам уже с тоской

верил. И пускай взрослая тётенька, все взрослые врут. Он это понял давно.

В другой раз они пошли на «Остров сокровищ», он надел новый костюмчик с матросским воротником. «У меня когда-то был такой же», – сказала мама в «Детском мире». По пути к театру Ника предупредила: будет страшно, но ты не бойся, и Алик приготовился увидеть взрослую тётку в девчоночьем платье.

Всё было другое: по сцене быстро и ловко топал страшный Джон Сильвер на деревянной ноге. Второе действие захватило – на сцене бушевало море (раскрашенные тряпки под вентилятором, но тогда он об этом не подозревал), волны накатывали, грозя потопить корабль, и смелый юнга лез на мачту, цепляясь из последних сил. Алик обмирал от страха за него, в то же время скашивая глаза на свой матросский воротник – у храброго паренька была только тельняшка. Долго и нудно он просил маму купить ему такую же, ну пожааалуйста... Та смеялась: «Попадёшь в

армию – просись во флот, и получишь тельняшку бесплатно!»

Забылось имя храброго юнги, но сопереживание ему и безымянной падчерице, даже страшному Джону Сильверу жило долго. Что было сильнее, колотящееся под матроской сердце во время представления или разочарование, что девочка оказалась обыкновенной тётенькой, которая после спектакля вернётся домой, снимет пальто и туфли и закурит у стола, как мама, а зловещий Джон Сильвер отстегнёт деревяшку и пойдёт, как все люди, на обеих ногах?..

В театре всё фальшивое: картон и фанера притворялись мрамором и гранитом, актрисы – звонкоголосыми озорниками, как в «Томе Сойере», ватман – рыцарскими латами, а пыльные тряпки – чем угодно, от снежного простора до цветущего луга. Но детство давно закатилось за горизонт, а что упало, то пропало. К тому же хоть шампанское в картонном ведёрке было сделано из папье-маше, то водку

пили настоящую. Пили все, от режиссёра до уборщицы, сгребавшей пустые бутылки. Румянец плечистой Джульетты происходил не только от стыдливости и грима; дон Жуан разливал вино в три стакана: себе, Командору и донне Анне; к ним, потирая руки, семенил суфлёр: «Менаж а труа?» В этой творческой атмосфере пили не меньше, чем у Валюхи с магазине, и никто не удивился, когда новый работник с огромным трудом собрал декорацию вверх ногами.

Время текло незаметно и стремительно. Лера привезла из техникума диплом и мужа – вертлявого, длинноногого, с обритой головой; поселились в тёщиной квартире. Алик жил у матери – временно, как уверяла Лидия, «что тебе за интерес со старухой?». За привычным кокетством ей стало трудно скрывать утреннюю усталость. Время спохватилось и вспомнило о ней. Алик видел её постаревшие руки с отяжелевшими запястьями, некогда тонкими, со сползающими часиками, видел тонкие

морщинки, в которые она вбивала крем кончиками пальцев. «Жениться бы тебе, – бросала раздражённо, – какие твои годы? На зятя вон посмотри».

Лера быстро развелась с вертлявым, и новый зять, на которого предлагалось посмотреть, ничуть не походил на бритоголового юнца: плотный, молчаливый, почти на пятнадцать лет старше Леры. Что она в нём нашла, недоумевал Алик. Вслух, к сожалению, на что мать отозвалась: «То, чего нет у тебя».

Не поспоришь. У зятя за городом был дом – основательный, как он сам, с большим участком; пара жила теперь там. Как там было, про палаты каменные? – не помнил. Алик собрался вернуться в старое жильё, но тёщину квартиру, отремонтированную до неузнаваемости, сдали.

– Чтобы доход приносила, – пояснила Лера, вертя на пальце ключ от машины. – Я как бы не работаю.

Мать не удивилась. «Что я тебе говорила? Недвижимость – это деньги; не будут же они сдавать тебе квартиру после евроремонта. Живи и не рыпайся». Беспокоилась, что Лера гоняет на машине, с энтузиазмом готовилась нянчить правнуков.

Мужа Лера называла местоимением: «мой». «Мой любит блондинок», – и встряхивала свежеприобретённой золотистой гривой. Она отдалилась так, словно жила не в получасе езды, а где-то на Бермудах (куда они ездили во время отпуска зятя). Мать как-то спросила, чем он занимается. «Бизнес», – ответил коротко. «Понимаю, но какой?» Тот веско сообщил: «Логистика». Лидия озадаченно смолкла. Подругам объяснила: наукой занимается, логикой.

Парк её подруг полностью сменился, теперь это были расплывшиеся матроны или, наоборот, ссохшиеся артритные старухи. Появлялись они редко – квартирка тесная, да и приятнее встречаться в Старом городе, в кафе.

Правнуков всё не было, и мать после долгого молчания спросила Леру, когда?.. Выяснилось, что дети «не приоритет». Ещё стало известно, что у «моего» имелся взрослый сын от первого брака.

– Да, был женат, и что? – с вызовом спросила дочка.

– Известно что, – мать усмехнулась. – Старая квартира на твоё имя, надеюсь?

Лера хлопнула дверью.

– Дурында, – мать устало села на диван. – У неё же ничего нет, кроме модных тряпок и бабкиной квартиры – ни детей, ни работы. Случись что, по миру пустят, помяни моё слово.

«Чью-то, чью?» – опомнилась птица. «Ц-ц... – отозвалась другая, – Ц-цц...»

Алик усмехнулся. Вряд ли он доживёт до «случись что». Мать не дожила до правнуков, не

дожила до его слепоты. Сам он о внуках не думал, всё равно не увидеть.

Лера никогда о детях не говорила. Вообще говорила мало, в основном о чём-то далёком и чужом, и слова тоже были далёкими и чужими: *визажист, спа, «джим»*.

– Джим – это кто? – не выдержал Алик.

Оказалось, гимнастика. Про «спа» не спрашивал. Что-то для спальни? – Молодые всё сокращают; экономят буквы, что ли?

С громкой очередью выстрелов пролетел за окном мотоцикл. Больше не услышишь ни загадочного цыканья, ни любопытного «чевой-то». Темно и пусто.

Мать умерла, пробредив в полузабытьи дома, потом в больнице, затем снова и до конца дома. Сотрясение ли стало причиной инсульта или возник он сам по себе, не важно.

...как не важна причина тьмы, в которой он обречён доживать: округлое, как яйцо, слово

глаукома или выпитые за много лет неисчислимые литры смертоносной дряни. О причине он не думал; а если бы задумался, то всё равно сначала выпил бы стакан, чтобы додумать на светлую голову. Сколько видел он этой крутки – страшное дело – в том же подвале у Валюхи! Знал; а кто не знал?.. И только ли там? А в рюмочных что, «Хеннеси» тебе наливали? Могли со значительным лицом снять с полки и «Хеннеси» для серьёзного клиента, только кто ж его знает, какая палёнка налита в ту бутылку: разве серьёзный клиент в рюмочную пойдёт?

Он не сразу заметил, как начала темнеть и сгущаться привычная завеса. Не сразу: вначале мешали наплывающие неизвестно откуда мутные пятна, заслонявшие, как дымом, боковое зрение. Порой, наоборот, мешала не муть, а искры, огненные круги, кто их разберёт, или маленькие тёмные червячки, вроде мушек-дрозофил. Они медленно плавали перед глазами, то светлея и размываясь, то делаясь темнее и гуще. Алик отмахивался машинально,

но червячки никуда не девались, их становилось больше, они сливались с мутными пятнами, пока не сгустились в непроницаемую штору, вроде светомаскировки, которую ни поднять, впустив солнце, ни сорвать. Напрягал и до боли тёр глаза, щурился, но вместо яркого света видел расплывающееся радужное пятно. Лица стали нечёткими, люди превратились в мутные силуэты, различавшиеся голосами и запахами.

Безобидные червячки, вспышки – и пришедшая им на смену тьма. Постоянный страх упасть, расшибиться, сломать ногу, спину – и как следствие война с крохотным и замкнутым миром квартиры. Двигаться на ощупь, потребность ухватиться рукой за стол, притолоку поймёт только слепой. Алик не ложился спать, не ощутив край дивана после того как несколько раз грохнулся на пол. Его ладони выучили наизусть края столика, поверхность табуретки, диван с торчащими по краю нитками обивки.

– Чевой-то ты расчирикался...

Давно договорился с собой не возвращаться в день, когда для него не настало утро, а нетренированное ухо не научилось ещё различать время. День – это свет, а свет для него погас, и не было такой силы, которая могла б его вернуть. Он прошёл все стадии: панику, множественные «бытовые травмы», как это называли в больницах, где неизменно оказывался после метаний по квартире. Пережил всё – для того только, чтобы впасть в отчаяние, бездонное и тёмное, как вся его жизнь после того, как пропал свет.

Хорошо, что мать не знает – она достаточно хлебнула лиха.

Основательный зять, надо отдать ему должное, с готовностью платил за каждого нового глазного врача, но ни один из них не сумел помочь, и Алик остался жить во тьме, по памяти, выучивая заново – пальцами, шагами –

тесную квартирку, ставшую для него пожизненным миром.

Однажды показалось: он это знает откуда-то. Вспомнил внезапно, когда почти потерял надежду, как они с Никой сидят в театре – не в ТЮЗе, не в кукольном, а в настоящем взрослом театре, где на сцене появляется девушка, сейчас должен войти её возлюбленный. Ничего особенного не происходит, но зал замирает в какой-то противоестественной тишине, тишине ожидания. Мужчина уже на сцене, но девушка смотрит мимо, чуть подняв лицо, и двигается ему навстречу, неловко задевая рояль. «Она слепая, – шепчет ему на ухо сестра, – ничего не видит». Алик ничего больше не запомнил, кроме этого запрокинутого лица. Долго верил, что знаменитая артистка по-настоящему слепа, сколько ни разубеждала его мать.

Здесь нет рояля, но нет и мебели, к которой он бы не приложился за пять с лишним лет слепоты. Говорят, люди привыкают – он не сумел, хоть и пробовал; *вы плохо адаптируетесь,*

говорили медики и социальные работники. Иногда, расхрабрившись, выходил на улицу, в магазин, но всё неохотнее; отвык. Он не признавался себе, но даже Лера, с её регулярными приходами, раздражала. В первые минуты радовался, но быстро уставал от её голоса, замечаний, запаха духов; уставал от её заботы. Хотелось остаться одному.

Разговоры с сестрой вызвали мгновенный прилив энтузиазма, который за время ожидания сменился неуверенностью и боязнью встречи. Предстоит застолье, и он уронит еду с вилки себе на колени, на рубашку, влезет рукавом в миску, что-нибудь опрокинет – это неизбежно, когда ешь на ощупь. А курить вдали от раковины?.. К тому же напрягаться, говорить («я хочу познакомиться с твоей семьёй...») – нет, увольте. Сейчас – и завтра, и ещё какое-то отпущенное время – нужно совсем не много: сигарету (как не хватает любимой зажигалки!) и глоток-другой – тогда время делает паузу,

словно нажмёшь на кнопку пульта. Он протянул руку и сделал длинный, медленный глоток –

...и время застыло, замерло, как Лера в аэропорту, как и все самолёты, повисшие в тумане, в одном самолёте застыла его чужая сестра. Время застыло (хорошо бы насовсем, промелькнула, не испугав, мысль), ибо даже время устало от ожидания, как устал он сам, прожив за бесконечные часы всю свою жизнь, однообразную, как длинная книга, где всё понятно, предсказуемо, но дочитывать скучно и лень, а потому пролистываешь страницы, главы, годы... Выключили свет, и книгу можно захлопнуть, не заглядывая в конец. Ожидание выхолостило душу до пустоты, словно встреча, с неизбежными вопросами, сбивчивыми рассказами о чужих ему людях, уже состоялась – и завершилась, оставив его наконец одного.

– *Miss Veronika Podgursky, please come to the gate number...*

Как красиво звучит её имя, подумала не открывая глаз. Хорошо, что не меняла фамилию. Мать прожила несколько жизней, от Подгурской до Волгиной, транзитная станция Михайлец.

Подгурская жизнь. Михайлец-жизнь.
Волгина жизнь.

– *...please come to the gate number...*

В мороке полусна вытащила из сумки джемпер и накинула на плечи. Спала и не спала одновременно, потому что все звуки доносились отчётливо: так бывает, когда уснёшь перед телевизором или на пляже. Временами вставало перед глазами море, и ровный гул его мешался с гомоном толпы. Ника слышала, как объявили посадку на самолёт, и приоткрыв глаза на несколько секунд, увидела, как люди двинулись, вынимая билеты.

Мы тоже срослись. Нужно было уйти, чтобы понять это. Медсёстры появляются и исчезают, а Норберт возвращается домой к Инке. Встретится ли очередная Лора в метро или в социальной сети, она не успеет срастись с Романом: подошедший поезд распахнёт двери, толпа ринется внутрь, подхватив её, с прекрасными ногами и пышным бюстом. Поезд помчится в туннеле, а в телефоне окликнет другой одноклассник, и флаг ему в руки.

Мы срослись.

– *Miss Veronika Podgursky, please come to the...*

Надо двигаться, иначе тут просидишь до второго пришествия.

До второго пришествия... До второго?

Глаза всё ещё были закрыты, но тяжесть в груди исчезла, стало можно глубоко вдохнуть. Уходило – растворялось – совсем ушло внутреннее напряжение, так долго сковывавшее тело.

Застывший воздух аэропорта больше не мешал – она дышала легко и свободно.

Нечего – и некогда – решать, потому что сейчас надо спешить. Помимо самого насущного, осталось дожить единственную твою Подгурскую жизнь, пять условных лет, и не нужно делать ничего такого, о чём пожалеешь. Так уже было, когда позвонила своему чужому отцу, отравив себе душу стыдом и горечью.

Ты могла прожить остаток жизни, так и не найдя своего полубрата; но ты вызвала его, как джинна из бутылки... Зачем? У брата свой груз и крест. Он не звал тебя на помощь и не давал права вторгаться в его жизнь. Дай ему – и себе – немного времени привыкнуть, что вы есть друг у друга. Каждый несёт свою боль. Можно подставить плечо, только если тебе позволят это сделать, иначе ты только прибавишь горечи.

От твоей боли нет лекарства, кроме прощения. Прощают не для того чтобы забыть, ибо забыть не сможешь, а чтобы – отпустить, освободить и освободиться самой от давней

боли. В доме повешенного не говорят о верёвке; но в доме палача упоминать о верёвке тоже бестактно. Ты знаешь вину матери, но не знаешь её мук. Не в этом ли смысл фразы «мёртвые сраму не имут»? Тебе не дано право всю жизнь её наказывать – ты можешь только простить.

...когда созреешь, когда научишься. Когда вот так же освободится дыхание, как сейчас. Прощение нужно не матери – тебе. Иначе – DEAD END, и жёлчь разъест душу.

– *Miss Veronika Podgursky, please come to the gate number...*

...прощать нелегко, но ты сумеешь. Закончить начатый разговор – вернее, свой монолог – можно где угодно, не обязательно видеть могилу, ведь говоришь не с камнем и не с землёй, а с человеком, даже если человек уже не здесь.

– *Miss Veronika Podgursky, please come to the gate number...*

В казённом голосе явственно слышалась финальная интонация.

Беглый взгляд на телефон – и Вероника встала, подняла сползающий джемпер и сумку. Компьютер по ошибке оказался в большом отделении. Когда клала джемпер в сумку, что-то подалось под рукой.

В самолёте будет время разгрузить компьютер. Освободить – двумя клавишами навсегда удалить объёмные, никому не нужные файлы. Пусть останутся отсканированные фотографии, без комментариев. И дети когда-нибудь сами сочинят историю семьи, придумают имена и запишут намного интереснее.

В хельсинкском аэропорту не происходило ничего такого, что нельзя увидеть в любом другом аэропорту мира: торопливо или лениво, беседуя, смеясь или молча, шли люди, покупали

и разворачивали жевательную резинку, журналы, катили на колёсиках чемоданы всех цветов и размеров. Они заглядывали в магазины и выходили пакетами –или проходили мимо. Звонили на разные голоса телефоны, и маленькая собачка, очумевшая от сутолоки и непрерывного движения, жалобно поскуливала на руках у хозяйки. Двое стояли у закрытого стенда, крепко прижавшись друг к другу, девушка закрыла глаза. Кого-то они напомнили... А, ту пару за столиком бара во Франкфурте. Все влюблённые похожи. Женщина кормила из бутылочки младенца, другая, сидевшая напротив неё, стряхивала с джемпера крошки, доев пиццу; над мусорником склонилась ещё одна – бросила свёрток, и дно пустого контейнера отозвалось тонким звоном.

И хорошо. Посуда бьётся к счастью, так говорили бабушка и тётка Поля. Подарок найдёшь в другой раз, когда брат будет готов с тобой встретиться. Лучше бы в Амстердаме. Или

Праге. Когда-нибудь он ответит на звонок – или позвонит сам.

А сейчас надо спешить.

– New York?

– Yes. Nonstop, please.

/2021 – 2025/